И. ЗАБЕЛИН

И. ЗАБЕЛИН

ЗАПИСКИ
хроноскописта

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ПОВЕСТИ

Издательство «Знание» Москва 1969

Р2
З-12

7-32
Т. п. № 6—1969

ПРЕДИСЛОВИЕ

Игорь Забелин не нуждается в специальном представлении. Автор многочисленных научных, беллетристических и научно-фантастических произведений малой и большой формы, он давно зарекомендовал себя как талантливый популяризатор науки и как интересный и профессиональный литератор. Научная фантастика И. Забелина особого рода. Путь его фантазии, как писал Герберт Уэллс, «со всех сторон преграждали авторитетные, исчерпывающие объяснения всего сущего». Научная подлинность, ссылки на твердо установленные наукой факты и теории, самостоятельный научный анализ обсуждаемого предмета постоянно сопутствуют научно-фантастическим размышлениям ученого. И если провести литературную параллель, то его творчество в какой-то степени напоминает литературное творчество известного советского ученого, тоже географа и геолога, академика Владимира Афанасьевича Обручева.

По-видимому, не случайно книга начинается с очерка-новеллы «Долина Четырех Крестов», воссоздающего трагическую судьбу полярной экспедиции, которая отправилась на поиски легендарной Земли Санникова, того самого острова в группе Новосибирских островов, которому Обручев посвятил свой первый научно-фантастический роман.

Каждая новелла — это решение исторической или археологической головоломки, которых в науке немало. Фантастический «хроноскоп» подсказывает исследователям Вербнину и Березкину недостающие в общей картине давно минувших событий детали. И вот, наконец, в самом финале повествования мы узнаем правду, вернее, якобы правду, потому что (и это нужно все время иметь в виду!) эта правда фантастична, она вымышлена автором.

Новеллы Забелина написаны так убедительно, так обоснованно и на таком правдивом историко-географическом фоне, что трудно отделить вымысел от научной истины. Это прежде всего касается

новелл «Легенда о «Земляиых людях», «Найти н ие сдаваться», «Устремлеииые к иебу» и «Қара-Сердар». Оии коикретиы по содержаиию, с коикретиымн нсторическимн героями.

Плеиительиая «иеправда» заставляет над миогим задуматься. В ией проявляется глубокое н драматическое отличие так иазываемых иеточиых наук от наук точных. Внимательный читатель скоро поймет, как трудно вестн строгие научиые нсследоваиия в области нсторни, географни, археологнн, палеоитологни, где даже незиачнтельиый, ио ие укладывающийся в устаиовившуюся теорню факт может полиостью нзмеинть существующне представления. Логика, еслн она прнмеиеиа к неполиому миожеству добытых нсследователями фактов, допускает построеиие миожества самых разиообразиых гнпотез, часто противоречащнх друг другу. И писатель ие раз предупреждает читателя, что его гнпотезы вовсе не обязательиы для всеобщего прнзиания. Это в большиистве случаев глубоко субъективиые, литературные гнпотезы. И чем онн невероятиее, тем острее чувствуется, что перед нами ие научиая моиография, а иитересное н своеобразное литературиое твореиие. Вряд лн кому-нибудь удастся проиикиуть в индивидуальный духовиый мир неандертальца, который жил иесколько тысячелетий тому назад. Никто н никогда ие узнает нменн человека, который в доисторнческие времеиа рнсовал иаскальные изображеиня. Трудио себе представить характеры воинов и вождей племен, живших за иесколько веков до иашей эры.

Богатая фантазня и интунция ученого, зиающего н любящего Землю с большой буквы н ее историю, создают то, что принято иазывать «каркасом для размышлений», н уже это само по себе делает иовеллы-очерки И. Забелниа ценными н поучительиыми.

Есть в сборнике новеллы, в фантастнческой манере решающие «вечиые» проблемы. Победа разума над грубой снлой («Первое признаине»), победа разума н нсследовательского пыла иад суеверием («Загадкн Ханрхаиа»), проблема едииства н сплоченности иародов («Қара-Сердар»).

Автора можио было бы улнчнть в мелких передергиваинях фактов нли в слншком вольном обращенни с научным материалом. Но присутствие могуществеиного электронного аиалнзатора — «хроиоскопа» еще и еще раз напомниает нам, что мы чнтаем ие научиый трактат, а вымысел, на который нмеет полное право пнсатель-фаитаст.

«Запнскн хроиоскописта» Игоря Забелииа — цеиное и приятиое пополнеиие иовой, боевой н умиой советской иаучиой фаитастики.

Кандидат физико-математических наук,
писатель А. ДНЕПРОВ

ДОЛИНА
Четырех Крестов

• ЗАРЯ • 2

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой рассказывается, почему мы взялись за расследование загадочной истории, а также о том, что такое хроноскоп и что такое хроноскопия.

История, которую я собираюсь рассказать, началась, подобно десяткам или сотням других историй, со старых бумаг, найденных на чердаке старого дома. Правда, нам не пришлось подниматься за ними со свечой в руках по ветхой лестнице на захламленный чердак: мне позвонили из геолого-географического отделения Академии наук и попросили зайти к ним вместе с моим товарищем — Березкиным.

Во дворе президиума Академии, слева от главного здания, стоит двухэтажный флигелек, окрашенный в желтый цвет. Мы вошли в него и поднялись на второй этаж. Нас принял сотрудник отделения Данилевский, уже немолодой человек, чуть располневший, с седеющими висками.

Данилевский извлек из ящика письменного стола две тонкие, сильно потрепанные, со ржавыми подтеками на обложках тетради.

— Вот,— сказал он и легонько пододвинул тетради к нам.— Из-за них мы вас и пригласили. Эти тетради полтора месяца назад переслали в адрес президиума из Краснодарского краеведческого музея. В сопроводительном письме директор музея сообщил, что их обнаружили на чердаке какого-то полуразрушенного дома на окраине Краснодара. Бумагам повезло: они пережили и гражданскую войну, и фашистскую оккупацию...

— Вы полагаете, что они такие старые? — спросил я.

— В этом нет никакого сомнения. Краснодарцы определили, что первая запись относится к дореволюционному времени, а последняя сделана в 1919 году. Разобрать, что там написано, очень трудно. Но определенно, что в этих тетрадях содержатся сведения о полярной экспедиции Андрея Жильцова.

— Жильцова? — удивился я.— Но эта экспедиция бесследно исчезла!

— Вот именно. Впрочем, можете прочитать сопроводительное письмо.

Из сопроводительного письма мы не узнали ничего нового, кроме фамилии автора записей. По предположению работников краеведческого музея, тетради эти принадлежали участнику экспедиции Зальцману. Мы с нескрываемым любопытством посматривали теперь на тетради, не решаясь взять их в руки.

— Кажется, вас заинтересовало это дело,— сказал наблюдавший за нами Данилевский.— Не согласитесь ли вы взяться за его расследование?

— Вы хотите сказать — за расшифровку записей?

— Не знаю. Может быть, и не только за расшифровку. Во всяком случае, президиум академии готов помочь вам.

— Но почему вы обратились именно к нам?

— Для этого более чем достаточно оснований.— Данилевский улыбнулся.— Насколько нам известно, в круг ваших интересов входит история освоения Сибири. Кроме того, судьба экспедиции настолько загадочна, что, конечно, заинтересует вас как писателя. Наконец, ваше с товарищем Березкиным изобретение — хроноскоп...

«В этом-то все дело,— подумал я.— Мало ли людей, занимающихся исследованием полярных стран, мало ли писателей, близких к географии! Дело прежде всего в хроноскопе, в изобретении Березкина!»

— Будем точны,— сказал я Данилевскому.— Хроноскоп изобрел Березкин. Лишь идея хроноскопа родилась у нас одновременно... Беда же в том, что хроноскоп еще не прошел необходимых испытаний.— Тут я взглянул на Березкина, ожидая с его стороны поддержки.— Нет никакой гарантии, что он полностью оправдает надежды...

— Нет гарантии,— повторил за мной Березкин.

Невысокий, широкоплечий, коренастый, с крупной головой, развитыми надбровными дугами и тяжелой нижней челюстью, он производил впечатление неповоротливого тяжелодума, не способного к быстрой и точной умственной работе; никто, взглянув на него, не подумал бы, что перед ним талантливейший математик и изобретатель.

— Собственно говоря, нас сейчас интересует не хроноскоп, а пропавшая экспедиция,— сказал Данилевский.— Решайте сами, можете вы взяться за расследование или нет.

Я ответил, что мы должны подумать, и Березкнн, соглашаясь, слегка кнвнул.

Даннлевскнй предложнл нам взять тетрадн с собой, н мы, спрятав нх в полевую сумку, ушли...

Но тут, пожалуй, следует прервать последовательное описание событнй и рассказать, что такое хроноскоп и что такое хроноскопия.

Предложение расследовать нсторню нсчезнувшей экспеднцнн совпало с окончаннем предварнтельных работ над хроноскопом, н мы готовились подвергнуть аппарат всестороннему нспытанню. В душе каждый нз нас полагал, что хроноскоп — подлннное совершенство, но конкретное предложение продемоистрнровать его возможиости нспугало нас. Это и понятио. Ведь на всем белом свете существуют пока лишь два хроиоскопнста — Березкин н я, и успехи хроноскопнн еще совершенно ннчтожны.

Строго говоря, нстория, которую я рассказываю, началась не в тот день, когда мы впервые увндели старые, потрепаииые тетради, н даже не в тот день, когда нх нашли иа чердаке полуразрушенного дома. Исторня хроноскопнн началась значнтельно раньше, темной звездиой ночью в глухой тайге, началась в тот час, когда роднлась ндея хроиоскопа...

Наша иебольшая географическая экспедицня работала в Восточном Саяне. Весь день, с утра до вечера, шли мы по вьючной тропе н велн маршрутные наблюдення: опнсывали рельеф, растнтельность, нзмenення в характере долнны рекн Иркут.

На третий деиь путн, покннув долнну рекн, мы стали подниматься иа перевал Нуху-дабан (в переводе с бурятского это озиачает «перевал с дыркой»). Все мы уже слышали н чнталн об этом страином перевале, и теперь каждому хотелось поскорее увндеть его. Подъем был очень крут н труден, н хотя через перевал шла торная, по местиым понятиям, тропа, своеобразный жертвеннНк у выхода на перевал свндетельствовал о том, что даже привычные к горным условиям скотоводы н охотиикн относятся к перевалу с иекоторой опаской. Я осмотрел этот жертвеннНк, расположенный под крутой скалой: жертвоприношення состояли в основном из цветных леиточек, прнвязанных к веткам лнственниц, а также монеток, ниточек, стеклянных бус и даже рублей, свернутых в тугне трубочкн. Едва лн люди, прннесшне жертвы, всерьез на-

деялись, что дары помогут им преодолеть перевал, но такова была традиция, так поступали из века в век, и обычай этот сохранился до наших дней. Мы тоже оставили у жертвенника монетки и продолжили нелегкий подъем.

Наконец мы увидели Нуху-дабан: справа от тропы возвышалась известняковая скала со сквозным отверстием; лишь несколько маленьких лиственниц цеплялись за ее острые зубчатые края. Я поднялся к скале и на одном из ее выступов обнаружил боевой металлический шлем, ржавый, пробитый в нескольких местах. Не знаю, кто, для чего и когда оставил его там. Но и трудный, овеянный легендами перевал, и жертвенник, и, наконец, старинный шлем — все это настраивало на романтический лад; потом, когда мы спустились в долину реки и остановились на ночлег, долго еще продолжались разговоры о прошлом края, об истории вообще...

Шлем я унес с собой. При свете костра мы с Березкиным внимательно осмотрели его. Был он непомерно велик, словно некогда принадлежал гиганту: ни одному из нас он не подходил по размеру даже приблизительно. Сделан он был из восьми склепанных стальных пластин, снизу скрепленных металлическим ободом; спереди имелся небольшой козырек, а наверху — кружок со вставленной в него трубочкой (видимо, в нее втыкались украшения — пучки конских волос или еще что-нибудь).

Тихая ночь, река, журчащая меж камней, холодные волны ветра, катившиеся с перевала, снопы багряных искр, летевшие в темноту, ущербная луна над горами — все это подхлестывало нашу фантазию, и уже совсем нетрудно было представить нам, как много лет назад проезжал по перевалу Нуху-дабан могучий монгольский витязь в полном боевом облачении, как пал он, пораженный меткой стрелой... И кто-то из нас — потом мы никак не могли вспомнить, кто именно,— пожалел о том, что нельзя воочию увидеть события, происходившие за десять, сто, триста лет до наших дней, что нельзя приблизить их, как приближают с помощью телескопа предметы, удаленные от нас на многие тысячи, а то и миллионы километров...

Вот тогда и родилось это слово — «хроноскоп». Оно было сказано в шутку, по аналогии с телескопом. Телескоп приближает предметы, удаленные от нас в пространстве, а хроноскоп... хроноскоп мог бы приблизить пред-

меты, удаленные во времени, сделать зримыми события, оставившие лишь смутный след.

Мое собственное воображение сделало бывшего владельца шлема настолько реальным, что я совершенно серьезно сказал:

— Такой прибор давным-давно существует.

Все с удивлением посмотрели на меня.

— Это мозг,— пояснил я.— Человеческий мозг. Разве он не способен проникать сквозь толщу веков и воскрешать события далекого прошлого? Разве мы не воссоздаем по сохранившимся предметам обихода быт наших предков, по их вооружению — способы ведения войны? Разве мы не верим историческим романам или картинам, в которых повествуется о делах давно минувших дней?

— Ты не про то говоришь,— возразил мне один из наших товарищей.— Человек может представить себе, допустим, что находится на Марсе. Но это же не заменит телескопа.

— Так же, как ни один хроноскоп не заменит человеческого мозга,— не сдавался я.— Если речь идет о том, чтобы дополнительно вооружить мозг...

— Не только вооружить,— вмешался в разговор молчавший до этого Березкин; в те годы он был еще студентом-математиком Московского университета и из любви к странствиям устроился к нам в экспедицию рабочим.— Не только вооружить,— повторил он.— Конечно, ни телескоп, ни самый хитрый хроноскоп никогда не смогут мыслить, но разве не расширится сфера мышления человека, если в его распоряжение поступят новые неожиданные факты? Осмыслить прошлое сможет только мозг, но помочь ему в этом, воскресить ускользающие от человеческого разума и глаза факты мог бы хроноскоп. Верно, у каждого из нас в мозгу проносятся разные фантастические картины, мы можем населить Марс марсианами, объявить тектонические трещины системой орошения... В истолкование исторических событий тоже всегда вносится много домысла, много субъективного, а если бы хроноскоп смог приблизить их к нам в не искаженном историками виде...

— Это привело бы к перевороту и в истории, и в археологии,— вырвалось у меня.— Возможности человеческого познания беспредельно расширились бы!

— Хроноскоп, хроноскоп! — саркастически заметил

кто-то.— И не надоело вам болтать? Все равно ж нельзя создать такой прибор.

— Можно,— возразил Березкин.— Не в виде трубы с системой увеличительных стекол, но все же...

— Что же это будет? — спросил я, почувствовав, что Березкин говорит серьезно, что пришедшая нам идея имеет хоть и непонятную мне, но реальную основу.

— Электронная машина,— ответил Березкин.— Да, обыкновенная электронная машина.— Он подумал и поправился: — Не совсем обыкновенная, конечно, но все же сделанная по типу вычислительных машин, машин-переводчиков и тому подобных. Вы же знаете, что они решают сложнейшие математические задачи, переводят с иностранного языка тексты, «запоминают» множество самых разнообразных вещей... Достижения науки уже настолько велики, что можно представить себе и такую электронную машину — хроноскоп. Допустим, на шлеме имеется пробоина. Мы помещаем шлем в хроноскоп и формулируем требование — объяснить происхождение пробоины. С колоссальной быстротой, в течение нескольких секунд, машина перебирает сотни, тысячи, а если нужно, и десятки тысяч вариантов и останавливается на одном из них, самом вероятном. С помощью фотоэлементов этот вариант переснимается, а затем проецируется на экран. И тогда...

— И тогда на экране ожило бы прошлое! — прервал я Березкина.— Мы увидели бы монгольского богатыря, медленно поднимающегося на перевал Нуху-дабан, увидели бы, как, притаившись среди скал, поджидает его враг, как мгновенным рывком выгибает он лук и метко посланная каленая стрела поражает беззаботного богатыря!..

Все сидевшие у костра засмеялись, и даже мы с Березкиным не выдержали — так фантастично все это прозвучало.

...Немало лет прошло с того вечера.

И вот хроноскоп готов.

Едва ли стоит сейчас подробно рассказывать, каким долгим и трудным путем шли мы к своему изобретению, сколько пришлось пережить неудач и разочарований, сколько раз одолевали нас сомнения. Теперь все это в прошлом, и, как это обычно бывает после благополучного

завершения долгих трудов, все пережитое кажется нам окрашенным в розовые тона. Нами двигала большая идея, мы хотели создать прибор, способный служить окном и в далекое, и в близкое прошлое, прибор, с помощью которого по мельчайшим вещественным доказательствам можно быстро и точно восстановить картину человеческого подвига или преступления, восстановить честь оклеветанного и разоблачить клеветника. Мы еще не знаем всех возможностей нашего детища. Может быть, со временем он позволит палеонтологам воочию увидеть давно вымерших обитателей нашей планеты; может быть, с его помощью археологи сумеют изучить трудовые навыки первобытных людей, а историки — восстановить эпизоды Бородинского сражения или «битвы народов» под Лейпцигом...

Короче говоря, мы верили, верим и будем верить, что хроноскопии — искусству видеть прошлое — принадлежит великое будущее!

Но для начала нам следовало испытать хроноскоп при расследовании загадочных историй или происшествий. И тетради Зальцмана попали к нам вовремя.

Сейчас, когда я пишу эти строки, работа наша уже закончена, картины прошлого восстановлены и запечатлены в нестареющей памяти хроноскопа; если потребуется, они вновь воскреснут на экране. Разумеется, я прекрасно помню, как шла наша работа, как настойчиво распутывали мы с Березкиным сложно переплетенный узел человеческих судеб. И вот теперь, когда обо всем этом нужно написать, передо мной встает вопрос: о чем писать?

Не удивляйтесь.

Ведь можно написать о том, как мы испытывали хроноскоп, рассказать о некоторой нашей неудовлетворенности испытанием — читатель убедится, что не всегда хроноскоп был действительно незаменим при нашем первом расследовании...

А можно написать о людях, судьбы которых воскресли перед нами на экране хроноскопа, да и не только на экране...

Мы с Березкиным очень любим наше детище — хроноскоп. Но еще дороже нам люди, их горе и их радости. Чем дальше продвигалось наше расследование, тем меньше мы думали об испытании хроноскопа и тем настойчивее

стремились раскрыть тайну исчезнувшей экспедиции.

Вот об этом, пожалуй, я и буду рассказывать — о том, что мы узнали. А хроноскоп... Но дело в конце концов не в хроноскопе.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой сообщается все, что было известно нам об экспедиции Жильцова до начала расследования, а также проводится первое серьезное испытание хроноскопа.

Вернувшись из президиума Академии наук ко мне домой, мы с Березкиным решили все трезво взвесить, прежде чем принять окончательное решение: ведь неудача с расследованием могла бросить тень и на самую идею хроноскопа. О нем и так уже ходили различные слухи, и почти все относились к нашему изобретению с явным недоверием.

— Вот что, Вербинин,— сказал мне Березкин, устраиваясь на своем любимом месте у края письменного стола.— Риск, конечно, благородное дело. Но сначала расскажи, что тебе известно об этой экспедиции. Я не очень силен в истории географических открытий, а браться за дело, о котором не имеешь представления...

Не отвечая Березкину, я встал и прошелся по комнате, точнее, сделал три шага в одну сторону и три в другую, потому что комната, служившая мне и спальней и кабинетом, была совсем невелика.

Уже вечерело, за день мы оба устали, и я попросил жену заварить нам крепкого чаю. Пока она возилась на кухне, я достал с полки несколько книг и сложил их стопкой на письменном столе.

— Видишь ли,— сказал я Березкину,— об этой экспедиции достоверно известно лишь то, что она была организована, ушла на Север и бесследно исчезла...

— Немного,— усмехнулся Березкин.— Но все-таки, почему экспедицию организовали, кто такой Жильцов — неужели это нельзя узнать?

— Можно. Андрей Жильцов — наш крупный гидрограф-полярник, участник знаменитой экспедиции Толля на «Заре».

— Рассказывай все по порядку,— перебил Березкин.— О Толле я слышал, знаю, что он погиб, но подроб-

ностями не интересовался. А сейчас как раз нужны подробности, без них нам не обойтись.

— Да, без подробностей не обойтись, и об одном любопытном обстоятельстве я вспомнил. Но сначала об экспедиции на шхуне «Заря». Ее организовала Академия наук для исследования Новосибирских островов и поиска Земли Санникова. Теперь ты спросишь, что такое Земля Санникова?

— Не спрошу.— Березкин чуточку обиделся.— Сто раз писалось, что в начале прошлого века эту землю будто бы увидел с острова Котельного промышленник Санников. Потом ее искали, искали, но так и не нашли.

— Верно, не нашли. Но землю эту видел не только Санников. Ее несколько раз видел эвенк Джергели, да и сам Толль. В 1886 году он вместе с полярным исследователем Бунге изучал Новосибирские острова и так же, как Санников, заметил землю к северу от острова Котельного. Толль был настолько уверен в существовании Земли Санникова, что даже сделал попытку по форме гор предсказать ее геологическое строение. Открытие этой земли стало для Толля главной целью жизни. Вот почему в 1900 году экспедиция на «Заре» отправилась к Новосибирским островам.

А через два года Толль погиб вместе с астрономом Забергом и двумя промышленниками — эвенком Дьяконовым и якутом Гороховым. Толль работал на острове Беннета в архипелаге Де Лонга, и туда за ним и его спутниками должна была зайти «Заря». Однако шхуна, сделав две попытки пробиться к острову, вернулась в устье Лены. Ледовые условия в том году были тяжелыми, но известно, что гидрограф Жильцов требовал продолжать попытки пробиться к острову Беннета, а командир «Зари» Матисен не рискнул пойти еще на один штурм.

Кто из них был прав, теперь трудно судить. Но отступление «Зари» стоило жизни Толлю и его товарищам. Жильцов позднее писал, что гибель Толля произвела на него очень тяжелое впечатление, и он твердо решил завершить дело, начатое трагически погибшим исследователем. Вот причина организации экспедиции Жильцова. Ей поручалось найти и описать Землю Санникова, а затем выйти через Берингов пролив в Тихий океан. Экспедиция началась в канун первой мировой войны, она вышла из Якутска и...

— Бесследно исчезла,— закончил Березкии.

— Да, бесследно исчезла. До сих пор самым вероятным считалось предположение, что экспедиция в полном составе погибла либо во льдах Севериого Ледовитого океаиа, либо иа пустыииом побережье. Подобиых случаев известио иемало. Так пропали экспедиция Брусилова на «Святой Аиие», экспедиция Русаиова иа «Геркулесе», одиа из партий экспедиции Де Лоига после гибели «Жаиеты». Но если Зальцман спасся и в девятиадцатом году жил в Красиодаре, зиачит, не вся экспедиция погибла. Одии ои спастись не мог, это почти исключается.

Жеиа иалила иам крепкого, почти чериого чаю и, чтобы ие мешать, устроилась в стороике на тахте. Мы выпили по стакаиу и продолжали разговор.

— По твоему тоиу я догадываюсь, что ты склоиеи взяться за расследоваиие,— сказал мие Березкии.— Точиее, уже иачал расследовать. У меия тоже ие осталось сомиеиий.

— И очеиь хорошо. Не думаю, чтобы этой экспедиции удалось совершить крупные открытия, ио что мы имеем дело с актом высокого мужества — это бесспорно. Если эти люди пали в нерaвиой борьбе с природой, а может быть, и ие только с природой, наш с тобой долг — рассказать об их подвиге!

— А не проще ли взяться за тетради? — спросила меия жеиа.— Вдруг хроиоскоп не потребуется?

Одиажды в виде опыта мы подвергли хроноскопии ее старое письмо, и с тех пор она отиосилась к хроиоскопу с иекоторым предубеждеиием...

Мы последовали ее совету и бережно, страничку за страиичкой перелистали обе тетради. Попорчеиы оии были действительио очеиь сильно, и не случайио работиикам Краснодарского краеведческого музея удалось узнать из иих лишь иемиогое. Мы могли поступить двояко: или, прибегнув к помощи криминалистов, заияться кропотливой расшифровкой и восстаиовить в тетрадях все, что поддается восстановлеиию, или довериться хроиоскопу. Совсем отказываться от первого пути мы ие собирались, ио все-таки больше устраивал иас второй.

Начать хроиоскопию мы решили с последиих страииц второй тетради. Эти почти ие пострадавшие страиицы были исписаиы крайие неразборчиво, рукой слабеющего,

быть может, умирающего человека. Строки часто прерывались, потом Зальцман, словно собравшись с силами, возвращался к ним опять. У нас создалось впечатление, что на этих последних страницах Зальцман, теряя остатки сил, стремился записать нечто очень важное, такое, что он ни в коем случае не имел права унести с собой в могилу. Мы не сомневались, что расшифровка этих страниц позволит узнать главное: что случилось с экспедицией и сохранились ли результаты ее исследований.

...Уже собираясь уходить в институт к Березкину, я вспомнил, что в одной из книг имеется список участников экспедиции Жильцова.

Я быстро нашел его и прочитал:

1) Жильцов — начальник экспедиции, гидрограф;
2) Черкешин — командир корабля, лейтенант;
3) Мазурин — научный сотрудник, астроном;
4) Коноплев — научный сотрудник, этнограф и зоолог;
5) Десницкий — врач;
6) Говоров — помощник командира корабля.

— Забавно,— сказал Березкин.— Зальцмана нет и в помине!

Березкин смотрел на меня, очевидно, полагая, что я должен немедленно все объяснить, но я сам ничего не понимал.

— Вот что, не будем зря ломать голову,— предложил я.— Хроноскоп чем-нибудь да поможет нам. Пошли в институт.

Хроноскоп стоял в кабинете Березкина. Как всегда в нерабочее время, прочный светлый футляр его был закрыт. Березкин нажал кнопку, и футляр распахнулся, открыв овальный экран и сложную систему настройки и программирования, так и оставшуюся для меня загадочной.

Подготовить хроноскоп к работе было для Березкина делом нескольких минут. Я устроился напротив экрана и приготовился смотреть. Немножко нервничая, я хотел, чтобы Березкин как можно быстрее дал задание хроноскопу. Но Березкин, как назло, медлил. Видимо, он тоже волновался и в десятый раз проверял самого себя. Наконец он тяжело опустился на стул.

— Посидим.— Березкин улыбнулся чуть смущенной улыбкой и добавил: — Как перед дальней дорогой.

В сущности, мы даже сами до сих пор не подозревали,

до какой степени мы неопытные хроноскописты. Сидя в абсолютной тишине в кабинете Березкина, я вдруг подумал, что мы собираемся выпустить из бутылки джина, который потом закабалит нас, привяжет к себе, а то и поставит перед нами неразрешимые задачи. В самом деле, нельзя же было надеяться, что хроноскоп самостоятельно развернет этакую кинолейту событий, избавит нас от анализа, и нам остается лишь роль пассивных наблюдателей. Плохо ли, хорошо ли, но хроноскопия потребует от нас полного напряжения умственных и духовных сил, полного раскрытия отпущенного нам исследовательского дара...

— С чего начнем? — спросил Березкин, вставая, спросил, хотя только и думал об этом последнее время.

— Посмотрим, как он писал,— имея в виду Зальцмана, предложил я.

Березкин безропотно согласился.

Он включил хроноскоп, сформулировав задание. Несколько мгновений, показавшихся нам бесконечно долгими, экран оставался совершенно темным, затем он посветлел, но изображение получилось не сразу, а когда получилось, мы увидели ту самую тетрадь, что подвергали хроноскопии, плохо заточенный карандаш и худые, изможденные руки.

Мы еще плохо знали возможности аппарата, и потому не смогли бы сразу сказать, как хроноскоп определил, что руки принадлежали человеку, не занимавшемуся физическим трудом. Последнее обстоятельство не вызывало, однако, никаких сомнений, и тем неожиданней было какое-то неумелое обращение рук с карандашом и тетрадью.

— В неудобной позе пишет, наверное,— предположил Березкин и внес в задание уточнение.

Сразу же после этого на экране появилась условная человеческая фигура, полулежавшая на чем-то жестком — на досках, так решили мы.

Березкин снова подошел к хроноскопу.

— И болен, наверное, Зальцман,— сказал я.— Гражданская война все-таки, разруха...

Про себя я подумал: «Тиф» — и хотел сказать это вслух, но внезапно раздался глухой голос. Он прозвучал так неожиданно, что я невольно вздрогнул. У меня создалась полная иллюзия, что говорит больной, но говорил

конечно, не он: выполняя новое задание Березкина, хроноскоп произносил расшифрованные строчки.

«Нельзя предать забвению... Мучения... Совесть... Все должны знать... Обрекли на гибель... Спаситель...— равнодушно выговаривал металлический голос хроноскопа, и снова: — Совесть... Совесть... Правы или нет? Кто скажет?.. Так нельзя дальше жить... Правы или нет?.. Спас, он же всех спас...» Пока хроноскоп старательно выговаривал последние слова, за которыми скрывалась какая-то трагедия, быть может, не высказанная ранее боль, измучившая душу, изможденные руки человека на экране еще продолжали что-то писать, но движения их слабели с каждой секундой...

Равнодушный голос хроноскопа еще раз повторил: «Правы или нет?» И вдруг после короткого перерыва произнес имя: «Черкешин», и звукоусилительная установка выключилась... Руки на экране с трудом сложили тетрадь и сделали слабую попытку засунуть ее под что-то плотное. Потом руки замерли. Все проблемы, даже последняя, самая жгучая, перестали существовать для Зальцмана.

Изображение на экране исчезло. Видимо, хроноскоп сделал все, что мог.

Некоторое время мы с Березкиным продолжали сидеть в темноте. Нам приходилось в какой-то степени домысливать за хроноскоп, и я, как живого, видел перед собой исхудавшего, измученного болезнями и сомнениями человека с тонким лицом, растрепанной седеющей бородкой...

Я спросил Березкина, нельзя ли уточнить портретную характеристику Зальцмана, и сказал, каким вижу его.

Березкин пожал плечами. Он еще раз подошел к хроноскопу, поколдовал около него некоторое время, и тогда на экране появился тот Зальцман, которого я представил себе мысленно.

— Уточнение произошло за счет дополнительных формулировок задания,— сказал Березкин.— Так что портрет Зальцмана — на твою ответственность.

А новый, уточненный Зальцман проделал на экране то же, что и его условный предшественник: руки на экране, после неудачной попытки запрятать тетрадь под нечто плотное, беспомощно замерли.

— Умер он или впал в забытье? — спросил Березкин, зажигая свет.

— Сыпняк, наверное,— ответил я.— Штука серьезная...

Каждый из нас в этот момент думал не только о самом Зальцмане, не только о первом удачном испытании хроноскопа. Нас волновала тайна, которую стремился передать людям тяжелобольной человек, но мы были сломлены колоссальным нервным напряжением, понимали, что так, сразу, не сможем ее разгадать, и разговор скользил по поверхности, не затрагивая самого главного.

— Все-таки выживали,— не согласился со мной Березкин.— Кто был в девятнадцатом году в Краснодаре? Деникин? Что там мог делать Зальцман?

— Все что угодно.— Я пожал плечами.— И жить, и воевать, и скрываться...

— Да мы ж ничего не знаем о нем... А вдруг он жив? Ведь тетради могли пропасть!

— Зальцмана нет в живых. К сожалению, это бесспорно. Иначе он рассказал бы про экспедицию. Характер его, в общем-то, ясен. Долг перед товарищами и перед наукой...

Березкин согласился со мной.

Мы ушли из института и по тихим ночным улицам Москвы побрели домой.

— А хроноскоп здорово сработал! — с гордостью сказал Березкин.

— Здóрово,— подтвердил я.

Когда мы прощались, Березкин спросил:

— Почему он вспомнил одного Черкешина?

— Постараемся выяснить это завтра,— ответил я.— Видимо, история исчезнувшей экспедиции сложнее, чем я думал. Во всяком случае, последние страницы дневника Зальцмана ровным счетом ничего не прояснили.

— Запутали даже.

— Придется нам, не откладывая, браться за расшифровку записей в первой тетрадке. Мы с тобой немножко погорячились. Нужно идти по цепи последовательно, не пропуская ни одного звена... Важны не только внешние события, но и внутренняя, так сказать, жизнь экспедиции.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой рассказывается, что удалось узнать из тетрадей Зальцмана, какие новые разочарования ожидали нас, а также приводятся некоторые сведения исторического характера.

Дней через пять, когда значительиая часть записей Зальцмана была уже прочнтана, в коридоре моей коммунальиой квартнры раздался телефониый звонок. Звоинл Даннлевский. Его ннтересовало, беремся ли мы за расследование. Я ответнл, что беремся н постараемся выяснить судьбу экспедицни. Я сказал это бодрым тоном, ио основаннй для оптнмнзма пока было очеиь мало.

Расшифровка тетрадей Зальцмана продвнгалась сравнительио успешио, количество карточек с прочитанными н перепечатаиыымн строками иепрерывно возрастало, но н меня н Березкнна не покидало странное чувство неудовлетворениостн: словио мы чнтали не то, что надеялнсь прочитать. Это было тем более иеобъясиимо, что иашн сведеиия об экспедицин постепеиио пополнялнсь. Мы уже зналн, как попал в экспеднцию Зальцман, что сталось с доктором Десиицкнм, что делала экспедиция в Якутске, кто такой Розаиов, и все-таки...

— Как-то некоикретио он пишет,— сказал мне однажды Березкни.— Будто с чужих слов. Может быть, прнхвастнул? Услышал от кого-ннбудь н запнсал?

Березкин сам тут же отказался от этого предположеиия — оно было слишком неправдоподобным.

— Вот что,— ие выдержал я.— Пусть хроиоскоп проиллюстрирует иам запнсн. Зрнтельиое восприятие, знаешь ли. И потом, раз уж аппарат существует...

Березкииа ие пришлось уговарнвать. Мы опять заперлись у него в кабииете, и хроиоскоп получил задание. В ожидаинн мы прнстальио вглядывались в экран, но... хроноскоп отказался иллюстрировать запнсн, «окно в прошлое» упорно не открывалось. Впрочем, это ие совсем точио: «окно в прошлое» прноткрылось, но не так шнроко, как мы рассчитывали. Записи, которые должен был оживнть хроноскоп, рассказывали о разных событиях, а на экране сндел н иетороплнво писал худой человек с острыми локтямн. Березкни вновь и виовь повторял задаине хроиоскопу, вкладывал иовые страннцы, десятки раз пронзводил иастройку, ио результат получался одии и тот же.

Мы промучились до вечера, и в конце концов Березкин сдался.

— Чертова машина,— устало сказал он и опустился в свое кресло.— Никуда она еще не годится. Ее надо совершенствовать, а мы за расследование взялись.

— Мне почему-то кажется, что дело тут не в хроноскопе,— возразил я, чтобы немного успокоить и поддержать Березкина.

— Думаешь, в тетрадях?

— И это не исключено.

— На зеркало пеняем...

— Возникло же у нас с тобой при чтении чувство неудовлетворенности. Тут, вероятно, есть какая-то взаимосвязь.

Березкин быстро взглянул на меня и бросил папиросу в пепельницу.

— Все-таки мы работаем не с первоисточником,— сказал он.

— Я бы сформулировал это иначе. В том, что перед нами подлинные записи Зальцмана, а Зальцман — участник экспедиции, я не сомневаюсь. Но это не экспедиционные заметки. Видимо, уже в Краснодаре Зальцман по памяти восстанавливал события прошлых лет.

Березкин облегченно вздохнул.

— Не могли сразу такого пустяка сообразить! — Он любовно погладил корпус хроноскопа.— Стыд! А машина ничего, работает. Вот тебе — мигом отличит подделку от подлинника!

Вскоре мы закончили расшифровку записей Зальцмана. К сожалению, многие страницы, видимо, выпали из тетрадей и пропали, другие так сильно пострадали, что удалось восстановить лишь отдельные слова.

Немалое количество страниц, к нашему огорчению, было заполнено рассуждениями Зальцмана, не имевшими прямого отношения к экспедиции. Быть может, не лишенные сами по себе интереса, они, однако, ничем не помогали нам в расследовании, разве что мы полнее сумели представить себе характер их автора. Судя по всему, Зальцман был типичным представителем старой либерально настроенной интеллигенции, со склонностью к самоанализу и рефлексии, с обостренными представлениями о долге, совести, о благе отечества; он умудрялся переводить в плоскость моральных проблем почти все, чего ка-

сался в запнсках. К этому его, наверное, побуждала конечная цель: ои хотел рассказать о чем-то таииственном, ужасном, по его представленням, и подготавливал к этому свонх вероятных чнтателей.

Зальцману не удалось довестн запнсей даже до середины: оин обрывались на рассказе о прибытни экспедицнн в устье Лены. Затем следовала запнсь, сделаниая во время болезнн н разобраииая с помощью хроиоскопа. Кроме того, в первую тетрадь был вшнт лист, по качеству бумаги, смыслу и стилю напнсанного резко отличавшийся от всего остальиого; только почерк был один н тот же — почерк Зальцмана.

Отложив тетради, мы решилн подвестн итогн.

Вот что мы теперь зиалн.

Жильцов н все другне участинкн экспеднцин прибыли в Якутск уже после начала первой мировой войны, осенью 1914 года. Коиечно, в далеком Якутске о войне знали лишь поиаслышке, но все-таки экспедиция Жильцова показалась местным властям явно иесвоевременной, относнлнсь онн к ней с прохладцей н еслн не чинили препятствий, то и ие помогалн.

Жнльцову и Черкешнну прншлось прнложнть немало усилнй, чтобы выстроить небольшую шхуну, получнть иеобходимое снаряжение и провиаит. Оии добились своего, прнчем, по словам Зальцмана, особенио энергнчно н успешио действовал Черкешнн. Сам по себе этот вопрос иас с Березкииым ие очеиь заиимал, ио для себя мы отметили, что Черкешнн нитересовал Зальцмана с какой-то особой точки зрення, н ои все время выдвигал командира шхуны на первый план. Немалую помощь Жнльцову и Черкешину в подготовке экспедицин оказалн полнтические ссыльиые, которых в то время немало жнло в Якутске. Узнав о задачах экспеднцнн, ссыльные добровольно прнходилн работать на верфь, а двое из них — Розанов н сам Зальцмаи — поздиее даже прииялн участие в экспеднции.

В своих записях Зальцмаи отвел немало места и себе н Розаиову. Мы узиали, что Зальцман — студеит-медик, за участие в студенческих волиеииях был выслан в Якутск иа поселение и прожил там иесколько лет. Вполне вероятио, что никаких определенных полнтнческих взглядов у иего ие было. Будучн честным человеком, Зальцмаи негодовал по поводу порядков, существовавшнх

в царской России, мечтал о свободе, о равенстве и верил в прекрасное будущее.

Иное дело — Сергей Сергеевич Розанов. По свидетельству Зальцмана, он был членом Российской социал-демократической рабочей партии, профессиональным революционером-большевиком, человеком с четкими и ясными взглядами на жизнь.

В своих записках Зальцман нигде прямо не полемизировал с Розановым, но упорно подчеркивал его непреклонность и твердость. Сначала мы не могли понять, для чего он это делает, но потом у нас сложилось впечатление, что из всех участников экспедиции Зальцмана больше всего интересовали Черкешин и Розанов, что он противопоставляет их и сравнивает. Впрочем, мы могли и ошибиться, потому что записи Зальцмана оборвались слишком рано. Розанов, находившийся под строгим надзором полиции, работал вместе с другими на верфи, когда там строилась шхуна, названная в честь судна Толля «Заря-2». Как Розанов попал в экспедицию, Зальцман почему-то не написал. Его самого Жильцов пригласил на место тяжело заболевшего Десницкого, и он охотно согласился.

Экспедиция покинула Якутск весной 1915 года, сразу после ледохода. Неподалеку от устья Лены на борт были взяты ездовые собаки и якуты-промышленники, не раз уже бывавшие на Новосибирских островах. Затем «Заря-2» вышла по Быковской протоке в море Лаптевых.

Вот и все, что удалось нам узнать. Самого главного Зальцман рассказать не успел. Разочарованные, огорченные, сидели мы у обманувших наши надежды тетрадей.

— Как это Жильцову разрешили взять с собой ссыльных? — спросил Березкин.

Я ответил, что в этом нет ничего необыкновенного. Политические ссыльные нередко занимались научными исследованиями в Сибири. Например, немало сделали для изучения Сибири поляки, сосланные после восстания 1863 года,— Черский, Чекановской, Дыбовский.

— Но Жильцов, конечно, помнил, что и в экспедиции Толля работали политические ссыльные,— добавил я.— Когда весной 1902 года умер врач Вальтер, его заменил политический ссыльный из Якутска Катин-Ярцев, а во вспомогательной партии, возглавлявшейся Волосовичем, участвовали двое ссыльных — инженер-технолог Бруснев

и студент Ционглннский. Вероятно, онн зарекомендовали себя с самой лучшей стороны, и Жильцов тоже охотно пополнил свою экспедицию людьми их склада характера.

— Так н было, наверное,— согласился Березкин. Он смотрел на тетради, как бы соображая, нельзя ли нз них еще что-нибудь выжать.— Понять Жильцова нетрудно. И политических ссыльных тоже можно понять. Все-таки экспедиция — дело живое, интересное. Но мы сегодня так же далекн от раскрытия тайны экспеднции, как и в тот день, когда впервые увндели тетради.

Мог лн я что-ннбудь возразнть своему другу?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой обсуждается план дальнейших действий, хроноскоп превосходит все наши ожидания, а мы становимся свидетелями волнующих событий.

Дня два мы занимались посторонннмн делами: нам хотелось немножко отдохнуть и отвлечься. Не знаю, как Березкину, а мне отвлечься не удалось. На третий день Березкин рано утром явился ко мне домой, и по его мрачному виду я понял, что и у него судьба экспедиции не выходнт из головы.

— Что будем делать? — спросил Березкин.— Нельзя же сидеть сложа руки.

— Нельзя.— Это я понимал ничуть не хуже своего друга.— А вот что делать? Не запросить ли нам архивы?

— Я тоже думал об этом. Вдруг сохранился еще какой-нибудь документ?

Увы, мы отлнчно зналн, что на это нет почти никакой надежды, что мы цепляемся за соломннку н успокаиваем друг друга.

— Все-таки попробуем,— сказал я, отгоняя сомнения.— Мы же ничего не теряем.

— Кроме временн,— возразил Березкнн.

— Постараемся и время не потерять,— бодро сказал я.— Будем действовать!

— Действовать? Что же мы предпримем?

Так мы вернулись к тому, с чего начали.

— По-моему, у нас есть хроноскоп,— не без иронин напомнил я.

— Как же! Мы можем вдоволь насмотреться на тощую спину Зальцмана,— в том же тоне ответил Березкин.

Через несколько дней мы послали от имени президиума Академии запрос во все архивы, а сами все-таки вернулись к хроноскопу.

Березкин, правда, предлагал вылететь в Якутск, но я отговорил его: разумнее было сначала получить ответы из архивов.

Пока же, совершенно не рассчитывая на успех, мы решили подвергнуть хроноскопии все остальные листы тетрадей — и расшифрованные, и те, которые нам не удалось расшифровать.

Просматривая первую тетрадь, мы вновь обратили внимание на вшитый лист, отличавшийся от всех остальных и качеством бумаги и характером записи. Ранее мы пытались прочитать его, но разобрали только цифры, похожие на координаты: 67°21,03 и 177°13,17. Если эти цифры действительно были координатами, то отмеченное ими место находилось на Чукотке, где-то в верховьях реки Белой, впадающей в Анадырь. Я уже бывал ранее на Чукотке и хорошо представлял себе те места — и сухую горную тундру, переходящую на вершинах в щебнистую арктическую пустыню, и широкую долину Анадыря... Зальцман мог попасть туда, если «Заря-2» погибла у берегов Чукотки. Но для чего ему потребовалось отмечать именно эту долину? И что могла означать вот такая запись: «Дли. чтрх. кр. (далее шли координаты), сп. н., птрсн. слч., д-к спрти: пври, сз, 140, р-ка, лвд. пвли, тпл, крн!!!» Видимо, Зальцман зашифровал нечто важное для себя, но что — мы не могли понять, а на хроноскоп не надеялись: мы думали, что опять увидим лишь пишущего Зальцмана. Мы ошиблись, и ошибку отчасти извиняет только наша неопытность как хроноскопистов. Именно потому, что вшитый лист отличался от остальных, его и следовало подвергнуть анализу в первую очередь.

Теперь Березкин предложил начать с него. Сперва мы дали хроноскопу задание выяснить, как была вырвана страница. Портрет Зальцмана хранился в «памяти» хроноскопа, и поэтому он тотчас возник на экране. Но с ответом хроноскоп, к нашему удивлению, медлил дольше, чем обычно. Потом на экране появились руки — худые, с обгрызенными ногтями, перепачканные землей; руки раскрыли тетрадь, секунду помедлили, а затем торопливо

вырвали лист, уже испещренный непонятными значками, сложили его и спрятали. Экран погас.

— Три любопытные детали,— сказал я Березкину.— Обгрызенные ногти, перепачканные землей руки, торопливые движения. Зальцман зарывал какую-то вещь и боялся, что его могут заметить. Обгрызенные ногти, если только это не старая привычка, свидетельствуют о душевном смятении.

— Это не привычка,— возразил Березкин.— И вот доказательство.

Он переключил хроноскоп, и на экране вновь появился умирающий Зальцман. Руки его — худые, но чистые и с ровными ногтями — сжимали заветную тетрадь.

— Дадим новое задание хроноскопу,— предложил Березкин.— Может быть, он сумеет расшифровать запись.

И хроноскоп получил новое задание.

Ответ, но не тот, на который мы рассчитывали, пришел немедленно. В полной тишине зазвучали странные слова: «Цель оправдывает средства. Решение принято окончательно, осталось только осуществить его. И оно будет осуществлено, хотя я предвижу, что не все пойдут за мною...»

Березкин протянул руку и выключил хроноскоп.

— Недоразумение,— сказал он.— Придется повторить задание.

Он повторил задание, и вновь мы услышали металлический голос хроноскопа: «Решение принято окончательно...»

— Что за чертовщина! — изумился Березкин.— Ничего не понимаю.

Он хотел снова выключить хроноскоп, но я удержал его:

— Мы же условились верить прибору. Давай послушаем.

Металлический голос продолжал: «...не все пойдут за мной. Придется не церемониться...»

И вдруг по экрану — а он светился слабым нейтральным светом — прошли зеленые волны, и голос забормотал нечто совершенно непонятное.

Березкин выключил хроноскоп.

— Что-то неладно,— сказал он.— Определенно что-то неладно. Никто ж посторонний не прикасался к прибору. Он должен работать исправно!

Березкин, нервничая, хотел еще раз повторить задание, но я попросил его вынуть лист из хроноскопа.

— Для чего он тебе нужен? — не скрывая раздражения, спросил Березкин.— Мы ж его вдоль и поперек изучили!

Я все-таки настоял на своем, хотя и не знал еще, что буду делать со страницей. Я долго рассматривал ее, а Березкин стоял рядом и торопил. Он почти убедил меня вернуть ему лист, когда мне пришла на ум неожиданная мысль.

— Послушай,— сказал я,— ведь хроноскоп исследует страницу с верхней кромки до нижней, не так ли?

— Так.

— Теперь обрати внимание: строки, написанные рукою Зальцмана, расположены почти посередине страницы.

— Но выше ничего нет!

— Есть. Мы с тобой этого не видим, а хроноскоп заметил.

— Тайнопись, что ли?

— Не знаю, но что-то есть. Постарайся уточнить задание. Можно сформулировать его так, чтобы хроноскоп пока не анализировал строчки Зальцмана и сосредоточил внимание только на невидимом тексте?

— Сформулировать можно, но что получится?

— Попробуй.

— Ты думаешь, изображение и звук смешались из-за того, что одно нашло на другое?

— Во всяком случае эта мысль пришла мне в голову.

— Гм,— сказал Березкин.— Рискнем.

Он довольно долго колдовал около хроноскопа, а я с волнением следил за его сложными манипуляциями: мы приблизились к раскрытию какой-то тайны, и если хроноскоп не подведет...

Березкин сел рядом со мной, и в третий раз зазвучали уже знакомые слова. Когда металлический голос произнес: «Придется не церемониться...» — я невольно взял Березкина за руку, но голос, ничем не заглушаемый, продолжал: «Кто будет против, тот сам себя обречет на гибель вместе с чернью. Замечаю, что кое-кто забыл, кому все обязаны спасением. Придется напомнить. Только бы справиться с этим... Никогда не прощу Жильцову, что он взял его...»

Голос умолк, и экран потемнел.

Мы с Березкиным удовлетворенно переглянулись: хроноскоп выдержал еще одно сложное испытание.

— Все это мило, но я пока ничего не понимаю. Стиль явно не Зальцмана,— сказал Березкин.— «Заговорил» еще один участник похода. Но кто из них?

— Стиль не Зальцмана,— согласился я.— И все же не будем спешить. Пусть хроноскоп подтвердит нашу правоту — если почерки разные, он легко определит это.

И хроноскоп подтвердил, что прочитанный им невидимый текст написан рукою другого человека — не Зальцмана: условная фигура этого неизвестного участника экспедиции так и не совместилась на экране с вполне конкретным изображением Зальцмана.

— Можешь домыслить и облик незнакомца,— полушутя предложил мне Березкин.— Портретные характеристики — это ж твоя стихия. Зальцман на экране, как живой.

— Странно ты относишься к испытанию хроноскопа,— сказал я.— У тебя даже не появилось желания и в этом плане проверить его возможности. Совсем не исключено, что по характеру текста и почерка он способен дать — пусть приблизительную — характеристику человека, его внешний облик.

— Вот ты куда метишь! — усмехнулся Березкин. Но идея ему понравилась, и он принялся мудрить с формулировкой задания. Наконец он отошел от хроноскопа, и мы увидели на экране человека — широкоплечего, плотного, подтянутого, совершенно непохожего на Зальцмана; портрет был лишен запоминающихся индивидуальных черточек, но все же у нас сложилось впечатление, что хроноскоп изобразил человека требовательного, привыкшего повелевать, жесткого или скорее даже жестокого; он сидел и писал, и мы видели, что тетрадь у него такая же, как та, которую прятал Зальцман.

— Н-да,— протянул Березкин.— Если хочешь знать, для меня это полная неожиданность. Я почти не сомневался, что хроноскоп не сможет охарактеризовать человека...

— Вот видишь, как ты ошибся в своем детище...

— Не совсем так. Если бы не придуманная тобой портретная характеристика Зальцмана, хроноскоп, пожалуй, действительно ничего бы не сделал... Зальцман послужил

как бы отправным пунктом. Но это — технические детали. А вот откуда взялся сей сурово-начальственный типаж?.. Впрочем, не будем гадать. Пусть хроноскоп сначала расшифрует и проиллюстрирует строчки Зальцмана.

— Сразу и проиллюстрирует?

— Попробуем.

То, что мы увидели через несколько минут, повергло нас в еще большее удивление. Металлический голос четко и бесстрастно произнес: «Долина Четырех Крестов». Мы надеялись увидеть на экране долину, но изобразить ее хроноскоп не сумел: неясное видение быстро исчезло, и на экране возник Зальцман. Волнуясь и словно опасаясь кого-то — хроноскоп отчетливо передал его состояние — Зальцман сделал в тетрадке запись, и мы тотчас узнали, какую: «Спасения нет, потрясен случившимся, дневник спрятан...»

Зальцман писал сидя, но после того как хроноскоп расшифровал строку, изображение Зальцмана вытянулось и размылось, а тетрадь стала вздрагивать, словно он долго держал ее на весу или шел с ней. Березкин несколько уточнил задание, и тогда Зальцман на экране принялся вышагивать, все время придерживаясь одного направления. Хроноскоп молчал, а по экрану проходили странные зеленоватые волны, и у нас сложилось впечатление, что электронный «мозг» хроноскопа столкнулся с задачей, которую не может разрешить.

— Следующая шифровка там — «пврн»,— сказал Березкин.— Не местное ли понятие какое-нибудь?.. Если так, хроноскоп его не прочтет.

— Поварня! — неожиданно догадался я.— Ну да, так называются промысловые избушки на Севере. Откуда же это «знать» хроноскопу. Они маленькие, с плоскими крышами...

Березкин выключил хроноскоп и разъяснил в задании, что такое поварня. После этого на экране возникла небольшая плосковерхая избушка, и Зальцман начал свой путь от нее.

— Теперь — другое дело,— удовлетворенно сказал Березкин. Он хотел добавить еще что-то, но хроноскоп, перебивая его, произнес: «Северо-запад. Сто сорок». А Зальцман все шагал и шагал, и мы поняли, что 140 — это количество шагов. Затем прозвучали слова: «Река, левада». Зальцман в этот момент остановился и, по-преж-

нему сильно нервничая, сделал в открытой тетрадке запись. Очевидно, он записал цифру и эти слова. На экране появилось смутное изображение реки, а потом и леса. После иекоторой паузы металлический голос сказал: «Поваленный тополь, корни» — и мы увидели огромный тополь, вывернутый бурей вместе с корнями.

— Бред,— категорически заявил Березкин.— Действие происходит севернее Полярного круга, в тундре, а тут украинские левады, гигантские тополя! Придется повторить задание.

— Нет, задание повторять ие придется,— возразил я.— Хроноскоп с удивительной точностью восстановил картину. Зальцман спрятал дневник в ста сорока шагах к северо-западу от поварни, в леваде, у корней поваленного бурей тополя!

— Да иет же там никаких левад и тополей! На Чукотке-то! ·

— Есть, и это известио всем географам: в долиие реки Аиадырь и некоторых ее притоков сохранились так иазываемые островные леса. И к югу и к северу от бассейна Анадыря — тундра, а в долинах рек растут настоящие леса из тополя, ивы-кореянки, лиственницы, березы. Это как раз и служит доказательством, что хроноскоп точно расшифровал запись н правильно проиллюстрировал ее!

— Все это похоже на чудеса,— задумчиво произнес Березкин.— Знаешь, когда я закрываю глаза, мне порой кажется, что никакого хроноскопа не существует, что все это мы где-нибудь прочитали, или услышали, или сами нафантазировали. Настала пора действовать эиергично. Данилевский обещал нам помочь. Затребуем самолет и вылетим иа Чукотку. Согласен?

— Конечно.

Но прежде чем вылететь иа Чукотку, мы передали подвергиутую хроноскопии страничку иа исследоваиие специалистам. После тщательиого анализа они подтвердили, что, помимо хорошо видимого текста, иа ней имеются очень слабые следы другой записи, вдавлеиные в бумагу: кто-то писал на предыдущей странице, и текст отпечатался на той, которая попала к нам. Мы ие обратили внимаиия на эти следы, ио хроноскоп разглядел нх и расшифровал. Специалисты частично восстановили для нас запись, и мы убедились, что оиа сделана почерком очень

твердым, жестким, совершенно не похожим на почерк Зальцмана. Более того, страничку подвергли дактилоскопическому анализу, и было установлено, что наряду с нашими отпечатками сохранились отпечатки пальцев еще двух людей.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

в которой рассказывается, какие сведения сообщили нам из Иркутска, как была организована первая экспедиция хроноскопистов, и что удалось узнать о судьбе Розанова.

О первых результатах расследования Данилевский доложил на президиуме Академии наук, и через некоторое время в распоряжение хроноскопической экспедиции предоставили самолет. Мы могли вылететь на Чукотку немедленно, но из-за хроноскопа задержались. Кажется, я не говорил, что хроноскоп, несмотря на сложность и почти невероятную чувствительность, по размерам совсем невелик. Проектируя его, Березкин сразу поставил целью сделать хроноскоп, если так можно выразиться, портативным. Конечно, носить его с собой в буквальном смысле слова никто из нас не мог, но перевезти на самолете или автомашине можно было без особого труда. Однако за стенами Института вычислительных машин хроноскоп нуждался в помощи некоторой дополнительной аппаратуры. Монтаж ее и задержал нас в Москве.

Жалеть о задержке нам не пришлось. Во-первых, наступило лето. А во-вторых... Во-вторых, мы получили неожиданные известия из Иркутска. Один из сотрудников краеведческого музея, прекрасный знаток Сибири, которому показали запрос академии в городской архив, в частном письме сообщил нам, что об экспедиции Жильцова он ничего не знает, но зато ему хорошо известно имя Розанова, большевика и красногвардейца, сражавшегося за Советскую власть против Колчака. Если это тот самый Розанов, который принимал участие в экспедиции Жильцова, писал наш добровольный помощник, то о нем мы сможем получить в Иркутске точные сведения.

Вот почему наш самолет, на борту которого был установлен хроноскоп, совершил специальную посадку в Иркутске.

Энтузиаст-краевед встретил нас на аэродроме. Горисполком предоставил нам машину (почему-то полуторку;

видимо, товарищи решили, что мы иемедлеино погрузим иа нее хроиоскоп), и иаш помощник предложил поехать к Розаиову. Он сказал это так, как будто Розаиов был жив.

— Нет, к сожалеиию,— ответил краевед, когда я переспросил его.— Жив ои только в памяти сибиряков.

Было еще очеиь раио, около шести часов утра. Машииа прошла по тихим зелеиым улицам Иркутска, и город остался позади. Дорога, описав дугу, прижалась к Аигаре и больше ие отходила от нее. Небо было затянуто неплотиым, ио сплошным слоем облаков, а иад темиой быстрой Ангарой клубился белый туман; казалось, что река дышит и дыхаиие ее, холодиое и влажиое, долетает до иас. Я сидел в кузове между Березкииым и краеведом. Разговаривать иикому ие хотелось. Машииа проиосилась мимо березовых, с примесью сосиы, лесков, мимо вытянувшихся вдоль реки селеиий, и я вспомиил, что скоро иа их месте раскиием новое водохраиилище. Тумаи над рекой постепеиио рассеивался, и сквозь пелену проступали очертания темных рыбачьих лодок. Машииа попадала то в теплые струи воздуха, то в холодные, но стаиовилось все теплее, проглядывало солице. Теперь мы хорошо видели лесистые сопки по левому берегу Аигары, узкую полоску железнодорожиого полотиа, прижатую к самой воде; навстречу иам прошел поезд, и белые облачка дыма растаяли иад Аигарой. Неожидаиио река, а следом за ией и шоссе сделали крутой поворот, и между двумя мысами показалась широкая светлая полоска воды — Байкал.

Мы остаиовились в селе Листвеииичиом, и краевед повел иас иа заросший сосиой и кедрами склои сопки.Ториая тропа круто подиималась вверх, и мы еще издали заметили высокий белый обелиск, поставлеииый иад братской могилой. Среди многих имеи, высечеииых иа мраморной доске, мы нашли зиакомое иам имя: С. С. Розанов.

— Он был члеиом Иркутского комитета РКП(б),— сказал краевед,— и одиим из руководителей восстаиия против колчаковцев. Погиб в яиваре 1920 года под Листвеииичиым, иа берегу Байкала.

...Мы стоим, сняв шапки. Утреиний бриз чуть колышет волосы. Байкал затяиут полупрозрачной голубой дымкой, он спокоен, величествен и прост. От пирса уходит

в голубую даль небольшой буксирный пароход. А у самого берега лежит село с крепкими, надолго срубленными домами, и по длинной улице движутся по направлению к школе маленькие фигурки детей...

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой экспедиция хроноскопистов убеждается, что на Севере есть немало названий со словом «кресты», но о Долине Четырех Крестов никто никогда не слышал.

В Иркутском городском архиве документально подтвердили все, что мы узнали со слов краеведа о Розанове. Но полученные нами сведения относились к последнему, вероятно, самому славному, короткому периоду в жизни одного из наших героев — периоду борьбы за Советскую власть в Восточной Сибири. Сведения эти подтверждали достоверность записок Зальцмана. Да, Розанов, вольный или невольный участник полярной экспедиции Жильцова, был профессиональным революционером, настоящим коммунистом и до конца жизни сохранил верность своим идеалам. Он прожил трудную героическую жизнь и погиб в бою с колчаковцами. Образ этого человека до конца прояснился, он стал близок и дорог нам, но от решения основной задачи — узнать судьбу экспедиции — мы были по-прежнему далеки.

Появление Зальцмана в Краснодаре уже не удивляло нас; он спасся не один, Розанов тоже добрался до большого города. Но что случилось с остальными? О какой таинственной истории пытался рассказать умирающий Зальцман? Сохранились ли документы? И все наши помыслы сосредоточились на Долине Четырех Крестов.

За три дня по сложной трассе мы долетели до Чукотки и приземлились на аэродроме в селе Марково. Экспедицией нашей сразу же заинтересовались все местные жители — и новоселы и старожилы, но о Долине Четырех Крестов никто никогда не слышал.

— Залив Креста — знаем,— сказал нам начальник авиапорта,— Крестовый перевал — тоже. Но Долина Четырех Крестов — понятия не имею.

— На Колыме еще всякие «кресты» есть,— поделился своим опытом марковский агроном.— Нижние Кресты, Кресты Колымские...

— Все не то,— ответили мы.— Наша долина находится в верховьях реки Белой. Там должна стоять поварня.

— Это еще не примета,— возразили нам.— Мало ли поварен на Севере!

— Много,— согласились мы.— Но по реке Белой их же не сотня. И потом — нам известны координаты, мы знаем, где искать.

И мы начали поиски.

На второй день самолет полярной авиации поднялся с аэродрома и взял курс на север (мы не могли рисковать хроноскопом, и поэтому наш самолет остался в Маркове, в авиапорту).

Сначала мы летели над болотистой Анадырской низменностью, испещренной цепочками небольших тундровых озер, соединенных между собой протоками-висками, потом местность стала выше, и самолет пересек неширокую холмистую гряду; сверху холмы казались серыми, безжизненными, лишь кое-где на них зеленели пятна стелющейся черной ольхи.

Совершенно иная картина открылась нам, когда холмистая гряда осталась позади. Теперь самолет шел над долиной реки Белой; сильно извиваясь, то и дело меняя направление, река неспешно текла между низкими берегами, заросшими лесом. Он жался к реке, этот лес, и узкая полоска его с внешней стороны окаймлялась кустарниками, а дальше расстилалась тундра — серая, заболоченная, с редкими пятнами снежников, летующих в затененных местах.

Чем севернее забирался самолет, тем выше становились холмы вокруг Белой, прямее долина реки, ýже полоски галерейных лесов. Вскоре пилоту пришлось набрать высоту: теперь под нами лежали горы, тоже серые и тоже с редкими зелеными пятнами ольхи. Пятен этих становилось все меньше, и наконец они исчезли совсем, зато все чаще попадались снежники и маленькие белые ледички. Они лежали в долинках, и из-под них вытекали ручьи. Деревья встречались лишь небольшими группами, и с каждой минутой полета — все реже и реже. За все время я лишь однажды заметил кочевье оленеводов — несколько островерхих яранг и кораль для загона оленей, и один раз — одинокое зимовье, как мне показалось, пустое (дымок над ним не вился).

Штурман предупредил, что самолет скоро выйдет в заданную точку.

— Смотрите в оба, товарищ Вербинин. Не так-то легко заметить с воздуха ваши кресты.— Он подумал и добавил: — Если они вообще существуют.

Долина Белой становилась все у́же. На севере отчетливо виднелись вознесенные в поднебесье вершины Анадырского хребта. Больше всего смущало меня, что совсем исчезли галерейные леса; ведь в шифровке Зальцмана упоминались левада и поваленный тополь, и хроноскоп так убедительно изобразил нам все это. Я почувствовал на себе внимательный взгляд Березкина и оглянулся. Он выразительно приподнял брови и кивнул в сторону окна. Очевидно, расстилавшаяся под нами картина смущала его не меньше, чем меня.

Я еще раз посмотрел вниз и понял, что в указанной точке мы не найдем Долину Четырех Крестов. Я подумал об этом не потому, что вдруг усомнился в точности астрономического определения,— мы давно подозревали, что оно лишь приблизительно указывает местоположение долины,— к выводу этому меня привел физико-географический анализ местности. Северные ветры беспрепятственно разгуливали по долине реки Белой, которая становилась все выше и выше; тополя здесь выжить уже не могли. И я решил, что где-то поблизости должна находиться замкнутая почти со всех сторон, хорошо защищенная от северных ветров горным хребтом небольшая долина одного из второстепенных притоков Белой, в которой сохранился островок леса,— быть может, самый северный на Чукотке. Древесную растительность на Севере губят не холод, не жестокие морозы, как обычно думают. В районах Верхоянска и Оймякона, в пределах «полюса холода» Северного полушария, где температура опускается почти до семидесяти градусов мороза, растет тайга, и деревья чувствуют себя вполне нормально. Главная причина безлесья тундры — в низких летних температурах и в иссушении растений. Да, на Севере растения нередко гибнут от засухи, стоя «по колено» в воде. Очень опасны для деревьев весенние ветры: деревья начинают пробуждаться от зимнего оцепенения, влага испаряется, а новая не поступает, потому что почва еще не оттаяла и скована мерзлотой...

— Прибыли,— сказал штурман.

Под иами расстилалась арктическая пустыня, и никаких призиаков жизни иевозможио было заметить сверху. Я высказал штурману свои соображения и попросил взять иемиого восточиее: насколько я мог судить, Аиадырский хребет там лучше защищал прилегавшие к нему долины.

Самолет лег иа иовый курс и стал иабирать высоту — зеленый оазис леса все равио ие ускользиул бы от нашего вниманиия.

Мой прогноз подтвердился: через несколько минут с большой высоты мы разглядели темиеющее посреди серых гор пятио оазиса.

Постепеиио сиижаясь, самолет иачал кружить иад малеиькой прижатой к массивиому склону хребта долиикой. К иеширокой речке примыкал крохотный клочок леса, видиелась прямоугольная повария, а по соседству белел сиежиик. Сверху нам долго не удавалось разглядеть кресты, но при последнем заходе и Березкин и я все-таки заметили один из иих — наверное, самый высокий.

Никто ие сомневался, что найдена Долина Четырех Крестов. Штурмаи определил ее местонахождение, иаиес долииу на карту, и мы полетели обратно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой экспедиция хроноскопистов получает вертолет и после вынужденной задержки перебазируется в Долину Четырех Крестов, где первое же обследование приводит к интересным находкам.

Во время полета к Долине Четырех Крестов пилот и штурмаи, как выяснилось, внимательно изучали местиость и устаиовили, что нигде поблизости иет посадочиой площадки, иа которую смог бы приземлиться иаш самолет с хроиоскопом. Это сразу же усложнило задачу. Первой нашей мыслью было выброситься иа парашютах без хроноскопа, произвести рекогиосцировку в Долиие Четырех Крестов, а затем в походиом порядке выйти к ближайшему иаселенному пуикту. Но летчики, вместе с иами обсуждавшие этот вариант, категорически запротестовали и предложили запросить у руководства вертолет. Не очеиь иадеясь на успех, мы послали радиограмму

в Аиадырь и почти тотчас получили ответ: в наше распоряжение был выслаи вертолет.

Несколько дней ушло у иас на моитаж хроноскопа и вспомогательиой аппаратуры в вертолете. Электроиные машниы — приборы, как известио, тоикне, н мы с Березкиным натерпелнсь немало страха, прежде чем убеднлись, что моитаж завершеи благополучио и хроиоскоп работает.

Мы уже готовнлнсь вылететь, как вдруг заряднлн дождн. Рыхлые серые облака спустнлнсь почти к самой земле, перекрылн все «иебесиые дороги», и иачальннк аэропорта упорио ие давал иам «добро». Что это было за мученье — сндеть в нескольких часах полета от заветиой цели, тосковать, проклииать все иа свете и смотреть, смотреть, смотреть, как беспрерывио сочатся нз облаков тонкне дождевые струи, как иабухают туидровые болота, а ручьи стаиовятся все полиоводиее и полиоводиее! На Анадыре стояли белые иочи, н круглые сутки все было серо и уиыло. Даже большущне мохиатые комары, иавериое, умерлн с тоски — по крайией мере, оии ие появлялись.

Накоиец погода проясиилась. Мы вылетелн рано утром и вскоре увидели темиый оазис леса посредн арктнческой пустыни.

Вертолет опустнлся в сторонe от поварнн, за лединчком. Когда выключилн мотор и иесущнй виит, сделав последиий оборот, иеподвижио застыл в воздухе, иичем не нарушаемая, безжнзиеииая, как выразнлись мы, тишниа обступнла иас. Испытывая легкое волиеине, мы выбралнсь нз вертолета н огляделнсь. За иашей спиной, защнщая долииу от ветров с Севериого Ледовнтого океаиа, монолитиой стеной возвышался Аиадырскнй хребет; небо лежало прямо иа его спокойиых округлых вершниах н, как козырьком, прикрывало и иас, и маленькую долнику с ледиичком н левадой. Серые потоки щебня распадалнсь у наших ног на мелкие застывшие ручейкн, н тут же рядом серебрнлнсь припавшне к земле пушистые ивы, каждую нз которых можно было накрыть двумя ладонямн, цвела куропаточья трава, тянулнсь к хмурому небу тоикне, в зеленых чешуйках стебельки шнкшн, белели причудливые, как кораллы, кустнкн ягеля — «олеиьего моха», а средн камней вндиелись проволочные моткн чериого жесткого лншайннка — алекторни.

По пути к поварне мы пересекли снежник. У меня было такое ощущение, что снежник этот — часть внезапно застывшего озера: дул ветер, ходили по озеру волны, а потом, как по мановению волшебной палочки, оно застыло, и волны замерли с вознесенными вверх гребешками. Напуганные вертолетом суслики-евражки, расхрабрившись, вылезли из норок и тревожно свистели, глядя на нас.

Безымянный приток Белой, начинающийся где-то на склонах Анадырского хребта, был не очень глубоким, но зато широким. Над водой выступали гладкие темные спины многочисленных валунов. Поварня стояла на левом берегу реки, а небольшая тополиная рощица ютилась на правом.

Неподалеку от поварни мы и увидели четыре креста: три высоких и один небольшой, похожий на обычный могильный крест. Два крайних, стоявших особняком, сразу же показались нам очень старыми; еще издали заметили мы, что черное потрескавшееся дерево иссечено ветрами, а внизу поземка «подгрызла» кресты, и они вот-вот могли упасть. Никаких надписей на этих крестах не сохранилось, а может быть, их никогда и не было. Они возвышались посреди арктической тундры, как безмолвные памятники всем, кто жил, боролся и погиб на Севере. Наверное, их водрузили здесь еще во времена землепроходчества над могилами павших товарищи по скитаниям, водрузили и ушли дальше и затерялись где-то в просторах Арктики, канули в небытие, а кресты над безымянными могилами все стояли, широко раскинув черные перекладины... Потом рядом с ними появились два новых креста: маленький, с именем астронома Мазурина, и высокий, с еще хорошо сохранившейся надписью:

Жильцов Андрей Павлович
русская полярная экспедиция
1914—1916

Мы расследовали историю экспедиции, исчезнувшей много лет назад, и, конечно, никого из ее участников не надеялись застать в живых. И все-таки всех нас вдруг охватила глубокая тоска, и руки сами потянулись к шапкам...

Низенькая старая поварня казалась глубоко вросшей в землю. Прежде чем войти в нее, нам пришлось срыть

грунт перед порогом; видимо, поварня уже очень давно никем не посещалась.

Мне трудно передать сейчас свое первое впечатление от всего, что мы увидели внутри поварни, а увидели мы странную картину: пол был завален порванными и порезанными листами из тетрадей и путевых журналов, а посреди этого хаоса лежали останки человека... Мы облегченно вздохнули, когда снова вышли наружу, почувствовали прикосновение холодного ветерка и услышали шум реки и шелест листвы в леваде; мир показался нам особенно чистым, сквозным, просторным, и уже с совершенно иным чувством смотрели мы на неяркие цветы куропаточьей травы, на чешуйчатые стебельки шикши, на ватные головки пушицы, качавшиеся над болотцем.

Долго молчавший Березкин сказал:

— Отсюда Зальцман начал отсчитывать шаги,— и махнул рукой в сторону левады.

Это замечание вернуло всех нас к действительности. Мы возвратились в поварню, обходя скелет с остатками одежды, тщательно собрали все бумаги, а пилот нашел у стены сильно поржавевший охотничий нож и тоже захватил его с собой. Со всем этим багажом мы отправились к вертолету, чтобы привести в порядок найденные бумаги и вообще разобраться в своих впечатлениях.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой высказывается первое суждение о найденных бумагах, а хроноскоп вновь позволяет нам воочию увидеть некоторые события, происшедшие сорок лет тому назад.

Пилот признался нам, что посадил вертолет так далеко от поварни, боясь повредить какие-нибудь «вещественные доказательства», как он выразился. Теперь же, после первого обследования, мы решили перебазироваться и разбить лагерь у тополевой рощи. Поставив палатку и наскоро перекусив, мы, при живейшем участии пилота и штурмана, занялись разбором бумаг. Все они были перепутаны, многие выцвели, стали ломкими, но все-таки успех нашего предприятия теперь зависел от этих листочков, исписанных неразборчивыми незнакомыми почерками. Как и все современные люди, с раннего

детства приученные читать и писать, мы подсознательно больше всего и охотнее всего верили письменным документам, слову. И даже сейчас, обладая первым в мире хроноскопом, прибором, способным объективнее и точнее воспроизводить картины прошлого, чем любое письменное свидетельство, неизбежно отражающее симпатии и антипатии автора,— мы все же засели за бумаги, и не подумав прибегнуть к помощи своего чудесного аппарата. Очевидно, недооценка возможностей хроноскопа заставила нас потратить некоторое количество времени на совершенно нелепые домыслы.

Пилот и штурман, довольные, что им тоже позволили разбирать бумаги, и чувствовавшие себя по меньшей мере Шерлок Холмсами, на чем свет стоит бранили «негодяя» (выражение принадлежит штурману), изрезавшего и расшвырявшего в непонятном приступе ярости дневники участников экспедиции.

— Занесло лешего! — сказал пилот.— Надо же такому случиться! Уж, кажется, в такой глуши стоит поварня! Даже оленей чукчи не пасут поблизости.

— А по-моему, его не занесло,— возразил Березкин.— По-моему, все произошло в шестнадцатом году, и именно об этой трагической истории хотел сообщить умирающий Зальцман. Видимо, один из участников экспедиции сошел с ума и его пришлось...

Березкин не договорил, но мы поняли его. Хаос, царивший в поварне, не оставлял сомнений, что там побывал буйно помешанный.

— После всего пережитого,— сказал штурман,— всякое, конечно, могло случиться...

Больше он не бранил «негодяя».

А мне не хотелось соглашаться с Березкиным — именно не хотелось. Я ничего не мог возразить против его предположения, но самая мысль, что в экспедиции могло произойти убийство — пусть психически больного,— была мне крайне неприятна, и я откровенно высказал свою точку зрения.

— Буду рад, если ты окажешься прав,— ответил Березкин.

Разбор старых, выцветших, ломающихся в руках бумаг требует определенных навыков. В таких делах я обладал несравнимо большим опытом, чем Березкин и наши помощники — пилот и штурман. Поэтому постепенно я

их оттеснил на второй план, им пришлось почти все время сидеть сложа руки, а сидеть сложа руки, как известно, занятие очень скучное. Вероятно, поэтому мысли пилота и штурмана возвратились к вертолету и находящемуся там хроноскопу; нам вежливо напомнили, что мы обещали в первый же день показать, как работает хроноскоп.

— Вот,— сказал штурман, осторожно приподнимая с земли заржавленный нож, принесенный из поварни пилотом.— Провентилировали б вы эту штучку.

Симпатии Березкина, при всем его уважении к письменным документам, тоже принадлежали хроноскопу; от дела я его отстранил, и он решил, очевидно, не без тайного умысла, поразить пилота и штурмана совершенством хроноскопа, уступить их просьбе.

— Дай какой-нибудь документик,— попросил он у меня.— Познакомлю ребят с хроноскопией.

Просьба мне не понравилась: пока бумаги не разобраны и не систематизированы, лучше их не трогать. Я замялся и пробормотал, что сейчас мне может понадобиться любая из этих страничек.

Штурман, выручая меня и испугавшись, что им не покажут хроноскоп в работе, снова помахал перед нами ножом.

— Можно же эту штучку...

Теперь загорелся Березкин. До сих пор мы ограничивались хроноскопией письменных документов, а тут представлялась возможность испытать хроноскоп на совершенно ином материале.

— Пошли,— сказал он штурману и пилоту.— Пусть Вербинин тут один командует.

Меня больше всего интересовали дневники начальника экспедиции Жильцова. Сопоставив разные тексты и почерки, я наконец обнаружил записи самого Жильцова.

Они пострадали сильно, в душе я тоже проклинал безумца, порезавшего и порвавшего дневники, но все-таки работа успешно продвигалась вперед, и я надеялся за два-три дня закончить предварительную разборку материалов.

По времени давно уже наступила ночь, и я трудился, радуясь, что на Чукотке сейчас стоит полярный день и короткие сумерки сгущаются лишь в полночь. Я был настолько поглощен своими делами, что, услышав крик Бе-

резкина, не обратил на него внимания,— он просто не дошел до моего сознания.

Березкин, а следом за ним и пилот ворвались в палатку.

— Ты что, заснул? — нетерпеливо спросил Березкин.— Кричим тебе, кричим! Быстрее, быстрее! Мое предположение подтвердилось!

Он потащил меня за собой, но я сначала тщательно прикрыл документы и лишь потом вышел из палатки.

— Ну, рассказывайте.

Березкин и пилот, не отвечая, волокли меня к вертолету, но более непосредственный штурман, выскочивший из вертолета нам навстречу, крикнул:

— Нож заржавел от крови! — Он глотнул воздух и тихо добавил.— Убийство...

Потом, уже совершенно другим, мало подходящим для данного случая тоном штурман сказал, не скрывая восхищения:

— Ну и хроноскоп! Чудо, я вам доложу!

— Серьезно — убийство? — останавливаясь, спросил я.

— Сейчас ты сам просмотришь кадры,— ответил Березкин.— Они достаточно красноречивы. Нож действительно заржавел от крови, а удар наносил человек неопытный и попал в кость... Останки в поварне тоже кое о чем свидетельствуют. Короче говоря, я, видимо, прав... История экспедиции омрачена и таким эпизодом.

— Фигура человека — условна?

— Я бы тоже хотел сразу узнать, кто погиб в поварне,— усмехнулся Березкин.— Но разве можно получить портретную характеристику по следам на ноже?.. Ответ скорее всего в дневниках.

— Кажется, у Зальцмана действительно были основания мучиться и спрашивать: «правы или нет?» — тихо сказал я.— Если, конечно, не случилось другого: буйно помешанный мог убить в припадке кого-нибудь из участников экспедиции, а потом убежать в тундру и там погибнуть... История не так уж проста, к сожалению.

— Ты будешь просматривать кадры? — ничего не возразив мне, спросил Березкин.

Эпизоды, уже запечатленные в «памяти» хроноскопа, произвели на меня такое неприятное впечатление, что мне даже не хочется описывать, как все выглядело на экране...

Под общим нажимом я согласился подвергнуть хроноскопии особенно сильно пострадавшие страницы дневников, и хроноскоп как будто подтвердил наше предположение о безумстве: мы увидели на экране ослепленного яростью человека, бессмысленно режущего, рвущего и разбрасывающего дневники. Человек орудовал охотничьим ножом — таким же, как тот, что мы нашли в поварне.

Таковы внешние черты происшествия. Но, конечно, хроноскоп не мог провести границу между сумасшествием и приступом ярости у здорового человека, а для решения неожиданно возникшей загадки это имело бы немалое значение. Наблюдая за мечущейся по экрану фигурой мужчины, останки которого лежали в зимовье, я думал, что если это ярость — то странная ярость, что она не от бешенства сильного, идущего напролом человека, а скорее от отчаяния и безысходности. Впрочем, все это могло мне просто показаться.

По просьбе пилота и штурмана мы продемонстрировали им все, что хранилось в «памяти» хроноскопа и имело отношение к экспедиции, а потом подвели итоги, расположив все известные нам факты по порядку.

Итак, вот что мы знали:

Первое. В Якутске к экспедиции Жильцова присоединились политические ссыльные Розанов и Зальцман.

Второе. Экспедиция вышла в океан, и через два года некоторые из ее участников оказались в поварне, в Долине Четырех Крестов, где двое из них, Жильцов и Мазурин, погибли.

Третье. В Долине Четырех Крестов, в поварне, полярные исследователи почему-то оставили документы и ушли, причем какой-то человек, скорее всего один из участников экспедиции, попытался уничтожить документы, а потом погиб при загадочных обстоятельствах.

Четвертое. Зальцман добрался до Краснодара и умер там; перед смертью его жестоко мучили угрызения совести, он пытался ответить самому себе, правильно они поступили или неправильно, а в записях явно противопоставлял политссыльного Розанова командиру шхуны Черкешину.

Пятое. Розанов погиб в боях с Колчаком, борясь за Советскую власть в Восточной Сибири, и прах его покоится в братской могиле на берегу Байкала.

Сначала я подумал, что в поварне лежат останки Чер-

кешина, хотя сейчас не берусь объяснить, почему именно так подумал. Но Березкин стал доказывать мне, что, судя по запискам Зальцмана, Черкешин — снльный человек, безусловио мужественный, и предположение, что он так глупо погиб, просто абсурдно.

— Если хочешь знать,— говорнл Березкин,— помешательство могло случиться у человека с характером Зальцмана, но никак не с характером Черкешнна.

— Но Зальцман...— начал я.

— Да, Зальцман выдержал испытаине, н я склонен думать, что это был кто-то другой.

Мы решнли оставить вопрос открытым н зря не ломать себе голову: ведь документы должны были многое прояснить нам.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

в которой по восстановленным дневникам Жильцова дается описание первого этапа работы экспедиции, а также содержатся некоторые рассуждения о том, что история повторяется.

Все сохранившиеся страннцы дневника Жильцова мы прочли без особого труда, лишь нзредка прибегая к помощн хроноскопа. Жильцов пнсал обстоятельно, четко, очень доброжелательно по отношению ко всем участникам экспедицин, почтн не упомнная самого себя,— то есть так, как писалн большннство отечественных путешественников. Этнм он сразу расположил нас к себе, н мы, чнтая его дневннки, вернлн каждому его слову.

Запнски других участнннков экспеднцин, прочитанные позднее, позволнли нам составить полное представленне о Жильцове. Он прннадлежал к прекрасной школе русских военных моряков — высокообразованных, гуманных, преданных науке, к числу людей с широкнм кругозором, ясным умом н твердой волей. Такими были Крузенштерн и Лнсянский, Лазарев и Беллннсгаузен, Коцебу н Нахимов, Литке н Седов. В дневнике Жнльцова почти отсутствовали отвлеченные рассуждення, но весь строй его мыслей, проскальзывающие в записках симпатии и антнпатин позволнли нам заключить, что он был хоть н не революционно мыслящим человеком, но безусловно прогрессивно настроенным ученым. В этом убеждали нас и факты, в частности отношенне Жильцова к Розанову и

Черкешину. Судьбы этих трех людей с разными убеждениями и разными характерами завязались в сложный узелок сразу же, как только экспедиция покинула Якутск.

В дневнике Жильцова содержалась подробная, заметно выделяющаяся по стилю запись. Мы назвали ее «оправдательной», хотя в прямом смысле слова Жильцов не оправдывался. Просто вскоре после выхода из Якутска, когда «Заря-2» уже шла вниз по Лене, он написал в своем дневнике, что экипаж шхуны недоукомплектован и что где-нибудь по пути придется нанять еще одного матроса. Жильцов подробно аргументировал это, а через страницу мы обнаружили короткую, из двух строчек, справку о том, что на борт шхуны взят в качестве матроса С. С. Розанов. Нам показалось странным, что Жильцов сам нанял матроса — экипаж обычно комплектуется капитаном или командиром корабля. И Жильцов далее добросовестно отметил, что лейтенант Черкешин решительно протестовал против взятия на борт еще одного политического ссыльного. Однако Жильцов настоял на своем.

Эпизод этот сразу прояснил многое. Во-первых, мы помнили, что Розанов работал вместе с Зальцманом на верфи в Якутске и, следовательно, мог наняться в экспедицию там. Видимо, что-то помешало этому. Мы все склонялись к мысли, что за Розановым, в отличие от Зальцмана, был более строгий надзор и местные власти отказали ему в разрешении уехать с экспедицией: как-никак экспедиция намеревалась выйти к берегам Америки. Но Розанов стремился попасть в экспедицию, и Жильцов, который не мог не знать о мнении властей, сочувствовал ему и помог: Розанов присоединился к экспедиции уже в пути, несмотря на протест лейтенанта Черкешина.

Выйдя из устья Лены в море Лаптевых, «Заря-2» взяла курс прямо на Новосибирские острова. Море уже очистилось от льда, и шхуне попадались лишь редкие, изъеденные морем льдины, которые легко крошились под форштевнем. Через несколько дней «Заря-2» подошла к острову Васильевскому, что расположен на пути к Новосибирским островам. Этот остров открыл еще в 1815 году якут Максим Ляхов, который шел по льду из устья Лены на остров Котельный, но сбился с пути. Вероятно, Жильцов этого не знал, но к острову Васильевскому в 1912 году подходили суда русской гидрографической экспедиции

«Таймыр» и «Вайгач» и подробно описали его. В дневнике Жильцова тоже имеется характеристика острова, отмечено, что он невелик размером и невысок, сложен песчано-глинистыми породами и льдом и волны энергично разрушают его берега.

Не задерживаясь у этого острова, «Заря-2» пошла дальше — к острову Котельному и, воспользовавшись благоприятными ледовыми условиями, сделала попытку обойти Новосибирские острова с севера. Это удалось, и «Заря-2» прошла на север дальше, чем все другие суда до нее. Но однажды Жильцов заметил на облаках характерный отблеск льдов, и на следующий день тяжелые паковые льды преградили шхуне дорогу. Некоторое время «Заря-2» лавировала у кромки льда, надеясь дождаться разводьев, но потом вынуждена была отступить и взять курс на остров Беннета, еще в прошлом веке открытый Де Лонгом и ставший последним пристанищем Толля и его спутников.

«Заря-2» побывала в тех местах, где предполагалась Земля Санникова, и... не обнаружила ее. Жильцов посвятил этому несколько страниц своего дневника — очень любопытных страниц. Он приводил факты, доказывающие, что Земли Санникова не существует, но он верил людям, видевшим эту землю, и поэтому считал, что вопрос по-прежнему остается открытым. Нам было приятно читать запись в его дневнике, в которой он утверждал, что нет ни малейших оснований сомневаться ни в честности Санникова, менее всего помышлявшего о том, чтобы приписывать себе несделанные открытия, ни в научной добросовестности Толля. Они, как и многие исследователи Арктики, писали то, что наблюдали, и не писали того, чего не наблюдали,— так почти дословно сказано в дневнике Жильцова.

И меня, и Березкина очень заинтересовали характеристики участников экспедиции, сделанные Жильцовым. Мягкие, доброжелательные, а потому, безусловно, достоверные, они помогли нам понять взаимоотношения между участниками экспедиции, а позднее уяснить и причину трагических событий в Долине Четырех Крестов.

Черкешин — командир корабля, лейтенант. Опытный моряк, отличный навигатор, уже принимавший участие в нескольких арктических плаваниях; но особенно и с некоторой тревогой подчеркивал Жильцов следующие его

свойства: умен, смел, настойчив — и заносчив, требователен до жестокости, сторонник крутых мер, неприязненно относится к младшим чинам и якутам.

Мазурин — научный сотрудник, астроном. Человек мягкий, доброжелательный, легко подпадающий под чужое влияние, но прекрасный знаток своего дела; в полярной экспедиции участвует впервые.

Коноплев — научный сотрудник, этнограф, зоолог. Величайший энтузиаст своего дела, человек ясного ума и большого сердца, склонный во всех людях видеть своих братьев. Жильцов сделал небольшую дополнительную приписку: часто бывает излишне резок в разговорах с командиром корабля.

Характеристика Зальцмана вполне совпала с тем мнением, которое сложилось о нем у нас после ознакомления с дневниками. Полушутливо Жильцов называл его «совестью» экспедиции.

Говоров — помощник командира корабля. Молод, горяч, честен, ревностно относится к службе, но большого опыта не имеет.

Ни боцмана, ни матросов Жильцов в своем дневнике, к сожалению, не охарактеризовал. Ни слова не было сказано специально и о Розанове; имя его всплыло неожиданно на других страницах дневника.

Вскоре после выхода в океан командир шхуны лейтенант Черкешин приступил, как мы поняли, к осуществлению далеко идущего плана. Сначала все выглядело естественно: командир требовал строгого соблюдения дисциплины, жестоко взыскивал за малейшие — явные или кажущиеся — провинности. Матросы, да и все участники экспедиции, работали на совесть, но Черкешина это мало интересовало; он ввел на шхуне режим военной казармы, добивался, чтобы люди работали, как автоматы, слепо выполняя его распоряжения, он глушил всякую инициативу, идущую не от него. Презрительное отношение к нижним чинам делало обстановку особенно гнетущей, тяжелой. Неизвестно, как развивались бы события, не будь на шхуне политического ссыльного Розанова, человека, посвятившего свою жизнь борьбе с угнетателями всех мастей. Он быстро сплотил вокруг себя команду, и, когда Черкешин попробовал ввести на шхуне телесные наказания, матросы во главе с Розановым выступили против него.

Первоиачально Розаиов одии явился к Жильцову и от имеии всех матросов высказал ему свои требоваиия. Жильцов ие удивился и ие возмутился. Оказалось, что ои давио уже разгадал плаиы Черкешиia и готов был пойти иа обострение коифликта, чтобы пресечь их. Причииа коифликта четко сформулироваиа самим Жильцовым; в море за судио отвечает комаидир корабля или капитаи, и Черкешии, ловко используя это, решил оттесиить иачальиика экспедиции иа второй плаи и захватить власть в свои руки. Умиый человек, Черкешии понимал, что осуществить это ои сможет лишь при безропотиой покориости всей комаиды, поэтому ои и стремился забить, запугать людей. Но попытка совершить экспедициоииый переворот ие могла застать Жильцова врасплох и обескуражить. И ие только потому, что ои был достаточио иаблюдателеи, чтобы вовремя заметить опасиость, и достаточио решителеи, чтобы ие растеряться в трудиый момеит, ио и потому, что одиажды такие события уже произошли иа глазах у Жильцова...

Увы, история повторяется. В экспедиции Толля, в 1902 году, комаидир «Зари» лейтеиаит Коломейцев попытался сделать то же, что и лейтеиаит Черкешии. «Заря» стояла тогда у берегов Таймыра, и Толль, проявив достаточиую эиергию и решительиость, сместил сторонника телесиых иаказаиий и властолюбца Коломейцева, отправив его с почтой в Еиисейский залив, а иа его место иазиачил Матисеиа.

Вот почему Розаиов и Жильцов стали союзииками в борьбе против Черкешииа.

Ждать им пришлось иедолго. Черкешии быстро зарвался, и тогда против иего выступили все: и иачальиик экспедиции, и матросы, и иаучиые сотрудиики. Переворот ие удался. К сожалеиию, Жильцов ие имел возможиости избавиться от Черкешииа: судио иаходилось в открытом море. Но Черкешии призиал, что поступал иеправильио; иовых попыток захватить власть или ввести палочиый режим он ие делал. Жильцов записал в диевиике, что Черкешии поиял свои ошибки и, иавериое, больше ие повторит их.

Эпизод этот проясиил иам причиiу разиогласий между Жильцовым и Черкешииым из-за Розаиова. Жильцов, предвидевший осложиеиия с Черкешииым, иуждался в Розаиове как в человеке, способиом противостоять комаи-

днру шхуны, а Черкешнн, замышляя переворот, поннмал, что Розанов может помешать ему. И Жильцов и Черкешнн былн умнымн людьмн, не ошиблись в своих предположеннях.

Вскоре после этих событнй с борта «Зари-2» было замечено на севере «водяиое небо» — иа облаках лежал мутио-серый отсвет чнстой воды. Черкешин предложнл пробнться к полынье. Жильцов дал согласне, н шхуна начала трудный путь средн льдов. Внезапно переменившнйся ветер увелнчил разводья. «Заря-2» забиралась все дальше и дальше, как вдруг ветер снова изменился и ледяные поля стали сдвнгаться, угрожая судиу. Жильцов сделал в дневннке лаконнчную запись: «Герой ныиешиего дия — Черкешин; лишь его искусство нзбавило экспедицию от большнх неприятностей».

К коицу арктнческого лета шхуиа «Заря-2» подошла к острову Беннета — самому крупиому в архнпелаге Де Лонга, горнстому, необнтаемому. За тринадцать лет до этого с острова Беннета по непрочному ноябрьскому льду ушел в послединй поход нсследователь Толль, так и не дождавшнйся своей «Зари». «Заря» догинвала на берегу бухты Тнксн, а у скал острова Беиието стояла другая шхуна — «Заря-2», экипаж которой продолжал дело, начатое Толлем.

Несколько участннков экспедицин переправнлнсь в шлюпке на остров н, разделнвшнсь на две партии, занялись его нсследованнем. Коноплев, Зальцмаи н Мазурин пошлн в одну сторону, а Жнльцов с якутамн Ляпуновым и Мнхайловым и матросом-гребцом Розановым отправнлся нскать хнжнну, построенную Толлем.

Небо помутнело незаметно, н лншь когда внезапный порыв ветра хлестнул Жнльцова по лицу, он понял, что иадвнгается буря н необходимо срочно вернуться на шхуну. Жнльцов, Розанов, якуты Ляпунов н Михайлов поспешно двинулнсь обратио, к месту высадкн. Жнльцов шел первым. Онн переходнлн небольшой, круто спадающнй к морю леднник, когда снльнейшнй порыв ветра сбил Жильцова с ног. Начальинк экспеднцни покатнлся к обрыву, и лишь трещина спасла его от гибели. И Розанов и якуты кричалн сверху, но Жнльцов ие отзывался н лежал неподвнжно.

Буря все уснлнвалась, шквальный ветер не давал подняться, и люди вот-вот могли скатиться в море. Но никому

и в голову не пришло бросить Жильцова в беде. Розанов и Ляпунов остались наверху страховать, а маленький ловкий Михайлов спустился на веревке к Жильцову. Он был жив, но сам идти не мог. Ежесекундно рискуя жизнью, выбиваясь из сил, якуты и Розанов вытащили начальника экспедиции и на руках понесли его туда, где надеялись еще застать шлюпку. Шлюпку и всех остальных высадившихся на берег они застали, но «Заря-2» исчезла — она не могла оставаться в бурю возле скалистых берегов острова.

Уже через несколько часов на море появились льды. Ветер продолжал бушевать, но волны утихли. Никого это не обрадовало. Льды ползли с севера и неодолимой преградой вставали на пути между островом и шхуной, штормовавшей где-то в открытом море. И тяжело пострадавший Жильцов и все другие участники экспедиции, оставшиеся на острове, понимали, что их ждет неминуемая гибель, если «Заря-2» не пробьется сквозь льды за ними. Толль, оказавшийся в таком же положении, имел теплую одежду, продукты, все его спутники были здоровы. И все-таки они бесследно исчезли среди льдов. А у людей, сидевших в маленькой палатке вокруг Жильцова, не было ни запасов еды, ни теплой зимней одежды. И конечно же, каждый из них в эти дни думал: пробьется Черкешин или отступит, как отступил Матисен?

Прошел первый день, второй, третий. Вокруг острова лежали льды, и даже на горизонте не было видно «водяного неба». Здоровье Жильцова не улучшалось. Мысленно он готовился к смерти, хотя Зальцман уверял его, что ушибы не опасны. Но Жильцов думал о другом: он думал, что ему придется самому уйти из жизни, чтобы не отнимать у товарищей последней надежды на спасение: без него они, может быть, смогут по льду добраться до материка.

Неизвестно, чем кончилось бы двухнедельное пребывание на острове, если бы не удачная охота якутов на олений. А потом на горизонте появился едва заметный дымок: это «Заря-2» пробивалась к острову. Черкешин не бросил товарищей. К самому острову шхуна подойти не смогла, и пострадавшие по льду пошли к ней. На полпути их встретили матросы во главе с боцманом, и вскоре экспедиция в полном составе собралась на борту шхуны. Осунувшийся, измученный бессонными ночами, Черкешин

сдал вахту помощнику и, не слушая благодарностей, ушел к себе в каюту спать.

«Заря-2» продолжала плавание.

«Мы все, и я в особенности, обязаны жизнью Черкешину»,— записал в своем дневнике выздоравливающий Жильцов.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

в которой содержатся некоторые рассуждения о Земле Санникова, отыскивается тетрадь, спрятанная Зальцманом, а также рассказывается о дальнейшей судьбе экспедиции Жильцова.

...Погода портится. Сухая снежная крупа стучит по туго натянутому тенту палатки. Не слышно свиста евражек — они попрятались в норы. Пилот и штурман с тревогой посматривают на небо — низкие, но неплотные облака проносятся над нами на юг. Откуда-то прилетела крупная полярная чайка; она кружит над Долиной Четырех Крестов и жалобно кричит — обижается, наверное, что нет поблизости моря или озера. Потом она круто взмывает вверх и уносится на юго-восток. Мы тоже могли бы взмыть вверх и улететь на юго-восток, в Марково, но и мне, и Березкину кажется, что хроноскоп еще может пригодиться нам здесь, в долине, и что вообще мы используем его мало и неумело. Пилот и штурман не согласны с нами: хроноскопия заржавленного ножа и порезанных дневников потрясла их. Но мы с Березкиным настроены более скептически, мы все еще не до конца верим хроноскопу и стремимся контролировать его показания другими способами.

— Между прочим, еще не доказано, что хроноскоп правильно раскрыл историю с этим человеком,— говорит Березкин, имея в виду погибшего в поварне, и смотрит то на штурмана, то на пилота.— Вернее, он вовсе не раскрыл ее.

Штурман и пилот протестуют, а Березкина охватывает приступ самобичевания: упрямо склонив крупную тяжелую голову, он перечисляет и действительные и выдуманные недостатки хроноскопа. Меня это раздражает, но потом я начинаю понимать, что Березкин устал. Я тоже устал. Вот уже несколько месяцев мы идем по следам экспедиции, ищем, сопоставляем, думаем. Мысли об экспе-

диции не покидают нас ни днем, ни ночью. Раскрытие тайн ее уже давно перестало быть для нас работой в обычном смысле слова, но сделалось моральным долгом, требованием нашей собственной совести... Я знал — не раскроем мы тайну Жильцова, Зальцмана, Черкешина,— и не будет нам покоя, останемся мы в вечном долгу перед ними и никогда не простим себе этого...

И вот теперь, когда мы близки к цели, наступила вызванная утомлением реакция. Надо бы отвлечься, поговорить о чем-нибудь постороннем или побродить с ружьем по горам, но говорить о постороннем — язык не поворачивался, а бродить по горам — значило бродить там, где за сорок лет до нас прошли участники полярной экспедиции Жильцова... Томясь и не находя себе места, я решил было побриться, взял зеркало. На меня подозрительно уставилось обросшее щетиной длинноносое существо с большими и некрасивыми, как вопросительные знаки, ушами. В юности «вопросительные уши» доставляли мне немало огорчений, а походы в парикмахерскую были сущим мучением — уши увеличивались, когда выстригали волосы... А сегодня мне вообще не хотелось сидеть лицом к лицу с этим большеухим, уставшим и раздражительным существом.

Я вышел из палатки. Ветер усиливался, снежная крупа секла лицо. Тополя натужно гудели, вершины их упруго клонились к земле, а каждый листик рвался вверх, стремился улететь, но улететь удавалось лишь немногим, и те падали неподалеку — либо в реку, либо на сухие россыпи щебня, где уже скапливались белые линзы снежной крупы. Под ногами у меня с тоненьким писком прошмыгнул в норку маленький бурый лемминг.

А мне вдруг захотелось найти место, где Зальцман спрятал какую-то тетрадь. Находки в поварне на некоторое время отвлекли нас от Зальцмана, но теперь мои мысли вновь и вновь возвращались к нему. Почему он так странно вел себя? Ведь часть экспедиционных материалов была сознательно оставлена в поварне. Почему же он спрятал свою тетрадь?

Я перебрался через реку к поварне, встал лицом на северо-запад и, отсчитывая шаги, пошел навстречу ветру. Перейдя реку, я углубился в леваду и, когда количество шагов приблизилось к ста сорока, подошел к старому поваленному дереву. Ствол могучего тополя еще сохра-

нился — на севере деревья гниют медленно. Я остановился как раз там, где Зальцман прятал тетрадь. Потом я отправился за лопатой.

В палатке шел разговор о Земле Санникова. Пока меня не было, штурман, еще молодой человек, недавно работающий на Севере, высказал предположеиие, что экспедиции Жильцова все-таки удалось найти Землю Санникова. Штурмаиу очень хотелось, чтобы так было, и поэтому казалось, что так могло быть. Березкин и пилот посмеивались над ним, но штурман не сдавался.

— Эх, вы! — не без презрения говорил он в тот момент, когда я подошел к палатке.— Жильцов почти полвека назад жил и то верил в людей, в их честность верил, а вы...— штурман махнул рукой и отвернулся.

— Спроси у Вербинина, если иам не веришь,— сказал слегка задетый Березкин.— Если б Земля Санникова существовала, ее бы давно нашли. Ведь тот район и ледоколы избороздили и самолеты облетали. Ее ж специально разыскивали.

— Значит, врали и Саниников, и все другие?

— Ошиблись люди,— сказал пилот.— С кем не случается? Особенно в Арктике.

Штурмаи с надеждой посмотрел иа меия.

— Я тоже верю всем, кто видел Землю Санникова,— сказал я.— И самому Саиникову, и эвенку Джергели, и Толлю. Жильцов глубоко прав: то были люди, которые писали, что наблюдали, а чего не наблюдали — не писали. Подумайте сами, с какой целью Саиников мог врать? В надежде получить царскую милость? Нет, он не рассчитывал на нее, ои и не подумал сообщить в Петербург о своих открытиях, как сделал, например, купец Иван Ляхов. Тот сумел извлечь выгоду из своего открытия: сама Екатериıа Вторая дала его имя двум островам — Большому и Малому Ляховским — и предоставила предприимчивому купцу монопольное право на добычу мамонтовой кости! Или возьмите эвенка Джергели. Его желаиие побывать иа Земле Саиникова было так велико, что однажды он сказал Толлю о своей готовности отдать жизнь за право хоть один раз ступить на эту землю! Нет. такие люди ие могли кривить душой!

— Патетично, но неубедительно,— поддел меня Березкин.— Нельзя же увидеть то, чего иет.

— Мираж,— сказал пилот.

— Нет, не мираж,— возразил я.— Земля Санникова существовала, а если и не существовала, то все-таки... все-таки ее могли видеть.

Пилот хмыкнул, и даже штурман, мой союзник, улыбнулся.

— Короче говоря, существуют две гипотезы, объясняющие загадочную историю с Землей Санникова. Помните, в дневниках Жильцова упоминается остров Васильевский?

— Помним,— сказал пилот.

— Верите вы, что Жильцов видел этот остров, или не верите?

— Верим, конечно.

— А между тем нет такого острова на белом свете — Васильевского.

— То есть как?

— Очень просто. Нет — и все. Проверьте по картам, если хотите.

— Не мог же Жильцов соврать!

— А Санников мог? — вставил торжествующий штурман.

— Остров Васильевский видели и якут Максим Ляхов, и участники русской гидрографической экспедиции на «Таймыре» и «Вайгаче», и Жильцов со своими спутниками. Но в 1936 году советское судно «Хронометр», получившее задание еще раз обследовать остров, не нашло его. Остров растаял. На его месте оказалась банка глубиною всего в два с половиной метра. А совсем недавно, уже в сороковых годах, точно так же исчез остров Семеновский.

— Растаял? — недоверчиво спросил пилот.

— А вы забыли, что он был сложен ископаемым льдом и глинисто-песчаными отложениями? Арктика сейчас охвачена потеплением, ископаемые льды тают, и... острова исчезают. Первая гипотеза и утверждает, что Земля Санникова существовала, но растаяла. И анализ морских грунтов к северу от Новосибирских островов будто бы подтверждает это.

— А вторая гипотеза? — спросил штурман.

— Вторая гипотеза объясняет все иначе. Более десяти лет назад в Северном Ледовитом океане были открыты дрейфующие ледяные горы — гигантские айсберги. Они дрейфуют по эллипсам и время от времени заходят в рай-

ои Новосибирских островов. Их и моглн увндеть Саинн-ков нлн Толль.

— Какая же из гнпотез правильная?

— Вероятнее всего, что по-своему обе правильны. Не нсключеио, что к северу от Новоснбнрскнх островов раньше существовали иебольшие островкн, которые потом растаяли. Но все, кто видел Землю Саннникова, утверждают, что она горнста. И поэтому мие кажется, что за землю былн прииняты имеиио айсберги. Их вндели, когда онн прнплывалн, и ие могли найти, когда они уплывалн.

— Значнт, Жильцов так н не открыл Землю Саниикова,— вздохиул штурмаи. Его мой рассказ явно разочаровал.

— Увы!..

Я взял лопату н двннулся к выходу.

— Ты куда? — спросил Березкин.

— За тетрадью Зальцмана. Надо ее выкопать.

Все отправились следом за миой, а у полусгннвшего тополя пилот н штурмаи быстро оттесннлн нас с Березкниым, н иаше участне в раскопках свелось к руководящнм указаиням. Пока пнлот осторожио сннмал грунт, а штурман торопил его, требуя лопату, я пытался угадать, сохраинлась лн тетрадь н, если сохранилась, то в каком состоянии. У меня былн серьезиые основаиня для опасений. Весь север Снбнри, как известио, охвачеи вечной мерзлотой: местами иа иесколько сот метров в глубнну грунт скован холодом н ннкогда ие оттанвает. За короткое поляриое лето прогреваются лишь самые верхиие горизонты, которые называют деятельным слоем; мощность этого деятельного слоя часто ие превышает полуметра н лншь в долннах крупиых рек увеличнвается метров до двух. Этот деятельиый слой действнтельно очень «деятелен»: летом ои оттанвает, иасыщается водой, а осенью начниает замерзать с поверхиостн; верхиий слой льда давнт иа жндкнй груит, ои вспучивается, прорывает ледяиую корку н вырывается иаружу... Зальцмаи, навериянка, спрятал тетрадь в пределах деятельного слоя; если даже ои тщательно запаковал ее, все равио — иадежды найтн ее в хорошем состоянии у нас почтн не было.

К сожалению, я не ошнбся. Пакет мы иашлн, но в плачевном состояннн. Мы бережно перетащнли его остаткн к себе в палатку, ио что делать с ннми дальше — иикто не зиал. Мы решилн хотя бы просушить нх.

На следующий день я вновь засел за дневники Жильцова. Его экспедицию постигла участь многих других экспедиций. В Восточно-Сибирском море «Заря-2» вошла в тяжелые льды, которые внезапно, за несколько часов, смерзлись. Шхуна попала в ледовый плен, вырваться из которого не удалось. Начался медленный дрейф в восточном направлении. Вскоре наступила полярная ночь. Судя по дневникам Жильцова, продовольствием экспедиция была снабжена хорошо. Однако к середине зимы у многих появились признаки цинги. Это не удивительно, потому что в то время о витаминах еще почти ничего не знали.

Сильнее других страдал от цинги Жильцов, не успевший оправиться после сильных ушибов. Он крепился, старался как можно больше находиться на свежем воздухе, двигаться, принимал участие в малоудачной охоте на тюленей. К цинге прибавился еще какой-то недуг, но какой, никто не знал.

Последняя запись, сделанная уже под диктовку Жильцова, содержала обращение к Академии наук и несколько ободряющих слов к родным, которых те так и не получили. Жильцов понимал, что умирает, сознание его до последней минуты оставалось ясным, а воля твердой. Все участники экспедиции, дневники которых мы прочитали позднее, свидетельствовали это. Все они преклонялись перед умирающим начальником и все с тревогой думали о будущем: без Жильцова, который сумел всех сплотить вокруг себя, оно рисовалось смутным, тревожным.

За день до смерти Жильцов созвал у себя в каюте всех научных сотрудников экспедиции и пригласил командира судна. Прощаясь с ними, он сказал, что передает свои права лейтенанту Черкешину.

— Он самый опытный среди вас,— пояснил Жильцов.— Он доведет экспедицию до конца.

Жильцов слабо шевельнул рукой, и Черкешин, правильно поняв его, взял руку умирающего и тихонько пожал.

— Экспедиция выполнит свою задачу,— коротко сказал Черкешин.— Я обещаю вам это...

Из дневников мы узнали, что Жильцова похоронили среди торосов, неподалеку от шхуны. Значит, я ошибался, думая, что его могила находится в Долине Четырех Крестов.

Через месяц умер боцман. На этом скорбном событии все найденные нами дневники обрывались. Далее, с перерывом в неделю-полторы следовали лишь лаконичные записи, извещавшие о гибели шхуны: льды раздавили ее неподалеку от берегов Чукотки.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,

в которой человеческий мозг выполняет работу, не посильную никакой электронной машине, хроноскоп оказывает нам последнюю услугу, а мы подводим некоторые итоги и возвращаемся в Марково.

Разумеется, мы заранее знали, что шхуна погибла,— иначе люди едва ли покинули бы ее. Знали мы также, что все участники экспедиции, оставшиеся в живых, двинулись на юг, благополучно достигли материка и, перевалив через Анадырский хребет, пришли в Долину Четырех Крестов. Но все это было лишь внешней стороной событий и не объясняло нам, почему в Долине Четырех Крестов разыгралась трагедия, почему всю жизнь стоял перед Зальцманом вопрос, правильно он поступил или нет. Хроноскоп не мог оказать нам никакой помощи, а дневники молчали; измученным людям было не до анализа взаимоотношений — они боролись за свое спасение.

— На тебя, Вербинин, вся надежда,— сказал Березкин.

— На меня?

— Да, на тебя. Однажды ты рассказал мне, чем отличается работа писателя от работы следователя. Помнится, ты выразился так: «Следователь идет от событий к характерам, а писатель — от характеров к событиям».

Мы действительно толковали как-то раз на подобную тему с Березкиным. Не помню, почему об этом зашел разговор, но я сказал ему, что творческий процесс делится на два этапа. Писатель — хозяин положения, пока он выбирает своим героям характеры и предлагает им определенные обстоятельства. Но как только характеры сложились и автор столкнул их в конкретной обстановке, писатель как бы превращается из творца в наблюдателя: герои его начинают действовать самостоятельно в соответствии со своими внутренними свойствами; в воображении

писателя они подобны живым людям, над которыми он не имеет власти. Я давно уже пришел к выводу, что вымышленные герои действуют в воображении писателя точно так же, как и живые люди с такими же характерами и в такой же обстановке. Конечно, я имею в виду лишь логику поведения, но ведь это самое главное.

— К чему ты клонишь? — спросил я Березкина, уже догадываясь, на что он намекает.

— Займись-ка творчеством,— сказал он.— Нам известны характеры людей и обстановка, в которую они попали. Ты должен догадаться, как они повели себя. Это тот случай, когда ни одна электронная машина не может заменить человеческого мозга. Помнишь, в Саянах ты заявил, что мозг и есть самый настоящий хроноскоп?

Я все помнил, но художественное творчество — а именно к этому призывал меня Березкин — требует особой внутренней подготовки, особой душевной настроенности, и я сказал об этом моему другу.

— Что ж, настройся,— с улыбкой, но категорически потребовал Березкин.

Проанализировав все известное нам, я понял, что задача не так уж трудна, как показалось в первый момент. И характеристики, оставленные Жильцовым, и описание первого конфликта, и отрывочная последняя запись умирающего Зальцмана, поставившего слово «спаситель» и фамилию «Черкешин» почти рядом, позволили разобраться в событнях, которые произошли после гибели шхуны «Заря-2» и привели к изгнанию лейтенанта Черкешина из экспедиции. Да, к изгнанию. Об этом очень коротко, но все-таки с указанием причин сообщалось в записке, найденной нами среди бумаг в поварне.

Вот как рисуются мне события последних месяцев.

Искрошенная льдами шхуна полярной экспедиции Жильцова исчезла в пучине океана. Потрясенные случившимся, растерявшиеся люди видели, как сомкнулись над черной полыньей торосы. Все понимали, что произошло нечто непоправимое, ужасное и надеяться на помощь не приходится. Я не оговорился, сказав, что люди растерялись. Ни астроном Мазурин, ни этнограф Коноплев, ни врач Зальцман, ни матрос Розанов никогда раньше не участвовали в арктических экспедициях, не имели опыта перехода по полярным льдам. Лишь самый опытный из всех лейтенант Черкешин сохранил хладнокро-

вие; он чувствовал себя главным действующим лицом, человеком, от которого зависит спасение всех остальных, и это при его гордом и властолюбивом характере питало его собственное мужество.

Я не сомневаюсь, что именно Черкешин сумел ободрить и поддержать людей, вернуть им надежду на спасение и способность бороться. И он повел потерпевших кораблекрушение к далеким пустынным берегам Чукотки. Люди шли за ним, и Черкешин все более проникался сознанием своей власти и своей значительности. Постепенно он переставал понимать, что сознательная дисциплина и рабская покорность — это не одно и то же, он словно забыл, что лишь совместная борьба может привести к спасению, и мысленно приписывал себе все, что делалось его спутниками и товарищами по несчастью, а поэтому относился к ним все с большим презрением.

Однако вскоре в поведении его появились новые черточки: он стал мягче держаться с научными сотрудниками экспедиции, со своим помощником Говоровым, но начал придираться к матросам и якутам, грубить им, дошел до зуботычин. И конечно же, против этого восстал Розанов. Но на этот раз он не встретил общей поддержки. Извечный принцип «разделяй и властвуй» дал свои результаты и здесь. Обласканные Черкешиным люди — и среди них астроном Мазурин, врач Зальцман — молчали, а привыкшие к помыканию, сломленные непривычной обстановкой матросы и якуты утратили способность сопротивляться. Черкешин не замедлил воспользоваться этим, и на следующем переходе вся самая тяжелая работа легла на плечи якутов и матросов.

Розанов разгадал замысел Черкешина: он решил спасти одних за счет других; точнее, он решил прежде всего спастись сам. Но Черкешин знал, что одному не спастись, и поэтому заранее мысленно обрек на гибель матросов и якутов, а остальным сберегал силы. Особенно нетерпимо относился он к якутам, и это позволило Розанову обрести первого надежного союзника — этнографа Коноплева.

Ни большевик-революционер Розанов, ни честный ученый-этнограф не могли смириться с проявлением расизма. И когда однажды Черкешин пустил в ход кулаки, подгоняя измученных якутов, и Розанов и Коноплев заступились за них... Зальцман и Мазурин сочувствовали

якутам, но у них не хватило смелости восстать вместе с Розановым и Коноплевым против Черкешина, уже однажды спасшего им жизнь, а Говоров, помощник командира, постарался сгладить конфликт.

Но сгладить его было невозможно. Маленькую группу людей, затерянную среди льдов океана, по-своему раздирали те же, что на материке, противоречия. И здесь одни пытались угнетать других, используя и классовые и националистические предрассудки. И здесь зрел протест. Неравенство, насаждавшееся Черкешиным, становилось слишком ощутимым. Особенно распоясался он, когда вывел людей на материк.

На порезанной странице чьего-то дневника короткая строка о выходе на материк замыкалась совершенно неожиданным в таком контексте словом: «Жаворонок!»

Мысленно я представил себе фантастическую картину: заснеженная арктическая пустыня, мороз и пронизывающий ветер, неприступные белые горы впереди, кучка измученных, почти не верящих в спасение людей... А в небе, паря над одним и тем же местом и судорожно трепеща крылышками, поет жаворонок, жаворонок, который для каждого из нас неотделим от теплых парных полей, от теплого неба и солнца!

Несколько минут я недоумению вертел в руках обрывок бумаги с выцветшей строкой, а потом сообразил, в чем дело.

Пел не жаворонок. Пела, конечно, пуночка, дальняя его родственница, то ли когда-то подслушавшая, как поют жаворонки, то ли сама научившаяся петь почти так же.

Вероятно, один Коноплев знал название певца. А для всех остальных он был жаворонком. Всем, пожалуй, без исключения, было мучительно-тоскливо слушать его песню, все вспоминали родные места и гадали, увидят ли их когда-нибудь...

Вполне допускаю, что и в этой ситуации такой трезвый психолог, как Черкешин, мог обнаружить нечто выгодное для себя.

...Пуночки начинают петь в конце апреля. У нас это весна, но в Арктике — лишь преддверие ее. В труднейших условиях обмороженные и изголодавшиеся люди с «Зари-2» все-таки преодолели Анадырский хребет и вышли на его южные, более теплые склоны,— вышли в небольшую долину, где обнаружили пустую поварню и два вы-

соких креста, поставленных задолго до них. Вероятно, кресты эти многих навели на невеселые размышления: уходили силы, кончались съестные припасы, почти не было надежды спастись, и самые впечатлительные уже представляли себя погибшими среди снегов.

В поварне Черкешин решил сделать короткий отдых. Первые же дни омрачились смертью Мазурина. Он не казался слабее других, но, заснув с вечера, утром не проснулся... Могилу ему выкопали неподалеку от двух старых крестов, и тогда же Розанов вырубил крест в память трагически закончившейся полярной экспедиции Андрея Жильцова.

Смерть Мазурина словно подхлестнула Черкешина. Через два дня разыгрались события, приведшие к роковым последствиям.

Черкешин обвинил якутов Ляпунова и Михайлова и матроса Розанова в похищении продуктов и потребовал изгнать их без всяких припасов из экспедиции. Это означало обречь людей на верную смерть, но таким способом Черкешин рассчитывал спастись сам. И тогда случилось то, чего Черкешин не мог предвидеть: все снова выступили против него. Без особого труда удалось обнаружить, что продукты спрятал сам Черкешин. Бывший командир шхуны схватился за оружие, но его связали прежде, чем он пустил револьвер в ход...

В тот же день над Черкешиным состоялся суд. Розанов предложил снабдить Черкешина продовольствием на равных правах со всеми, а затем изгнать из экспедиции. Против выступил один Зальцман. Он говорил о заслугах Черкешина, напоминал, как пробился он на шхуне к берегам острова Беннета, как вел всех по льдам к материку, но и Розанов и Коноплев, а вместе с ними и все другие остались непреклонными.

В присутствии Черкешина все продовольствие поделили на равные части и одну из них отдали ему. Зальцман снова взывал к справедливости, и тогда Розанов предложил ему идти вместе с Черкешиным. Зальцман испугался и перестал спорить. На следующий день Черкешин покинул Долину Четырех Крестов.

Надежды на спасение были очень слабы и у всех остальных. Поэтому Розанов предложил часть дневников оставить в поварне: кто-нибудь посетит поварню, найдет дневники и перешлет их в Петербург. Так и было

сделано, а потом все ушли дальше, но что случилось с ними, нам узнать не удалось. Лишь судьбу Розанова и Зальцмана мы проследили до конца.

А Черкешин... Черкешин вернулся в поварню. Труднее всего сохранять мужество наедине с самим собой, и этого испытания он не выдержал. Вероятно, он пришел с повинной — сломленный, неспособный бороться даже за свою жизнь,— никого не застал в поварне, в бессильной ярости изрезал и расшвырял дневники, а потом... Потом он покончил с собой. В поварне произошло не убийство, а самоубийство.

Так представились мне события, случившиеся после гибели шхуны. Быть может, не все рассказанное мною абсолютно точно в деталях, но и Березкин, и пилот, и штурман согласились, что главное подмечено правильно, и лишь версию о самоубийстве мы решили проверить.

Внимательный осмотр скелета — а мы не удосужились раньше тщательно исследовать его — убедил нас, что удар ножом был нанесен не в спину, а в грудь. Среди нас не было криминалистов, способных по характеру повреждения определить, сам ли погибший нанес себе смертельный удар или удар был нанесен другим. Мы поручили решить эту загадку хроноскопу, и он справился с ней без всякого труда — хроноскоп подтвердил мою версию. Столь же быстро ответил он и на вопрос, тот же человек порезал дневники и покончил с собою или разные люди,— вновь подтвердилось мое предположение...

Готовясь к отлету в Марково, мы, не надеясь на успех, решили все-таки подвергнуть хроноскопии и подсохший пакет, некогда спрятанный Зальцманом. Мы понимали, что многого не добьемся, и стремились выяснить лишь, кому принадлежал пакет. Хроноскоп долго отказывался отвечать, и Березкин настойчиво повторял вопросы, по-разному их формулируя. Наконец на экране мелькнула расплывчатая фигура. Мы тотчас вспомнили плотного человека с жестоким выражением лица — однажды он уже возникал на экране.

— Неужели он? — спросил Березкин.

— По-моему, он,— ответил я.

Березкин еще раз уточнил задание, изображение стало немножко яснее.

— Черкешин,— сказал Березкин.— Уверен, что это он. Зальцман прятал не свою тетрадь. Помнишь слова:

«Придется не церемониться», «цель оправдывает средства» и тому подобное? Это писал Черкешин, задумавший свою авантюру. А когда она провалилась, он из каких-то соображений оставил тетрадь Зальцману, единственному, кто сочувствовал ему. Видимо, он считал, что у того больше надежды спастись. Но Зальцман предпочел спрятать тетрадь.

Предположение это показалось мне убедительным, я согласился с Березкиным. А потом Зальцмана, который так и не узнал, что случилось с изгнанным Черкешиным, до конца дней мучили сомнения, угрызения совести; он не мог решить, правильно они поступили с Черкешиным или неправильно. Дневники свои он потерял, добираясь уже после революции до Краснодара, но решил по памяти восстановить события прошлого, чтобы всем рассказать о случившемся.

Итоги расследования, как нетрудно догадаться, не привели в восторг ни нас с Березкиным, ни наших друзей-вертолетчиков. Все были молчаливы и словно опечалены, каждый думал о чем-то своем.

И дневники, и прочие «вещественные доказательства» вдруг утратили для меня всякий интерес. Но, верный своим правилам, я тщательно упаковал их.

Потом мы сделали последнее, что еще удерживало нас здесь: захоронили останки командира «Зари-2» на том самом месте, где нашли его погибшие дневники. Штурман вытесал плаху, написал на ней карандашом фамилию и вогнал плаху в могилу.

...В тот же день под вечер наш вертолет поднялся над Долиной Четырех Крестов. Последний раз мелькнул под нами крохотный лесной оазис, затерянный среди арктической пустыни, и вертолет взял курс на Марково.

ЛЕГЕНДА
о „Земляных людях“

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой приводятся некоторые сведения о странном поведении птиц к северу от острова Врангеля, хотя и не разъясняется, для чего именно они приводятся.

Закончив расследование в Долине Четырех Крестов, мы с Березкиным провели несколько дней в Маркове, а потом на вертолете вылетели в районный центр Чукотского национального округа Анадырь, где нас ждал самолет. В первую свою поездку на Чукотку я был в Анадыре мимоходом, или, точнее, мнмолетом,— просндел несколько часов в аэропорту, и не в самом поселке, а на другой стороне лимана, у рыбокомбината... Теперь мне предстояло досмотреть то, чего я не увндел раньше, н я летел в Анадырь с охотой, хотя настроение и у меня и у Березкнна после выяснения судьбы Жильцова н его спутннков оставалось смутным.

В Анадыре уже знали об окончанин наших работ, и товарнщн попросили нас выступнть в клубе. Мы соглаcнлнсь, но, не дожидаясь доклада, к нам на огонек потянулись люди. Одннм из первых пришел радист полярной станцнн, человек уже пожнлой, степенный. Честно говоря, мы с Березкиным немножко побаивалнсь посетнтелей: как только весть о хроноскопе разнеслась по округе, выяснилось, что чуть лн не у всех есть в запасе по нескольку загадочных исторнй, расследовать которые с помощью хроноскопа просто необходимо! Мы заподозрнлн, что радист, прннесший с собой два какнх-то громоздких и неудобных пакета, тоже собнрается посвятнть нас в некую тайну, и не ошиблись.

Не торопясь, осторожно он развязал свои пакеты, и на столе перед нами оказались два птичьих чучела — прекрасный белокрылый лебедь-кликун и розовая чайка. Радист отошел шага на три от стола и, склонив голову набок, стал рассматрнвать птиц.

— Хороши! — сказал он наконец.

— Хороши,— согласились мы, не понимая, куда он клонит.

Радист взял со стола розовую чайку, ласково провел ладонью по ее спине и протянул нам.

— Возьмите,— сказал он.— Вам это, товарищ Березкин, и вам, товарищ Вербинин. От меня лично. Редкостная птица. Из Японии к нам в Арктику залетает.

Я молча взял птицу, смотревшую на меня черным неподвижным глазом, и поставил ее рядом с Березкиным.

— Слыхал о вашей работе,— продолжал радист.— Сам с марковским дружком связь поддерживал. И про аппарат ваш, про хроноскоп, слыхал. Вот решил птицу подарить, чайку розовую...

Мы поблагодарили радиста, и он оживился.

— Нравится, значит? И то верно — чудо, а не птица, можно сказать! Или лебедь... Только его я не в подарок принес — уж вы извините,— а так, для разговору... Тоже красавица птица... Сколько их надо мной пролетало! Трубят, бьют по небу белым крылом — и все на север, все на север! А куда на север? — вот что я вас спрашиваю. Нету земли дальше, лед один. Лед и лед. Хоть до полюса лети, хоть за полюс. А осенью обратно с севера летят. И опять над нами...

Мы по-прежнему не понимали нашего гостя, но переспросить не решались — он говорил так, словно вспоминал о чем-то дорогом, уже ушедшем в прошлое, но незабываемом.

— Охотник я до загадочных историй,— признался радист.— А только вижу, что не понимаете вы меня. Надо, стало быть, по порядку рассказать. Может, заинтересуетесь, и машинка ваша чего-нибудь разглядит. Будете слушать?

Мы, разумеется, ответили, что будем, и гость наш, любовно взглянув на лебедя, поудобнее устроился на стуле.

— Простая история,— сказал он.— Ничего в ней замысловатого нету, а как объяснить — ума не приложу. На Врангеле зимовал я. Несколько лет зимовал. Еще до войны первый раз приехал, войну всю там пробыл. Потом на материке отдохнул и опять на Врангеля попросился. В пятьдесят шестом году совсем уж сменился, теперь в Анадыре работаю. Я к тому это рассказываю, что каждый год над нами лебеди пролетали, вот эти, кликуны. Одна стая. Некоторые у нас гнездуются, а эти — всегда мимо. Не глядят на наш остров даже. А чем плох остров? И тебе горы, и тебе болота. Выбирай ме-

сто по вкусу. И песцы водятся, н медведи, и леммннгн! От других птиц летом отбою нет, а онн... Вот так, мнмо летят.

Радист ненадолго умолк, как будто вновь задумался о непонятном ему явленнн, а я воспользовался мннутой молчания и сказал, что такие случаи давно известны науке.

— Такне, да не совсем,— перебнл меня раднст.— Не совсем такне. Я на Севере всякого наслушался. И про землн, которых не нашли, слыхал, н про птиц, что вроде нашнх лебедей надо льдамн летают...

Он подозрнтельно покосился на меня, опасаясь, что я опять начну высказывать свон суждення, но я решил молчать.

— Было это в пятьдесят четвертом году, в нюне,— продолжал раднст.— Как раз месяца за трн до того к северу от Врангеля «СП-4» органнзовали, километрах, стало быть, в трехстах пятндесяти от острова, почтн на сто восьмндесятом мерндиане, что через остров проходнт. В положенный срок летят нашн трубачн, как всегда, мнмо острова напрямнк идут. И что тут стукнуло меня — не знаю. Только дал я раднограмму на «СП-4»,— радистом там знакомый был,— так, мол, н так, поглядн, не будут лн пролетать лебедн, не пойму, куда путь держат. И что же вы думаете? Долетелн до них мон лебедушки и давай кружнть, н давай кружнть! И все ниже с каждым кругом спускаются н крнчат так жалобно. Вся станция смотрит на них, ребята смеются, думают, что лебедн их приветствуют, а те покружились, покрнчали н давай снова высоту набирать. А дальше совсем непонятное пошло. Взвилась стая в поднебесье н разделнлась на два табуна. Тот табун, что побольше, на восток заворотнл, прямо к Амерnке пошел. А поменьше табунок обратно повернул. Про все это раднст мне отстукал и совсем с толку сбнл. Самн поразмыслите, зачем же лебедям прямо в океан, к полюсу путь держать, ежелн потом одни к Амернке заворачнвают, а другне обратно возвращаются?

Раднст посмотрел на меня, недвусмысленно предлагая высказаться.

— Кто же его знает,— я пожал плечамн.

— То-то! — торжествуя, сказал раднст.— Больно уж быстро вы мне объяснять началн!

И он продолжал свой рассказ:

— На лебедей мы никогда не охотились, привычки такой не имели. Очень уж птица благородная. А только на следующий год не удержался я и пальнул по этой стае. Сбил одного красавца.— Радист погладил лебедя по спине.— Зоб прострелил ему, камнем свалился. И надо же такому случиться, что как раз у этого лебедя кольцо на ноге оказалось. Написали мы, значит, куда следует, и отвечают нам, что окольцован лебедь был в Северной Америке, на Аляске. Тут уж и сомнения все кончились. Стало быть, действительно летят они сперва прямо в океан, по сто восьмидесятому меридиану, а потом в Америку поворачивают и гнездуются на Аляске. А нынешним летом с Врангеля радировали мне, что от стаи табунок отделился штучек в двадцать и на нашем острове летовать остался. Только стая не та уже была, что раньше, числом поменьше. Говорят, лебедей прошлой весной буря надо льдами настигла. Сами, можно сказать, смерть свою искали...

— Н-да,— сочувственно вздохнул Березкин.— Непонятная история.

— В том-то и дело,— тотчас откликнулся радист.— Я и подумал: может, хроноскоп ваш разберется? Электронная, значит, машина.

Но хроноскоп при всех его «электронных» достоинствах не мог претендовать на роль ученого-орнитолога.

— Жаль,— сказал радист.— Жаль. Зря побеспокоил, значит.

Он ушел от нас разочарованный, а мы, как это обычно бывает в таких случаях, почувствовали себя без вины виноватыми: и невозможно все на свете знать, и стыдно, если чего-нибудь не знаешь...

— Почему все эти водоплавающие птицы осенью из Арктики бегут, понятно,— сказал Березкин.— Жрать им нечего, замерзает все. Но почему вообще эти перелеты существуют?

Специально этим вопросом я никогда раньше не занимался и лишь смутно припомнил, что возникновение миграций у птиц ученые связывают с ледниковым периодом: наступающие льды отогнали птиц на юг, а потом, когда льды растаяли, птицы вернулись на прежние гнездовья. Этот навык у них закрепился, перешел в привычку, и впоследствии птицы каждый год стали повто-

рять путь, однажды совершенный их предками... Впрочем, известно немало и других гипотез, и, не будучи специалистом, я боюсь запутаться в них...

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой археолог Дягилев рассказывает весьма любопытную историю о «земляных людях» и просит принять участие в работе экспедиции, совершившей неожиданное открытие.

Дягилев, вместе со своим помощником, появился на следующий день после нашего доклада в клубе. Но прежде чем рассказывать о причинах его визита, я должен рассказать хотя бы в двух словах о докладе.

Дело в том, что после моего сообщения развернулись неожиданно жаркие прения. Спорили, конечно, не о результатах нашего расследования в прямом смысле слова,— спорили о Черкешине, о праве на суд над ним. Один категоричный товарищ яростно доказывал, что над Черкешиным устроили самосуд, что с человеком, имевшим заслуги перед экспедицией, не смели поступать так, как поступили с ним, не смели выгонять его из поварии и отлучать от экспедиции. А категоричному товарищу возражали — ему доказывали, что прошлые заслуги никого не избавляют от суда людского за совершенные преступления... Потом спросили наше мнение, а мы с Березкиным вдруг смутились — отвечали уклончиво, сбивчиво, хотя в душе я был на стороне тех, кто возражал категоричному товарищу.

Я могу объяснить, почему так получилось.

Во-первых, честно говоря, нам с Березкиным кажется, что мы не имеем права на роль судей в этакой конечной инстанции; мы можем высказать свое предположение, а люди пусть сами решают, кто виноват и кто не виноват... Во-вторых, самого меня в это время больше занимали последние дни трагической жизни Жильцова: он передавал дело, которому служил, в руки человека, которому не верил. Да, несмотря на их примирение, он все-таки не мог до конца поверить Черкешину, и обстоятельство это, надо полагать, не скрасило его последние часы. Жильцов понимал, что обязан скрыть от других свои сомнения, свою тревогу и, судя по дневникам участни-

ков экспедиции, он скрыл их от всех или почти от всех — тут уже мы вступаем в область догадок. Поведение Жильцова свидетельствует о силе духа, но свидетельствует и о его страданиях...

Вот о чем я думал. Но, конечно, мои объяснения не снимают с нас вины за нечеткое выступление в прениях, и потому мы с Березкиным пребывали в мрачности. И по той же причине нас не обрадовал приход Дягилева: мы решили, что именно доклад и прения побудили его прийти, и отнеслись к визиту настороженней, чем обычно.

Но Дягилев нас успокоил: он и его спутник только что прибыли в Анадырь и доклада нашего не слышали.

— Я приехал к вам с большой просьбой,— сказал Дягилев.— Не смогли бы вы принять участие в археологической экспедиции? Она работает в нескольких местах, а мой отряд... Видите ли, моему отряду посчастливилось сделать любопытнейшее открытие...

— Мы очень рады за вас,— ответил я.— Но мой друг Березкин — математик и изобретатель, а я — географ и писатель. К археологии никто из нас не имеет отношения.

— Хроноскоп! — воскликнул Дягилев.— Товарищ Вербинин, нам хроноскоп нужен! Если этот аппарат действительно творит чудеса, он так нам поможет!

— Никаких чудес он не творит,— возразил Березкин.— Обыкновенная электронная машина...

— И потом,— сказал я,— нас командировал на Чукотку президиум Академии наук. Срок командировки...

— Все уже согласовано! Президиум не возражает. Если б вы согласились! — Дягилев молитвенно сложил руки.

И Березкин и я в это время прикидывали все «за» и «против». Мы не сомневались, что отряд Дягилева сделал интересное открытие, но доводы «против» все-таки перетягивали. Сразу, без передышки браться за новое расследование нам не хотелось. Кроме того, Березкин намеревался внести кое-какие усовершенствования в хроноскоп и мечтал как можно быстрее приступить к работе.

Дягилев, внимательно следивший за выражением наших лиц, вовремя понял, что чаша весов склоняется не в его пользу.

— Выслушайте сначала меня. Вы ж ничего не знаете о «земляных людях!» — Он произнес это с нескрывае-

мым сожалением в голосе: очевидно, все, кто ничего не знал о «земляных людях», казались ему несчастными, обойденными судьбой.

Дягилев был невелик ростом, рыжеват, одет в потертую телогрейку, в стоптанные сапоги, и, глядя на него, невольно хотелось улыбнуться. Но в то же время он вызывал симпатию, как все люди, живущие большой мечтой или большим делом.

— Мы с удовольствием выслушаем вас,— сказал я.— Но я хочу сразу же предупредить, что не всякое открытие может быть предметом хроноскопии. Лишь большим целям будет служить хроноскоп.

Я полагал, что мое предупреждение озадачит и смутит Дягилева, но он, к некоторому нашему удивлению, мгновенно успокоился.

— В таком случае вы сегодня же улетите с нами,— заявил он.

Мы не сказали в ответ ни слова. Мы решили сначала послушать.

А Березкин еще приглядывался к любопытной штуковине, которую крутил в руках спутник Дягилева — молодой человек с черной как смоль шкиперской бородкой, отпущенной, наверное, месяца два назад.

— Что это у вас? — довольно бесцеремонно спросил Березкин.

Я, кажется, не говорил, что у Березкина есть одна весьма примечательная особенность — он яростный коллекционер, но коллекционирует он только то, что так или иначе связано с бытом и культурой народов тех районов, в которых он работал. Вы думаете, мы выбросили тот шлем монгольского витязя, что послужил первопричиной разговора о хроноскопе?.. Ничего подобного! Березкин провез его во вьюке километров четыреста, а потом, уже с помощью более совершенных средств передвижения, доставил к себе домой. Шлем и сейчас красуется в коридоре его квартиры.

А теперь Березкин не сводил глаз со странного предмета, похожего на пузатую курительную трубку.

— Павлик у нас этнограф,— ответил за бородатого молодого человека Дягилев.— Ему посчастливилось недавно приобрести довольно редкую ныне старую чукотскую трубку. Знаете, как ею пользовались?.. Отверстие в чубуке затыкали пучком оленьей шерсти, а сверху на-

сыпали щепотку табаку. Пока табак выкуривали, оленья шерсть частично прогорала, частично сохранялась, пропитываясь никотином. Потом ее специальной костяной палочкой пропихивали внутрь, вот в этот самый резервуар. Когда резервуар переполнялся, внизу открывали клапаны — вот, посмотрите,— смесь табака и шерсти вытаскивали, и она использовалась как жевательная смесь...

— Если хотите, можете взять трубку себе,— к некоторому удивлению Дягилева, сказал Павлик.— Я постараюсь достать еще одну...

Березкин не заставил повторять предложение. Он немедленно забрал трубку, и у них с Павликом возник сугубо специальный разговор, касающийся роли одурманивающих веществ в истории различных цивилизаций и чуть ли не в истории человечества вообще.

Тема эта, видимо, не заинтересовала Дягилева, и он повернулся ко мне.

— Значит, вы ничего не слышали о «земляных людях»? — еще раз переспросил он.

Я вынужден был пожать плечами.

— А между тем это одна из любопытнейших страниц в истории северо-востока Азии.

— Либо вы преувеличиваете,— не выдержал я,— либо сами совсем недавно узнали о «земляных людях». Историей Севера я занимался не один год.

Дягилев улыбнулся.

— Я давно верил в существование «земляных людей». Но вы правы — открыли их совсем недавно. Вот только что открыли.

Теперь и Березкин подсел поближе.

— На чем же основывалась ваша вера в загадочное племя? — спросил я.

— На легенде. Еще на заре нашей истории сложилась легенда о «земляных людях», якобы живущих на Севере. Разные варианты этой легенды хорошо известны этнографам, но никто не придавал им серьезного значения.

— Почему?

— Объяснить это можно только курьезом. Видите ли, ученые решили, что легенды о «земляных людях» связаны с легендами о мамонтах, и на этом успокоились...

— О мамонтах? — удивился Березкин.

— Да. О вымерших слонах.

— Я отлично знаю, что такое мамонты.— Березкин сказал это таким тоном, как будто был лично знаком с одним из них.— Но мамонты — не кроты, они не под землей жили, а на земле!

Во взоре Дягилева отразилось сожаление.

— Да, мамонты не кроты,— мягко сказал он.— Они действительно жили на земле, питались травой, раскапывая бивнями снег. Но все-таки слово «мамонт» в переводе на русский язык означает «земляной крот».

— В переводе с какого языка?

— С эстонского, как ни странно, а туда это слово попало от каких-то древних племен. Но не только у эстонцев мамонты считались земляными животными. Восточные народы по-разному называли мамонтов, но некоторые названия переводятся как «мышь, зарывающаяся в землю». Ненцы называют мамонта «яхора», что означает «земляной зверь». И почти все сибирские народы считали мамонта земляным зверем. Они думали, что мамонты бродят под землей, прокладывая себе путь бивнями, и гибнут сразу же, как только попадают на свежий воздух или дневной свет. Поэтому — так утверждают легенды — никто и никогда не видел живого мамонта. На самом деле мамонты были современниками доисторического человека, и нам известно много их наскальных изображений. Но в более поздние легенды попали вымершие мамонты, ископаемые. Вы, конечно, знаете, что мамонты жили в зоне вечной мерзлоты, а в вечномерзлых грунтах сохраняются нетленными и трупы животных, и трупы людей. В прошлом веке нетленным извлекли из могилы труп «грешного» Александра Меншикова, сподвижника Петра Первого, и среди церковников это вызвало переполох.

— Мы читали об этом,— сказал я.— Но пока не улавливаю связи...

— Сейчас все поймете! Наряду с легендами о мамонтах в глубокой древности возникли и легенды о «земляных людях», охотниках за мамонтами, которых чаще всего называли коссами. Их представляли одноглазыми гигантами, а за останки коссов принимали кости тех же мамонтов, особенно черепа; без клыков они напоминают человечьи, но имеют одно сквозное отверстие (глазницы почти незаметны).

— И что же?

— Видите ли, я специальио заиялся этими легеидами, и вскоре мне удалось сделать любопытиые выводы. Большинство учеиых считали, что легеиды о коссах столь же фаитастичны, как и легенды о живущих под землей слонах, что объясияются оии примитивностью логики древиих людей: раз есть под землей звери — зиачит, кто-то должеи охотиться иа иих.

Я отиесся с бо́льшим доверием к легеидам и после тщательиого аналнза пришел к заключенню, что легеиды эти имеют как бы несколько иаслоеиий, что какие-то очеиь древиие сказаиия поздиее были переработаиы и уже в переработаииом виде дошли до нас. Я начал освобождать легеиды от поздиейших наслоеиий, и вскоре у меня ие осталось сомиеиий, что иекогда иа Севере действнтельно жилн племеиа коссов, идолопоклоиииков, причем все коссы были очеиь велики ростом и жили в земле (вероятио, в земляиках). А потом коссы исчезлн. Как, почему — установить по легеидам я ие мог. Но когда до сибнрских иародов дошли сведеиия о якобы живущих под землей мамоитах, то в легеидах они переселилн под землю и коссов, превратив их в этакие фантастнческие существа, подобио мамоитам ие выиосящие диевиого света и воздуха. Следовательно, легенды о мамоитах и легеиды о «земляиых людях» слились в сознанни людей в нечто едииое сравиительио поздио, а раньше существовали отдельио.

— Чрезвычайио любопытио! — сказал я.— Но для чего вам иужен хроиоскоп?

— Несколько дней назад мы нашли «земляиых людей». Легенды не обмаиули.

— Это похоже на чудо!

Дягилев чуть смущеиио улыбнулся.

— Но это правда. Поэтому я н прилетел к вам.

— Где же вы их нашли?

Я поимал, что археологи обнаружили следы стояики этих людей, быть может, их останкн, предметы обихода нли культа, но, помнмо волн, в моем воображеиии мелькнула картииа в духе фантастических ромаиов: неведомый остров среди льдов, согретый подземным жаром, доисторическое племя, мирно обитающее на нем..

— На побережье Чукотского моря,— ответнл Дягнлев на мой вопрос,— в районе мыса Шмндта. Мы велн

раскопки на месте неолнтической стоянкн, н вдруг... Поннмаете, вдруг скалнстая стенка холма сдвннулась, н мы увндели черный вход в подземелье... Конечно, нспользуя археологнческне методы, мы сумеем многое понять сами. Но к этнм предметам пока ннкто не прнкасался, и, может быть, ваш хроноскоп сумеет восстановить событня далекого прошлого нагляднее н ярче, чем мы со всемн нашнмн навыкамн.

Дягнлев умолк н, переводя взгляд то на меня, то на Березкина, ждал, что мы ответим ему. Его спутник Павлнк скреб ногтямн бородку, улыбаясь каким-то своим мыслям.

— А вы почему молчите? — спросил я Павлика.

— За меня начальство говорит,— доверчнво глядя на меня, сказал он.— Что мне вмешиваться?

— Письменные памятникн есть? — удивленно взглянув на Павлнка, спросил Березкин, возвращаясь к прерванному разговору.

— Пока обнаружены только предметы материальной культуры, н вообще письменные документы маловероятны.

— До снх пор нам редко прнходилось нметь дело с предметамн,— сказал Березкин.— Документы мы уже научились подвергать хроноскопии, а вот эти самые предметы...

Дягилев решнл, что это обстоятельство смущает Березкнна, н прннялся уговаривать его, но я-то вндел, что отсутствне письменных документов как раз больше всего устраивает Березкина — для хроноскопа открывалось новое поле деятельностн.

— Ведь речь ндет о целом исчезнувшем народе! — с жаром говорил Дягнлев.— Поймите, о целом исчезнувшем народе!

— Я, пожалуй, согласен,— сказал Березкнн.— Но не знаю, согласнтся лн Вербинин.

Это уже была военная хнтрость. Обычно мы ннкогда не высказывали прн посторонних своего мнения пооднночке — сначала обо всем договарнвались между собой, а потом сообщали о решенин другим. Значит, Березкину очень уж хотелось заняться расследованнем...

— Вербнин тоже не возражает,— сказал я, великодушно прощая Березкину нарушение правнла.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой мы прибываем в район мыса Шмидта вместе с хроноскопом, но знакомимся с подземным храмом коссов, не прибегая к хроноскопии.

Хроноскоп по-прежнему находился в вертолете (демонтировать его Березкин не успел), и в Анадыре мы задержались ровно столько времени, сколько потребовалось, чтобы получить разрешение на вылет. Уже близилась осень, ночи на Чукотке стали настоящими темными ночами, но в район мыса Шмидта мы прибыли засветло и еще с воздуха увидели небольшой экспедиционный лагерь археологической партии — несколько палаток, стоявших почти у самого берега моря, сизый дымок костра и людей, махавших нам шапками. Дягилев, глядя в окошко, радостно улыбался и тоже махал рукой, хотя никто не мог этого увидеть. Я немножко волновался, как обычно перед началом новой трудной работы, а Березкин помрачнел и надулся — он знал, что от хроноскопа ждут чудес, боялся, что тот не оправдает слишком больших надежд, и заранее скептически настраивался и сердился на тех, кто мог раскритиковать его детище.

Вертолет опустился в центре лагеря, вызвав бурю негодования у целой своры собак. Дягилев бросился открывать дверцу, я пошел за ним, а Березкин остался на месте, загораживая своей массивной фигурой дорогу к хроноскопу. Пилот и штурман, летавшие с нами в Долину Четырех Крестов, уже знали эту его манеру и, проходя мимо, только улыбнулись. Но Дягилев, как радушный хозяин, постарался вытащить моего друга из вертолета. У него ничего не получилось: оказалось, что Березкину немедленно, сию же минуту необходимо осмотреть хроноскоп. Я незаметно дернул Дягилева за куртку и поманил за собой. Сообразив, в чем дело, он первым выскочил из вертолета. Я спустился следом и, к своему величайшему удивлению, очутился в объятиях Рогачева, своего давнего знакомца еще по комсомольской работе в университете.

— Прилетел, старик! — говорил Рогачев, радостно хлопая меня по плечам.— Молодец, одобряю. Ребята сомневались, а я говорю — не подведет! Нашенской закалки товарищ.

— А ты? Ты как тут очутился?

— Я очутился! — Рогачев расхохотался.— Я — голова над всеми отрядами... Но ты порадовал меня, старик! Прошу ко мне — располагайся!

Березкин присоединился к нам часа через полтора — о приближении его к палатке возвестил дружный лай собак,— и мы втроем отлично провели вечер за кружками разбавленного водой спирта, вспоминая студенческие годы, наши казавшиеся такими важными заботы, всякие споры-разговоры...

Утром мы отправились осматривать храм коссов — «земляных людей» древних легенд.

— Я не буду мешать вам, старики,— сказал на прощанье Рогачев.— Отчетность у меня. Орлы введут вас в курс...— он кивнул на Дягилева и Павлика.

Вход в подземелье археологи тщательно заделали, чтобы туда не проникал теплый дневной воздух и не подтаивали стенки. Его открыли при нас. Я увидел черное угловатое отверстие, из которого несло сырым холодом.

— Подтаивать начинает,— озабоченно сказал Дягилев. Он зажег фонарь и ловко спрыгнул в подземелье. Я последовал его примеру. Мрак в подземелье был настолько густой, что сильный луч фонаря тонул в нем, не доходя до противоположной стены; впрочем, это могло объясняться размерами подземелья. Я оглянулся. Свет, проникавший через входное отверстие, смешивался с мраком, становился серым и терялся в двух шагах от входа. Дягилев направил луч фонаря на наружную стенку.

— Часть ее искусственная,— пояснил он.— Коссы тщательно замуровали вход в подземелье, а мы вскроем его, разрушим перемычку. Подземелье пострадает, потому что подтает мерзлота, но мы успеем все изучить.

Дягилев вновь направил фонарь в глубь подземелья:

— Смотрите.

Луч фонаря вырвал из темноты гигантскую уродливую голову. Непрошеные мурашки пробежали у меня по спине. А луч медленно полз вниз. Голова исчезла во мраке, но зато теперь я видел плотное туловище со сложенными на животе руками.

— Идол,— сказал Дягилев.

Свет фонаря скользнул на пол, и в луче его неожиданно засеребрилась лежащая фигура.

— Собака. Их тут две.

Мы вылезли из подземелья.

— Начинайте,— сказал Дягилев своим помощникам.— Сносите перемычку.

Часа через три на месте узкого отверстия уже зиял широкий вход, и впервые за несколько столетий дневной свет залил все подземелье. Оно имело в длину около четырнадцати метров, в ширину — около шести, а в высоту достигало трех с половиной; стены, пол, потолок — все было тщательно выровнено, все выступы сбиты; лишь в двух местах мы обнаружили натеки, но они, наверняка, возникли позднее, уже после того, как коссы замуровали подземелье.

Идол стоял посередине храма. Голова идола почти упиралась в потолок, и, следовательно, в высоту он достигал по крайней мере трех метров при размахе в плечах полтора метра. Его вырубили сидящим на скрещенных ногах, в позе, принятой для изображения святых у многих азиатских народов. Лицо у идола было широкоскулым, с тяжелым массивным подбородком, опущенным на грудь, глаза прорезаны косо, как у людей монголоидной расы. Смотрел идол прямо на север, в сторону моря. У ног его лежали две собаки размером с некрупного медведя, но не вырубленные из мерзлого грунта, как сам идол, а настоящие. Иней покрывал их настолько густым слоем, что они казались сказочными. Под струями теплого воздуха иней начал сворачиваться, таять, и вскоре красивые серебряные псы превратились в трупы самых обыкновенных северных собак. Собаки эти были убиты коссами и уложены так, словно дремали у ног своего повелителя — идола.

Тщательный осмотр подземного храма позволил нам сделать еще одну находку — небольшой каменный топор, насаженный на деревянную рукоятку.

Все археологи, изучавшие и снимавшие на кинопленку своеобразный подземный храм, были в приподнятом настроении, оживленно делились своими впечатлениями, а мы с Березкиным с каждой минутой становились все мрачнее и мрачнее. «Конечно, интересно присутствовать при научном открытии,— думалось нам,— но при чем тут хроноскоп и при чем тут хроноскопия?» Нам казалось, что Дягилев напрасно пригласил нас сюда, зря надеялся на нашу помощь, и поэтому чувствовали мы себя неловко.

Дягилев подбежал ко мне и крепко стиснул мою руку.

— Вот,— сказал он,— теперь никто не посмеет отрицать, что «земляные люди» существовали. Другие племена, наверное, уже не раз находили храмы с идолами.

— На вашу долю выпало высшее счастье — предугадать научное открытие,— ответил я Дягилеву.— А теперь вы узнали, почему коссов называли «земляными людьми» и почему считали их гигантами — легенды спутали самих коссов с их трехметровыми идолами.

— Да, но очень многого я еще не знаю,— перебил меня Дягилев.— Я не знаю, откуда пришли коссы и куда ушли. Я догадываюсь, что двигались они с юга на север, пока путь им не преградил Ледовитый океан. Но что заставляло их переселяться в суровые, неудобные для жизни места? Борьба с другими племенами? С какими? И почему они все время отступали, они — умевшие вырубать в мерзлой породе подземные храмы и трехметровых идолов? Я не знаю, какая судьба постигла коссов: перебили их предки чукчей и юкагиров или бежали они еще дальше на север и нашли гибель во льдах? Я не имею понятия о внешнем виде коссов, о их быте...

— Не все сразу,— сказал я.— Вы на правильном пути и когда-нибудь раскроете тайну коссов до конца.

— Но хроноскоп? Разве он не сделает это немедленно?

Я хотел объяснить Дягилеву, что на хроноскоп мало надежды, но заметил, что Березкин бежит к вертолету, отмахиваясь каменным топором от собак.

— Одну минутку, сейчас узнаю, в чем дело,— сказал я Дягилеву, хотя сразу же понял, что Березкин решил подвергнуть топор хроноскопии.

Когда я влез в вертолет, Березкин уже возился с хроноскопом, что-то бормоча себе под нос.

— Закрой дверь,— потребовал он. И никого не впускай.

Экран засветился не сразу, но когда он все-таки засветился, мы с Березкиным увидели невысокого тощего человечка, постукивающего топориком по бесформенной бурой массе.

Для нас в этом уже не было ничего неожиданного: фигура человека была предусмотрена заданием, а его физические данные хроноскоп определил, очевидно, по характеру деформаций на каменном топоре.

С разрешения Березкина я пригласил Дягилева, и мы повторили задание.

— Вот и все, что пока удалось увидеть,— сказал я.— Нет подходящих объектов для хроноскопии.

Дягилев не обратил внимания на мои слова.

— Вырубают идола,— определил он.— Очень интересно. Значит, посередине подземелья они оставляли столб, а потом трудились над ним.

Березкин выключил хроноскоп.

— Зачем вы? — удивился Дягилев.

— И без хроноскопа об этом можно догадаться,— сухо ответил Березкин.— Да, оставляли столб и вырубали идола.

Березкин ушел и вскоре вернулся с пилотом. Вертолет поднялся в воздух и опустился у входа в подземный храм.

— Подвергнем хроноскопии плиты, которыми был заделан вход,— сказал Березкин.

На этот раз к хроноскопу были допущены все члены отряда, и даже Рогачев, забросив отчетность, пришел к подземелью.

— Поглядим,— сказал Рогачев, сказал чуть недоверчиво, но солидно. Мы были одногодками, однако мне Рогачев всегда казался старше, основательнее, и я завидовал его умению сочетать административную и научную работу.

— Что ж, смотри...

Экран ожил мгновенно. Мы увидели низкорослых, одетых в меховые одежды (уточнение Березкина) людей, которые дружно стучали топориками по неровной плите, сбивая выпуклости. Выравнивали они лишь одну сторону, а когда выровняли, облили водой и опрокинули на что-то, невидимое на экране.

— Приморозили,— сказал Дягилев.— Приморозили к скале. Вот как они заделывали отверстие!

— Значит, они работали зимой,— сказал, не выходя из толпы археологов, Павлик.

— Конечно! — тотчас отозвался Дягилев.— Иначе бы идолы растаяли!

— Трудяги были — ваши коссы.— В голосе Павлика послышалась усмешка.— Надо же, полярной ночью, в мороз вырубать подземелье да еще идола в нем! Адова работенка!

— И бессмыслеииая,— добавил я.

— Все-таки оии выполияли ее,— возразил Дягилев.— Значит, что-то выиуждало их.

— Ритуальиый обряд,— веско сказал Рогачев.— Традиция.

— Вредная традиция, иелепая! — Я чуть было не прибег к более сильному выражению, но заметил, что Дягилев морщится.

— Нельзя так утилитарио подходить к древней культуре. Вспомиите хотя бы жителей острова Пасхи, вырубавших исполииских камеииых идолов.

— И тоже все время отступавших под иатиском других племеи...

Полемику нашу прекратил Березкии.

— Нельзя ли отыскать плиту, которая отвалилась первой? — спросил ои.

Оиа храиилась отдельио, и археологи тотчас принесли ее. Хроноскопия, однако, ие дала иичего нового: как и раиьше, малеиькие человечки иа экраие постукивали по плите топориками, а потом облили ее водой.

— Одобряю,— сказал Рогачев, имея в виду, очевидио, хроиоскопию.— Заиятно, ничего ие скажешь. И перспективно! — Рогачев выразительио подиял указательный палец.— Как говорится, возьмем на заметку. За нами, старик, ие пропадет. А теперь — прошу извинить. Дела!

— Ты думал, что плита обработаиа менее тщательио? — спросил я Березкииа, когда Рогачев ушел.— Дело ие в этом. Оиа отвалилась потому, что поиижается верхияя граница вечной мерзлоты — сейчас идет потеплеиие Арктики. Убеждеи, что скоро будут иайдены иовые храмы коссов.

— Дай-то бог! — вздохиул Дягилев.— А ие может эта самая вечиая мерзлота помочь иам устаиовить, когда здесь работали коссы?

— Боюсь, что мерзлота вам иичем не поможет,— ответил я.— Во-первых, совершеиио очевидно, что коссы строили свои храмы в вечиомерзлых грунтах. Во-вторых, о происхождеиии вечной мерзлоты до сих пор спорят. Одии ученые считают, что это наследие ледниковой эпохи, другие доказывают, что оиа могла образоваться и при современных климатических условиях. Нам с вами этот вопрос сейчас не решить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой сообщается о неожиданной находке на острове Врангеля, а также рассказывается о втором земляном храме коссов и о новых открытиях.

После обследования храма коссов археологи повели раскопки ускоренными темпами: Дягилев надеялся найти еще какие-нибудь следы исчезнувшего народа, он продолжал верить, что коссы жили в землянках, а землянки должны были сохраниться. Мы с Березкиным согласились на некоторое время остаться в лагере и подождать результатов раскопок.

Однако вскоре неожиданные обстоятельства заставили нас срочно перебазироваться на остров Врангеля — оттуда пришло сообщение, что неподалеку от метеостанции, почти на самом берегу моря, сполз на склоне холма подтаявший грунт и открылся вход в подземелье.

Мы не рассуждали о счастливом стечении обстоятельств. Уже через час вертолет взмыл в воздух. Дягилев, Павлик и решивший лететь с нами Рогачев боялись, что идол может сильно подтаять, но, к счастью, с утра похолодало и пошел мелкий сухой снег. Перелет занял всего около часа. К храму нас сопровождало множество народу, и все порывались войти внутрь. Но Дягилев решительно преградил дорогу «непосвященным».

— Сначала храм должны осмотреть специалисты,— категорически заявил он.— Это же подлинное сокровище! А одно неосторожное движение... И вы...— Дягилев решительно повернулся к Рогачеву.— Вам пока тоже лучше остаться.

Никто не стал с ним спорить. Первыми в храм спустились Дягилев с Павликом, а затем и мы с Березкиным. Как и следовало ожидать, посреди храма стоял трехметровый идол.

— Но где же собаки? — удивленно спросил Дягилев.

Собак не было.

— Убежали,— пошутил Павлик.— Надоела им такая жизнь!

Дягилев осматривал храм, и ему было не до шуток. А меня отсутствие собак сразу же насторожило: небольшой опыт, уже накопленный нами, подсказывал, что в первую очередь нужно обращать внимание как раз на

необычные факты. И мне тотчас удалось подметить еще несколько обстоятельств. Во-первых, вокруг идола были беспорядочно разбросаны топорики, во-вторых, сам идол был вырублен небрежнее, чем тот, у мыса Шмидта; в-третьих, у входа в храм возвышался небольшой холмик смерзшейся земли.

— Человек! — неожиданно воскликнул Дягилев.

Мы бросились к нему и увидели вмерзший в землю труп небольшого человечка в меховой одежде: он лежал лицом вниз, поджав под себя руки и ноги.

— Неужели косс? — шепотом спросил Дягилев.— Ничего не понимаю!

— И еще двое,— спокойно сказал Березкин.— Вот они. Почти совсем ушли в грунт.

Дягилев заспешил. Он призвал на помощь полярников, и мы все вместе стали отрывать примороженные несколько столетий назад плиты, загораживающие вход в храм. Часа через два вся наружная стенка была снята. В храм по-прежнему никто не допускался. Даже Березкина и меня Дягилев попросил выйти и без его разрешения не переступать порог святилища. Сначала он сфотографировал подземелье, идола, разбросанные топорики, трупы людей, а потом вместе с Павликом начал раскапывать уже сильно подтаявший земляной холмик, ранее находившийся у наружной стенки.

От нечего делать я рассматривал снятые плиты — точно такие же, как у мыса Шмидта, и вдруг мне показалось, что плитами этими нельзя прикрыть весь вход в храм. Сделав соответствующие подсчеты, я убедился, что одной плиты не хватает. Дягилев и его помощник закончили к этому времени раскопку холмика и ничего не нашли в нем. Я рассказал им о своих наблюдениях.

— В самом деле? — переспросил Дягилев.— Это мы проанализируем. Только не сейчас. Сперва нужно тщательно обследовать весь храм.

Археологи осматривали буквально каждую пядь. Они осторожно вырубали топорики, складывали их у входа, осматривали стены. Когда стемнело, полярники подогнали вездеход и фарами осветили подземелье. Свет отражался от льдистых стенок, клубился, и нам казалось, что мрачный идол с уродливой головой парит в голубовато-серебристых облаках.

Наши друзья продолжали ползать по полу храма, а

мы с Березкиным решили подвергнуть хроноскопии вырубленные из мерзлого грунта топорики, причем не по одному, а все сразу. Сделать это было не очень просто, и Березкин долго возился с хроноскопом, формулируя задание. Зато ответ пришел сразу. Мы увидели маленьких человечков, постукивающих топориками по гигантскому идолу — именно идолу, потому что темная масса даже на экране хроноскопа отдаленно напоминала человеческую фигуру. Неожиданно коссы на экране пришли в возбуждение, топорики их полетели в разные стороны, а сами они исчезли.

— Бегство,— сказал я.— Это похоже на бегство.

— Похоже,— согласился Березкин.— Но чем оно вызвано?

Он иначе сформулировал задание. На экране снова появились коссы, снова застучали каменные топорики, и вдруг где-то — нам почудилось, за экраном — замелькали мохнатые фигуры людей, коссы заволновались, побросали топорики, побежали, а фигуры мохнатых людей продолжали мелькать, и какая-то серая масса, все затушевывая, сыпалась сверху.

— Нападение,— коротко объявил Березкин.— Неведомые мохнатые люди напали на коссов.

— Мохнатые потому, что в меховых одеждах,— уточнил я.— А нападение... Да, бесспорно — на коссов напали. И не только напали. Их либо всех перебили, либо заставили бежать с острова.

— Из чего это следует?

— Идол остался незаконченным. Между тем власть его над людьми была так велика, что они обязательно вернулись бы и докончили работу, если бы могли вернуться.

— Не везло коссам,— задумчиво сказал Березкин.— Страшно не везло, не правда ли?

— Пожалуй, это не то слово,— возразил я.— Дело не в везенье. Представь себе маленький народ, вооруженный лишь каменными топорами, костяными стрелами и копьями, над которым, как проклятье, тяготела власть идола, какого-то их божества, которому они слепо поклонялись и в честь которого вырубали храмы и статуи. На это уходило колоссальное количество духовных и физических сил, коссы служили мертвым и больше ничего не умели. У них даже не оставалось энергии для успешной

борьбы за существование. И другие племена, свободные от давящей душу и разум традиции, нападали на коссов, побеждали их и гнали все дальше и дальше на север. Даже на острове Врангеля их не оставили в покое.

В последние дни я много думал об этом и теперь знаю: тот же рок преследовал и обрек на гибель тихоокеанское племя, вырубившее на острове Пасхи гигантские каменные статуи. Власть мертвых — что может быть страшнее для народа? Жители Пасхи, подобно коссам, тратили все свои творческие силы на бессмысленную работу и, подобно коссам, бежали все дальше и дальше под натиском других племен, пока не затерялись где-то в просторах Тихого океана.

Мне не хочется говорить об этом Дягилеву,— он так ревниво относится к своему открытию! Но племя коссов было жалким племенем рабов. Духовных рабов. И подземные храмы, и трехметровые идолы — это свидетельство не их силы, а их бессилия.

Дягилев выбрался из подземного храма измученный, но чрезвычайно довольный.

— На редкость богатый материал! — сказал он.— Просто на редкость! И главное, теперь мы знаем, какими были коссы! Помнится, профессор Сумгин, основатель мерзлотоведения, мечтал создать в вечной мерзлоте музей, в котором нетленными сохранились бы для потомков современные животные, растения и даже люди. И вот музей не музей, но вечная мерзлота сохранила нам трех коссов. Замечательно.

— Махонькие они были,— сказал Павлик.— А вы их великанами представляли!

— Что значит «махонькие»? — оскорбился Дягилев.— Зато вон каких гигантов вырубали!

Я предложил Дягилеву просмотреть уже запечатленные в «памяти» хроноскопа кадры. Они привели его в восторг, как, впрочем, приводило в восторг все, что касалось «земляных людей».

Утром, при дневном свете, мы осмотрели коссов. Они, несомненно, принадлежали к людям монголоидной расы и, значит, действительно пришли на север с юга. Широкоскулые лица коссов, не изменившиеся за несколько столетий, были совершенно спокойны, ни одна гримаса ужаса не обезобразила их. Они встретили смерть покорно, без страха, как встречали ее все древние.

Обычное, идущее от прабабушкиных преданий робкопочтительное отношение к покойникам не сразу позволило нам прибегнуть к хроноскопии мертвого косса, но в конце концов доводы разума восторжествовали. Интересовали нас прежде всего обстоятельства гибели коссов, и Березкин именно так сформулировал задание хроноскопу.

Всем стало немножко не по себе, когда на экране появился «ожививший» покойник. Он стучал каменным топориком по мощной фигуре идола, и рядом с ним угадывались другие коссы, те, что тоже трудились в храме. Потом повторилась уже знакомая нам история: коссы заволновались, побросали топорики и бросились бежать. Но один из них замешкался. Когда он бросился следом за товарищами, путь ему преградила сползающая лавина. Косс отпрянул назад и заметался в темноте. Мы напряженно вглядывались в экран, на котором теперь лишь слабо виделись статуя идола и мечущийся человечек. Человечек, видимо, боялся идола и не осмеливался приблизиться к нему. Потом он неожиданно успокоился, ушел в самый дальний угол и сел там на корточки, прижав коленки к груди. Экран погас, но мы уже знали, что в таком положении застала смерть и нашего косса и двух других.

— Что же помешало им выбежать? — спросил погрустневший Дягилев.

— Земля, которую сбросили сверху другие коссы,— твердо сказал я.

— Не может быть!

— Но это так. Помните, в наружной стене не хватает одной плиты? Отверстие служило входом. Но выше на склоне был сложен вынутый из подземелья грунт. Очевидно, коссы собирались засыпать им наружную стенку. Но когда на них внезапно напало другое племя, шаманы коссов, спасая идола, обрушили грунт, не думая, что случится с рабочими в храме. Кто успел выскочить — выскочил, а кто не успел — тот навсегда остался замурованным.

— К сожалению, это очень правдоподобно,— вздохнул Дягилев.— Несчастные! Но я не верю, что все племя погибло в этом бою.

— Может быть, и не погибло, но остров покинуло наверняка.

— Но куда они могли уйти? С материка их уже изгнали, а на севере — океан, сплошные льды.

Никто из нас не мог ответить на этот вопрос.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

и последняя, в которой рассказывается о новых находках археологов у мыса Шмидта и вспоминается о странном поведении лебедей к северу от острова Врангеля.

На следующий день с мыса Шмидта сообщили, что поиски археологов увенчались успехом и землянки коссов найдены. Мы срочно погрузили в вертолет свои находки и вновь полетели над проливом, отделяющим остров от материка.

— Эпопея! — сказал Рогачев, долго молча смотревший вниз на море.— Что ни говори — эпопея!

— Вы — об открытии? — спросил Дягилев.

— О племени... этом.

— О коссах?

— Да. Вылетело из головы. Есть что-то величественное в служении одной идее. Целый народ не покорился, принес себя в жертву ей. Какое мужество! Какое чувство долга перед ушедшими поколениями... Нет, история — это такой учебник жизни, я вам скажу! Тут философу есть над чем поразмыслить...

Мы с Березкиным, естественно, думали несколько иначе, но высказывать свою точку зрения мне сейчас не хотелось, да и переспорить Рогачева всегда было трудно. А он уже повернулся к Дягилеву.

— Поздравляю. Вы все в младших научных ходите?.. М-да. В общем, поздравляю с замечательным открытием.

Рогачев снова посмотрел на море.

— Слушай, старик, подавайся к нам, а?..— неожиданно предложил он.— Как-никак, Институт истории материальной культуры. Будет где развернуться.

— С хроноскопом? — улыбнулся я.

— А что? Мы ему такую нагрузочку дадим...

— Я же говорил тебе, что аппарат еще только испытания проходит.

Рогачев задумался.

— Валяйте, испытывайте,— сказал он наконец.— Но

ты поимей в виду мои слова. Говорю же, будет где развернуться.

Я подмигнул Березкину, но тот, не отвечая, лишь опустил свою большую голову.

Открытия на острове Врангеля, о которых оставшиеся на материке археологи, конечно, знали, вызвали такой интерес, что нас буквально не выпускали из вертолета, пока мы не показали все найденное и не продемонстрировали кадры, запечатленные в «памяти» хроноскопа. Кинооператор по просьбе Дягилева тут же переснял их. Лишь после этого нас повели к раскопанным землянкам.

— Коссы в панике бежали с материка,— сказал нам по дороге археолог, руководивший раскопками.— Они бросили и топорики, и охотничье снаряжение, и домашнюю утварь.

Мы сами убедились в этом, когда подошли к землянкам. Я сравнивал материал, из которого были сделаны топорики, обнаруженные у мыса Шмидта и на острове. С первого же взгляда было видно, что топорики выточены из разных горных пород. Очевидно, на материке коссы успели закончить, замуровать и замаскировать храм. Соседние племена напали на них, когда коссы отдыхали после тяжелой, изнурительной работы. Они кое-как отбились от нападавших, но вынуждены были бежать на север...

— Трубка,— сказал нам Павлик и протянул найденную при раскопках трубку, такую же, как та, что он подарил Березкину.— Эту, к сожалению, презентовать не могу — не я нашел.

Я не понимал Павлика и, взяв у него потемневшую от времени трубку, покрутил ее в руках.

— Нет. Трубка из более поздних отложений, да и табак на Чукотку завезли, вероятно, русские. Но трубка принадлежала народу, который, не мудрствуя лукаво, бил всех, кто вторгался в его владения, и выжил. Понимаете? Выжил!

Я не нашелся сразу, что ответить Павлику. Он взял у меня трубку и пошел к раскопу, что-то тихо насвистывая.

Пока археологи вместе с Дягилевым осматривали находки и спорили по вопросам, имевшим сугубо специальный характер, мы с Березкиным пошли к храму. Архео-

логи уже не нуждались в иашей помощи, и мы прощались мыслеиио с этими местами, готовясь улететь в Аиадырь и далее — в Москву.

Идол по-прежиему стоял посередиие храма, но... это был уже ие тот идол. На язык так и просится слово — «постаревший». Да, ои оплыл, умеиьшился в размерах, утратил резкость очертаиий. Идол иачал таять.

— Вот почему легеиды утверждали, что «земляные люди», как и мамоиты, гибиут, попадая иа свежий воздух,— сказал Березкии.— Наружиые стеиы храмов всегда обваливались летом, и тепло разрушало-идолов.

Нам не захотелось оставаться в храме рядом с разваливающимся божеством. Мы ушли к морю. Небольшие волны набегали иа берег. Оии так же шлепались иа песок несколько столетий иазад, когда жили коссы, и так же будут шлепаться иесколько веков спустя, когда иаше время стаиет достоянием легеид. Не слишком оригииальиые мысли эти навевали мелаихолическое иастроеиие, думалось о быстротечности человеческого бытия, о вечиости иеба, воли и скал...

Мы стояли с Березкиным рядом, смотрели в пасмуриую даль, в которой одиажды исчезли ладьи коссов, и вдруг услышали высоко иад головой трубиый клик лебедей. Оии летели иа юг, построившись «ключом».

— Откуда оии? — спросил Березкии.— С Враигеля или из Америки? Помиишь рассказ радиста?

Я, коиечио, помиил о нем. Но в этот момеит история стаи лебедей, упорио летящей по сто восьмидесятому меридиаиу иа север, в открытый океаи, приобрела в моих глазах особое зиачеиие. Ведь этим же путем шли коссы.

Нет, я ие проводил иикаких прямых аиалогий. Я только задал себе вопрос: что же все-таки заставляло лебедей совершать иелепый полет в Ледовитый океаи, иавстречу вероятиой гибели, и лишь потом возвращаться обратио или круто заворачивать к Америке? И я ответил себе: иистиикт, тяжкое иаследие ушедших поколеиий, иавык, который иекогда имел смысл, ио теперь стал иелепым, вредиым, толкающим иа бессмыслеииые действия. Повииуясь иистиикту, лебеди летели туда, где раиьше гиездились их предки, кружились над этим местом с тревожиым тоскливым криком, а потом разлетались.

Вы вправе спросить: где же лебеди выводили птеи-

цов? Среди льдов? Нет. В трехстах пятидесяти километрах к северу от острова Врангеля раньше находился остров. Потом он погрузился и ныне скрыт под волнами и льдами океана. И лебеди кружат и кричат там, где он опустился в пучину. Им давно надо бы летовать на Врангеле или лететь прямо к Америке, а они упорно следуют путем предков, слепо повинуясь власти мертвых. Лишь недавно первый табунок отбился от стаи и сразу опустился на остров.

Я высказал все это Березкину и добавил:

— Не исключено, что исчезнувший остров был последним пристанищем коссов. Во время подводного землетрясения он затонул и с ним сгинуло все, что осталось от «земляных людей». Это, конечно, всего лишь гипотеза, но я уверен, что когда-нибудь она подтвердится. Впрочем, не так уж это важно — подтвердится или нет. Тайны коссов, или «земляных людей», больше не существует. Они жили, и они погибли. И сами они повинны в своей гибели. Когда-то люди мечтали стать свободными, как птицы. Но мечта эта — глубокое заблуждение: птицы покорны инстинкту и летят путями предков, а свобода человека — свобода мысли.

ЗАГАДКИ *Хаирхана*

СЛОМАННЫЕ СТРЕЛЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

прочитав которую, читатель убедится, что изобретение хроноскопа сделало нашу жизнь более беспокойной.

Констаитнн Александровнч Сахаров, один из иемногочисленых у нас энтузнастов пещериых исследованнй, зашел ко мне в феврале, ио уже задолго до этого меня предупреднл о предстоящем внзите Рогачев. О самом Сахарове я знал совсем немного. Недели за две до его прнхода я прочтал в газете «Советский спорт», что в Москве иаконец-то создан первый клуб спелеологов-турнстов и что председателем клуба нзбран Сахаров. Не могу объяснить, почему, но мне запомнились эти строкн.

Теперь передо мной стоял высокнй человек среднх лет, сутуловатый, с шнрочеиными плечами, н первым моим чувством после того как он представнлся, было удивлеиие: как это он, такой громоздкий, лазает по пещерам?

А потом я увидел его умиые, почти черные, ио как бы смягченные внутренним светом печальные глаза, и мне стало неловко: я знал, зачем ои пршел, и знал, что теперь, когда Березкии заиялся усовершенствоваинем хроноскопа, мне будет трудио выполнить его просьбу.

— Рогачев звоннл мне,— не прндумав ничего более умиого, сказал я.— Прнсаживайтесь, пожалуйста...

Сахаров уднвился.

— Зачем же ои?.. Дело само себя рекомеидовать должно...

Сахаров сделал отводящнй жест, словно отстраияя от себя все постороннее, н сразу же заговорнл о главном. Он сказал, что минувшнм летом страиствовал в верховьях Еннсея и, в частностн, провел рекогносцнровочное обследование нзвестнякового масснва Ханрхан.

— Ханрхан? — переспросил я.

Сахаров кивнул.

— В переводе с тувннского это означает «медведь-хан» или «медведь-хозяии».

Но я переспросил Сахарова вовсе не потому, что не понял значения слова. Наоборот — я вспомнил свою первую экспедицию, в которой участвовал много лет назад, семнадцатилетним мальчишкой, вспомнил Туву, Енисей, или Улуг-хем, как называют его местные жители, Кызыл, Шагонар...

И конечно же, перед мысленным взором моим возник Хаирхан. Отрезанный Енисеем от Куртушибинского хребта, он одиноко стоит на левом низменном берегу, иссеченный вихрями и ливнями, обнаженный, с горбатой зазубренной спиной, издали действительно похожий на гигантского лежащего медведя. Раньше мне всегда казалось, что Хаирхан все видит. Он видел, как я с рюкзаком и промывочным ковшом уходил в тайгу опробовать на золото реки, видел меня, свалившимся от усталости с лошади и ползущим к юрте, видел, как хмурым октябрьским днем я, не раздеваясь, входил по горло в ледяной Енисей, чтобы провести вдоль утесов лошадей нашего маленького поискового отряда. Выходя из гор к Енисею, я всегда разыскивал знакомый профиль Хаирхана; если он был напротив — значит, от базы экспедиции в Шагонаре меня отделял всего день пути.

— Что же дала ваша рекогносцировка? — спросил я у Сахарова.

Очевидно, безразличный тон не удался мне, и Сахаров быстро вскинул на меня глаза.

— Вам что-нибудь рассказывали о Хаирхане? — в свою очередь спросил он.

— Я сам видел его.

— И знаете, что там есть пещеры?

— Знаю. Вернее, слышал о них.

— А я побывал там. Вот и вся разница.— Сахаров улыбнулся.— К сожалению, мы сумели осмотреть только первый зал. Пещера же, судя по всему, очень большая. Будущим летом мы продолжим исследования. Думаю, что это приведет к любопытным открытиям. А в первом зале нам удалось найти глиняные черепки с загадочной пиктограммой[1]. Расшифровать ее мы не смогли. Вернее, каждый символ пиктограммы в отдельности будто бы ясен, но целиком она как-то не читается.

[1] Пиктограмма — серия рисунков, передающих какую-либо мысль. Пиктографическое, или рисуночное, письмо принадлежит к самым ранним видам письменности.

— И вы надеетесь, что хроноскоп поможет вам?

— Да, я на это надеюсь,— просто сказал Сахаров.— К вам, конечно, приходят с разными предложениями, быть может, более интересными, чем мое. Я не стал бы вас беспокоить, если бы мы не собирались продолжать исследование пещер. И не только Хаирханских. Не думайте, что пещеры — лишь прошлое человечества.

Слушая Сахарова, я мучительно пытался припомнить легенды о Хаирхане, некогда записанные мною, и потому пропустил мимо ушей его последние слова. Легенды я не вспомнил. Как нередко случается, память изменила мне в самый неподходящий момент.

— Кажется, загадки Хаирхана оставили вас равнодушным? — спросил Сахаров, внимательно наблюдавший за мной.

— Не совсем,— возразил я.— Но мы сейчас не занимаемся хроноскопией, потому что Березкин совершенствует аппарат. Кстати, он занят конструированием «электронного глаза», передатчика особого типа. Хроноскоп все-таки довольно громоздкая штука, а с «электронным глазом» мы смогли бы легко проникнуть в хаирханскую пещеру и, если потребуется, всю ее подвергнуть хроноскопии. Так что придется немного подождать.

Когда несколько разочарованный моим ответом Сахаров стал прощаться, я спросил у него, на всякий случай, номер домашнего телефона...

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой подтверждается, что личные мотивы — увы! — до сих пор играют немалую роль в научных изысканиях; кроме того, в ней рассказывается о двух легендах и малоудачной попытке расшифровать пиктограмму на глиняных черепках.

Сахаров, сам того не подозревая, разбудил во мне полузабытые дорогие воспоминания. Через несколько дней, выкроив свободный часок, я извлек из своего архива тувинский путевой дневник и углубился в чтение. Наивные, излишне восторженные записи вызывали теперь невольную улыбку, но постепенно я проникся той неповторимой романтической атмосферой, в которой

жил тогда, и мие иеудержимо захотелось еще раз побывать в Туве, еще раз увидеть Хаирхаи. Я загляиул в коиец диевиика — там у меня были записаиы кое-какие этиографические иаблюдеиия и, в частиости, легеиды о Хаирхаие.

Одиа из легеид объясияла, почему Хаирхаи пустыиеи и почти лишеи древесиой растительиости. Я уже упомяиул, что Хаирхаи — известияковый массив, а известияки легко пропускают воду, и поэтому на иих селятся лишь сухолюбивые растеиия. Но в легеиде все выглядело ииаче.

«Очеиь давио, а когда имеиио, иикто не помиит,— легеида, как видите, иачииалась обычиым сказочиым запевом,— Хаирхаи был покрыт дремучим лесом. Одиажды дети шамаиа — два мальчика из соседиего сумоиа — забрались иа Хаирхаи, чтобы поиграть там, и ие вериулись: оии упали с утеса и разбились. Вечером шамаи тоже отправился иа Хаирхаи, и вскоре по окрестиой равииие разиеслись гулкие удары в бубен: это шамаи пел заклииаиия, прося богов покарать Хаирхаи... Боги услышали шамаиа, и иад Улуг-хемом разразилась сухая, иевидаииой силы гроза. Алые молиии исчертили иебо, и одиа из иих ударила в горб Хаирхаиа. Лес вспыхиул, и пламя пожара отразилось в чериых водах великой реки. Пожар продолжался, пока ие сгорело последиее дерево. С тех пор и стоит Хаирхаи обиажеииым...»

В диевиике моем этой легеиде уделялось зиачительио больше места, чем второй, показавшейся мие в свое время малоиитересиой. Теперь же, перечитав ее, я измеиил свое миеиие.

Во второй легеиде рассказывалось о хаирхаиской пещере, вернее, об одиом смельчаке, рискиувшем пройти ее всю до коица. Долго иикто ие решался иа это, ио одиажды бедиый тувииец, пасший своих овец у подножия Хаирхаиа, проиик в пещеру. Никто ие зиает, что ои там увидел, ио увидел ои иечто такое, от чего помутился его разум. Несколько дией бродил пастух по темиым галереям пещеры, прежде чем сумел выбраться из иее. Диевиой свет постепеиио вериул ему рассудок, ио вспомиить он все равио ничего ие смог. Одиако, уверяет легеида, с тех пор неведомая сила простерла свое покровительство иа бедиого скотовода, и стал он самым счастливым и богатым человеком в округе.

Вот и все. Ничего конкретного, но зато простор для фантазии поистине неограниченный!

Интерес мой к Хаирхану и, главное, к глиняным черепкам теперь заметно возрос. После непродолжительных размышлений я пришел к выводу, что для глиняных черепков из хаирханской пещеры можно было бы сделать исключение и подвергнуть их хроноскопии.

Впрочем, я окончательно утвердился в своем намерении лишь после разговора с Дягилевым.

Встретились мы случайно, и встреча — хотя это не имело никакого отношения к Дягилеву,— оставила в душе неприятный осадок.

Я не люблю городского транспорта, стараюсь передвигаться по Москве пешком, причем выбираю обычно не самую короткую, а самую тихую дорогу... Так, однажды я шел по заснеженным бульварам к площади Пушкина и увидел вдалеке человека, фигура которого показалась мне знакомой. Человек толкал детскую коляску увеличенных размеров и одновременно читал книгу, держа ее перед собой в вытянутой руке. Он был невелик ростом, одет в легкое демисезонное пальтишко, а на голове его красовалась огромная рыжая ушанка... В коляске послышался писк, и лишь тогда человек опустил книгу, но поспешил... ко мне.

— Как я рад! — вскричал Дягилев.— Вот замечательно, что мы встретились!

Я заглянул в коляску и обнаружил там двойняшек.

— Поздравляю!

— Спасибо! — смущенно сказал Дягилев.— Отпуск у меня. Вот... гуляю.

Растирая красные от холода руки, он сообщил мне, что дела у него идут отлично, что он уже написал и сдал в печать статью о коссах, и она скоро, наверное, выйдет в свет, потому что Рогачев у него в соавторах...

— Вашу помощь я отметил в статье,— сказал Дягилев.— И Рогачев на этом настаивал. Он даже отредактировал сноску... А сам я — на Чукотку. Вот откроются летние аэродромы — прощай Москва... От руководящей работы меня освободили, так что теперь я — как птица вольная.

— Надоело руководить? — улыбнулся я.

— А! С финансовой отчетностью нелады. Сколько ни езжу по экспедициям, а так и не научился денежные

документы оформлять. Не умею я этого делать.. Тиснули мне выговор — и рядовым в отряд к Павлику.

— К Павлику?

— Да. Молодежь у нас все время выдвигают. Он справится... Жаль только, что такие открытия, как прошлогоднее, нечасто случаются. Долго добираться до них приходится. Ой, как долго. И никто-то тебе не верит поначалу, и смотрят все на тебя, как на дурачка... А вы в те края не собираетесь? — неожиданно спросил Дягилев.— Рогачев намекал на ученом совете, что берется уговорить вас...

Упоминание о Рогачеве, а также изменение в служебном положении Дягилева заставили меня кое-что припомнить и кое-что сопоставить. Павлик и раньше казался мне человеком, весьма равнодушным к своей специальности, и назначение его вместо Дягилева... Н-да, странно все это выглядело, и тут я впервые подумал, что интерес Рогачева к хроноскопу несколько особого свойства и это надо будет всегда иметь в виду...

— А вам хроноскоп нужен? — спросил я Дягилева.

— Между нами — нет. Текучка вас там замучает, мелочи всякие. Хроноскоп — вы же сами говорили — большим делам служить должен.

Вот тут я и рассказал Дягилеву о пиктограмме.

— С Сахаровым мы знакомы. Это — фанатик! — с искренним уважением сказал Дягилев.— По-моему, он на пороге важных открытий или обобщений. И с пустяком он бы к вам не пришел.

Слово «фанатик» прозвучало в устах Дягилева очень забавно, но ко всему остальному я отнесся вполне серьезно. Правда, первоначально мне следовало самому посмотреть пиктограмму.

Я позвонил Сахарову и договорился с ним о новой встрече.

Она состоялась у входа в Исторический музей, куда Сахаров передал загадочные черепки, вернувшись из Тувы в Москву.

Мы прошли в служебное помещение, и Сахаров познакомил меня с одним из сотрудников музея, историком, молодым человеком в толстых роговых очках. Видимо, заранее предупрежденный о нашем визите, он сразу же подвел нас к столу, на котором в специальных коробочках лежали хаирханские черепки.

— Конец мезолита — начало неолита,— сказал историк и сделал небрежный жест в сторону коробочек; он, очевидно, не знал, что нас интересует, и выжидающе замолчал.

— Вы хотите сказать, что черепки относятся к очень ранним образцам керамики? — уточнил я.— Насколько помнится, переход от мезолита к неолиту как раз и был ознаменован появлением керамики.

— Да,— бесстрастно подтвердил историк.— И пиктографическое письмо тоже известно с неолита.

— Вот, смотрите,— сказал Сахаров и для чего-то поменял местами две коробочки.

Почерневшие от времени угловатые обломки сосуда, служившего неведомым людям более десяти тысячелетий тому назад, невольно вызывали интерес. Дело было не только в их древности, всегда возбуждающей воображение, дело было еще в чем-то, что мне не сразу удалось уловить. Я пристально вглядывался в неясные знаки на черепках и в то же время пытался разобраться в своих ощущениях. Если молодой историк не ошибался и черепки действительно относились к началу неолита — значит, изготовлен сосуд одним из первых гончаров-умельцев на земле, и уже это само по себе не могло не вызывать чувства уважения к древнему мастеру. Но мастер не только изготовил глиняный сосуд — он что-то изобразил на нем. Проще всего было предположить, что мастер украсил сосуд незамысловатым рисунком. Я высказал свою мысль Сахарову.

— На украшение это совсем не похоже,— возразил он.— Вот, взгляните: на черепке изображены сломанные стрелы.— Сахаров подал мне одну из коробочек.

На почерневшем черепке действительно виднелись изображения двух сломанных стрел и кончик третьей. Стрелы были переломлены примерно посередине, а концы их направлены в одну сторону.

— Или этот черепок,— продолжал Сахаров.— Здесь нарисован какой-то треугольный предмет.— Он тотчас поставил коробочку обратно и взял следующую, самую большую.— На этом черепке при некоторой фантазии можно разглядеть человека с натянутым луком. Смотрите.— Сахаров обвел едва заметный контур, и я вынужден был согласиться с ним.— Остальные черепки — немые. Лишь на двух из них видны какие-то прямые линии.

Склоннвшнсь над столом, я разложил черепкн в таком порядке: слева — черепок со стрелком из лука, посередине сгруппнровал черепки с треугольником и прямыми линиями, а справа — черепок со сломанными стрелами.

Да, рнсунки не былн похожн на украшенне. Неведомый мастер запечатлел на кусках еще плохо обожженной глины какую-то мысль, очевидно, важную, раз счел необходнмым записать ее. Но какую? Мне чуднлось, что толща тысячелетий рассеялась н я ощущаю тревожное биение мысли далекого предка, угадываю его волнение. Угловатые глиняные черепки о чем-то крнчали людям, в чем-то убеждалн их...

— Сломанные стрелы,— сказал я.— Все дело в сломанных стрелах.

— Не спорю,— согласнлся Сахаров.— Но что они означают?

— Я вспомннаю более поздний символ — меч, вложенный в ножны. Он означал конец войны.

— Следовательно, по вашему мнению, сломанные стрелы — символ перемнрня между двумя враждовавшими племенамн? Логично, но...

— Слишком просто? — перебил я Сахарова.

— Пожалуй. Такое заключение как бы лежнт на поверхности, н поэтому я не верю ему...

— Интуитивно я тоже угадываю иное. Однако не ндем лн мы по ложному следу? Не наделяем ли мы подсознательно неолитического человека своей психологией и своим ннтеллектом? И потом, пиктограмма — не шифровка, она должна быть простой, понятной, по замыслу авторов, во всяком случае.

— Ничего не могу возразить.— Сахаров приподнял широченные плечи н развел руками.— А хроноскоп не мог бы поколдовать?

— Хроноскоп! — усмехнулся я.— Как будто он может заменнть человеческую голову! Но попытка — не пытка. Приносите вашн сокровнща.

Сахаров повернулся к молодому нсторику.

— Из фондов музея мы ннчего не разрешаем выносить,— сказал тот.— А хаирханские черепки уже занесены в инвентарные спискн.

— То есть как — в спискн? — удивился Сахаров.— Разве не я вам привез их?

— Это не имеет значения. Мы ни для кого не делаем исключеиий...

Не дожидаясь окончания спора, я незаметно вышел из комнаты.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой хроноскоп вновь вступает в действие, но не разрешает наших сомнений, несмотря на усовершенствования, внесенные в его устройство Березкиным.

Сахаров позвонил мие через неделю и радостно сообщил, что получил наконец свои черепки. Я поздравил его с успехом, и мы, не откладывая, поехали в ииститут к Березкииу.

Стараясь ие опережать событий, я до самого последнего момеита ничего ие рассказывал своему другу о глиняных черепках, а Сахарова заранее предупредил, что ждет иас, вероятио, весьма нелюбезный прием. К иемалому моему удивлению, Березкин очень обрадовался нашему приходу.

Здесь я выиужден сделать небольшое отступление. Помните, с какими трудностями мы столкиулись, когда пытались расшифровать диевиики Зальцмана, переписаииые им в Краснодаре? На экране хроиоскопа, независимо от заиесеиных в дневиик событий, все время сидел и писал худой человек с острыми локтями. Иначе говоря, хроиоскоп умел восстанавливать лишь события, происходившие иепосредствеино в момент записи (так он восстаиовил сцеиу у поварии, когда Зальцман прятал тетрадь Черкешина). Но хроноскоп не обладал способностью истолковывать самый текст, выяснять, перебирая различиые вариаиты, самую суть написаииого и иаглядно иллюстрировать ее.

Березкии же поставил перед собой цель добиться этого от хроиоскопа.

Разумеется, мы понимали, что многого достичь не удастся, что хроиоскоп никогда не замеиит мозг и ие избавит нас от необходимости мыслить. Но вот вам конкретный пример. До усовершеиствоваиия хроиоскоп мог рассказать иам лишь о том, как глииняный сосуд превратился в груду черепков. После же усовершенствования

(мы на это надеялись) он должен был помочь нам расшифровать пиктограмму, как бы восстановить события, зафиксированные в ней неполно и неясно.

Березкин очень не любит распространяться о ходе своих изысканий, и поэтому, зная, над чем он работает, я далеко не всегда представлял себе, в каком состоянии находятся его дела.

По счастливой случайности, Березкин решил, что наступила пора экспериментировать, именно в тот день, когда Сахаров вновь стал обладателем ханрханских черепков.

Как ни велико было желание Березкина проверить новые способности хроноскопа, ученый одержал в нем верх над конструктором: решено было вести расследование по всем правилам, не забегая вперед.

Первое задание хроноскопу покажется неискушенному человеку очень наивным: мы хотели узнать, почему глиняный сосуд превратился в груду черепков. Очевидно, произошло это одним из трех способов: либо он развалился от времени, либо на него упал какой-нибудь тяжелый предмет, либо, наконец, его разбили люди. Последний вариант допускал два толкования: люди могли разбить сосуд сразу же после того, как сделали, или много лет спустя, когда он пришел в негодность. Сахаров (как раз и относящийся к числу «неискушенных») удивился нашему праздному, по его выражению, любопытству, но мы с Березкиным лишь понимающе улыбнулись друг другу.

Итак, хроноскоп получил задание выяснить, почему глиняный сосуд с пиктограммой превратился в груду обломков.

Ответ пришел тотчас: на экране возник силуэт человека, сидящего на скрещенных ногах; кто-то невидимый на экране осторожно поставил перед ним большой глиняный сосуд; а потом случилось неожиданное: сидевший на скрещенных ногах человек взмахнул каким-то тяжелым продолговатым предметом, ударил им по глиняному сосуду, и тот, разумеется, развалился.

Березкин уточнил задание, указал хроноскопу время действия. На этот раз вместо условной человеческой фигуры на экране появился длинноволосый бородатый мужчина, одетый в грубо выделанную звериную шкуру, а в продолговатом предмете, который он обрушил на со-

суд, мы без труда узнали орудие макролитического типа — нечто похожее на каменный топор.

Сахаров совсем не напоминал тех восторженных зрителей, с какими нам до сих пор приходилось иметь дело. Он ничуть не растрогался, увидев, как неведомый воин расправился с глиняным сосудом. В голосе Сахарова слышались откровенно скептические нотки, когда он попросил нас истолковать эпизод.

— Мы видели столько же, сколько вы,— ответил ему Березкин.— Расследование только начинается.

Никому ни слова не говоря, он дал хроноскопу новое задание. И перед нами, быстро чередуясь, промелькнули события далекого прошлого. Сначала на экране возникла полуобнаженная женщина; она сидела на корточках и обмазывала глиной сплетенную из гибких ивовых прутьев корзину. Когда она закончила работу, к глиняному сосуду подошел мужчина и острой палочкой начертил на нем какие-то контуры — очевидно, пиктограмму. Затем глиняный сосуд обожгли на костре, прутья сгорели, а готовое изделие бережно поставили перед длинноволосым бородатым человеком.

— Это уже серьезнее,— сказал Березкин, обращаясь преимущественно к Сахарову.— Думаю, что можно сделать кое-какие выводы. Например, бесспорно, что работа гончарки и художника чем-то не удовлетворила бородатого воина — удар каменного топора достаточно убедительное тому свидетельство. Если теперь все известное нам расположить в логической последовательности, то получится законченная цепь поступков. Бородатый воин — очевидно, он был вождем племени — распорядился сделать глиняный сосуд и вычертить на нем пиктограмму; гончарка и художник выполнили это распоряжение, но чем-то не угодили вождю, и он разбил сосуд.

— Совершенно согласен с вами,— сказал Сахаров.— Но мы же не приблизились к пониманию пиктограммы.

— Как знать...— задумчиво произнес Березкин.— Как знать.

После некоторых колебаний, заметно волнуясь, он снова подошел к хроноскопу. Я догадался, что сейчас Березкин начнет экспериментировать, проверять новые «способности» хроноскопа, его умение расшифровывать суть текста.

Испытание хроноскоп выдержал: Березкин сумел получить на экране изображение человека, сначала стреляющего из примитивного лука, а потом ломающего стрелы. Это означало, что хроноскоп «научился» иллюстрировать текст, но смысла пиктограммы все же раскрыть не смог.

— Пиктограмма неполная, вот в чем беда,— высказал предположение Березкин; он был и доволен, и немножко разочарован испытанием.— И вообще, лучше надеяться на собственную голову,— с неожиданной резкостью заключил он.

Мы промолчали. Заложив руки за спину, Березкин несколько раз прошелся по кабинету из угла в угол и остановился перед Сахаровым.

— Ищите петроглиф [1],— сказал он ему.

— Какой петроглиф? — удивился Сахаров.

— Обыкновенный. Наскальную надпись. Я уверен, что вождь разбил глиняный сосуд в доказательство хрупкости изделия.

— Разве это нуждалось в доказательстве? — спросил Сахаров.

Березкин слегка смутился.

— Ну, не знаю. По крайней мере хрупкость кувшина по каким-то соображениям вождя не устраивала. Если я не ошибаюсь, то должна существовать пиктограмма, выбитая на стене пещеры. Ищите ее.

— Странно, сперва вождь распорядился изготовить сосуд, потом разбил его. Не улавливаю логики.

Березкин не ответил. Он высказал все, что думал, и теперь отмалчивался.

— Н-да.— Сахаров энергично потер лоб и быстро взглянул на меня.— Если сломанные стрелы можно понять как символ мира, то не означает ли расправа с кувшином, что мир кончился и вновь объявлена война? Пока гончарка и художник трудились над сосудом, обстановка могла измениться.

Стройность и логичность предположений Сахарова покорили нас.

— Может быть, вы и правы,— сказал Березкин.— И все-таки ищите петроглиф.

---

[1] Петроглиф — пиктограмма, выбитая на камне.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой место действия переносится к подножию массива Хаирхан, где Сахаров приступает к планомерным спелеологическим исследованиям, а хроноскоп вновь оказывает нам небольшую услугу.

Итак, помощь хроноскопа (если позволительно употребить здесь слово «помощь») оказалась весьма своеобразной: хроноскоп лишь усложнил проблему, наметив какие-то иные, неожиданные пути ее решения. Чтобы окончательно разобраться в пиктограмме, требовался дополнительный материал. Но его не было. Тем самым подводилась черта под нашими изысканиями.

Вообще, должен признаться, что, как только рассеялась романтическая дымка воспоминаний, история с глиняными черепками показалась мне мелковатой для хроноскопии.

Березкин не согласился со мной и весьма решительно заявил, что если Сахарову удастся найти петроглиф, то он, Березкин, не откажется подвергнуть его хроноскопии.

Я ничего не возразил, ибо пока не из-за чего было спорить. Однако и Сахаров, которому я высказал свои сомнения, несколько раз как бы вскользь замечал, что напрасно мы представляем себе древних этакими примитивами. И Дягилев, с мнением которого я не мог не считаться, высказался примерно в том же духе. И даже Рогачев был на стороне Сахарова.

Рогачев позвонил мне утром, в те часы, когда я обычно работаю и не подхожу к телефону.

— Слушай, старик,— сказал Рогачев.— Мы тут еще раз посоветовались... В общем, институт для тебя открыт... Годик поработаешь — в старшие научные проведем, а там и до лаборатории рукой подать. Сам знаешь, даже филологи теперь с кибернетикой братаются. Но я не тороплю — уговор помню. А что с Сахаровым поработать намерен, одобряю.

— Тебя-то почему Сахаров интересует?

— У меня с ним мало деловых контактов,— сказал Рогачев.— Так, давнее знакомство. Хоть он и философ, а в истории покопаться любит. Ну, а я философии не чужд, сам знаешь. Вот иногда и консультируемся. А интересует меня хроноскоп, всестороннее испытание его...

Слыхал, наверное, как хорошо открытие коссов прозвучало? Только и разговоров, что о рогачевской экспедиции. Как ни суди, а коллектив себя отлично зарекомендовал. Открытие коссов — это же вроде открытия шумеров... этим... ирландцем... ассириологом...

— Хинксом?

— Да. Вылетело имя из головы. Тоже, понимаешь, за письменным столом открытие произошло. Ну, не буду задерживать. Работай. А Сахарову — помоги.

— Поможем, если он найдет петроглиф,— сказал я.

Самое удивительное, что Сахаров действительно нашел его. В июле, уже после того как Дягилев отправился на Чукотку, мы получили от Сахарова телеграмму с просьбой немедленно вылететь в Туву.

— Вот так! — сказал мне Березкин (он немножко важничал).— Вот что значит квалифицированный анализ действительности. Конечно, это не открытие коссов. Но...

Березкин еще перед Новым годом запланировал в своем институте полевые испытания хроноскопа и средствами для поездки располагал неограниченными. Правда, несмотря на все разумные доводы, несмотря на вполне объяснимую радость Березкина, предсказавшего петроглиф, ко мне иногда возвращалось ощущение, что собираемся мы стрелять из пушки по воробьям. Но Рогачев и тут помог: как-то раз он вновь позвонил мне и сказал, что у подножия Таину-Ола начаты крупные археологические раскопки и он уже распорядился, чтобы археологи предоставили нам для хроноскопии все, что нас заинтересует. Эти дополнительные обстоятельства и склонили окончательно чашу весов в пользу хаирханской пещеры.

Мы решили не лететь в Туву, а ехать на платформе, погрузив на нее машину с хроноскопом. И мы поехали — дорогой, по которой мне приходилось проезжать много раз. Много раз...

Первый раз — из Москвы на восток, когда немцы подошли к столице и началась эвакуация детей и женщин. Второй раз — обратно в Москву из сибирской деревни в университет. А потом, уже студентом географического факультета,— в Туву. А потом — из Тувы. Последнее — памятно. Был то первый послевоенный год — еще не кончился сорок пятый — и поезда на сибирской трассе бра-

лись штурмом. Место в вагоне мне со спутником, уже немолодым геоморфологом, бывшим фронтовиком, взять штурмом не удалось, мы захватили в Ачинске лишь переходную площадку, которые в то время не прикрывались гофрированными стенками, как теперь. Где-то у Юрги началась пурга — сильнейшая, со встречным ветром. Нас заметало, мы коченели, пытались согревать руки одной фляжкой — на каждой станции я бегал за кипятком. И так — двести километров, до Новосибирска...

В Ачинске мы расстались с Транссибирской магистралью и свернули на Абакан. А потом — знаменитый Усинский тракт, который я проезжал дважды — второй раз зимой, на открытом грузовике,— и вот — Кызыл, тот самый Кызыл, где я наконец-то наелся досыта после трехлетней голодовки.

Тот же паром переправил нашу машину через Енисей. А у самого берега случилось непредвиденное: колесо машины при съезде соскользнуло с настила, и машину сильно ударило.

Березкин побледнел. Какой-то молодой человек — совсем мальчик на вид — бросился к грузовику с явным намерением вынести его на руках... Руки проявили самоуправство, они не смогли поднять грузовик, и тогда молодой человек подошел к нам.

— Я их тут всех распеку,— сказал он гневно.— Я им тут всем раздокажу... Петя Скворушкин,— представился он.— Сахаров прислал меня встретить вас.

Несмотря на сравнительно юный возраст, Петя Скворушкин оказался деловым человеком: он, не теряя ни минуты, договорился с шофером трехтонки, и тот аккуратно вытащил нас на берег.

Но о том, чтобы немедленно своим ходом идти к Ханхрану, уже не могло быть и речи. Березкин — а ему тут принадлежало последнее слово — сказал, что сначала осмотрит и, если потребуется, отремонтирует хроноскоп, а это проще сделать в столице автономной области, чем в горах.

Итак, мы невольно задержались в Кызыле. В прошлый свой приезд сюда я жил в конце гостиничного коридора, за раскрытой дверцей шкафа с постельными принадлежностями, а теперь мы остановились за городом и разбили лагерь.

Березкин пребывал в мрачности, я тоже, а симпатичный Петя Скворушкин, студент философского факультета, почему-то посчитал, что в аварии виноват он, и теперь пытался рассеять и развеселить нас. Он потчевал нас всяческими рассказами, и от него мы узнали, что Сахаров — доцент философского факультета, истматчик, что среди спелеологов есть еще несколько философов. Это почему-то рассердило Березкина.

— С какой стати — философы? — спрашивал он.— Обычно математики или физики увлекаются альпинизмом, спелеологией... А тут — философы!

Березкин сам понимал, что гневается без причины, что физики или математики не имеют никакого преимущества в исследовании пещер перед философами или, тем более, геоморфологами и географами, и я подал Пете знак, чтобы он не обращал внимания на воркотню.

Когда же Березкин выяснил, что хроноскоп от встряски не пострадал, мир и согласие окончательно восстановились в нашем увеличившемся отряде.

...От Кызыла до Хаирхана — почти день пути. Зеленая долина Енисея остается справа. Слева — степь, курганы. На курганах — орлы. Взмахивая крыльями, они становятся похожими на маленькие радары.

А потом впереди возникает Хаирхан — зубчатый, обнаженный...

— Вот и приехали,— говорит нам Петя.— Видите палатки?

Мы видим палатки и видим людей, бегущих нам навстречу.

Чтобы не затягивать больше повествование о глиняных черепках, я опущу рассказ о событиях, свидетелем которых не был.

Скажу лишь, что Сахаров и его товарищи-спелеологи обнаружили петроглиф в том же первом зале хаирханской пещеры, где ранее нашли глиняные черепки,— для этого им пришлось счистить со стены слой копоти.

В пещеру вел сравнительно широкий и высокий ход; кусты и небольшие лиственницы скрывали его от невнимательных глаз, но все-таки пещера иногда посещалась местными жителями — в зале кое-где валялись обрывки конской сбруи, какие-то пестрые матерчатые ленты, виднелись следы недавних костров.

Сахаров сразу же подвел нас к стене, расположенной напротнв входа. В пещере было сумеречно, но мы без труда разгляделн высечеиный иа скале петроглиф. Березкин, предсказавшнй его существоваине, выглядел нмениинником.

— Ну конечно,— говорнл он.— Эта пиктограмма знаჩнтельно полиее той, на глиняиых черепках.

Действительно, перед намн была целая серня рисунков, последовательно нзлагавшая ход событий. В левой частн друг протнв друга стоялн стрелкн нз лука — прнмитнвно нзображениые человечкн с треугольиымн головами; тетнва луков была натянута, н воинственные намерения стрелков не вызывали сомнеиий. Далее были изображены несколько убнтых стреламн людей, н лишь потом уже знакомые нам сломаиные стрелы. На них пиктограмма не кончалась. В правой ее части художинк поместил двух воннов с подиятыми над головой копьямн; воины стояли в угрожающих позах, готовые метиуть копья в невидимого врага.

— Мне приходят в голову лишь простейшие решения, и оин меня не устраивают,— сказал Сахаров.— Можно предположнть, напрнмер, что петроглнф рассказывает о воиском подвиге неведомого нам племеии. В жестокой схватке с врагом оио потеряло миого убитых, лишилось своего осиовиого оружия — стрел, ио мужествеиио продолжало сражаться копьямн... Логнчио, ие правда лн? Но скучно и прнмитнвно. Впрочем, слово за хроноскопом.

Березкии молча отправился к машнне и вскоре вернулся с небольшим «электрониым глазом», за которым тяиулся длиииый тонкий провод.

— Да, совсем забыл,— неожиданио сказал Сахаров.— На стеие есть еще один рисунок... Правда, ои как будто не нмеет отиошеиия к иашему петроглнфу.

Сахаров пошарил лучом фоиаря по стеие и остаиовил его выше петроглифа.

— Олеиь, поражеиный стреламн.

Действительно, на стеие видиелось иеполное нзображение оленя с запрокииутымн ветвистымн рогами; неполиое потому, что стеиа в этом месте осыпалась и уцелела лншь передняя часть рисуика. Две стрелы, пущеиые с разиых сторои, застрялн в туловище животиого.

— Не будем отвлекаться н займемся петроглнфом,— сказал Березкии.— Идите к хроиоскопу. Задаиие я уже

сформулировал, и, как только «электронный глаз» передаст импульсы, на экране появится изображение.

По обыкновению, Березкин прежде всего поручил хроноскопу выяснить, как создавался петроглиф.

На экране возник старый, но еще, видимо, крепкий человек с зубилом в одной руке и округлым булыжником в другой и приступил к работе. Он подставлял зубило под острым углом к скале и ударял сверху камнем. В действиях его не было ничего особенно интересного для нас, но я обратил внимание, что мастер старый. Раньше мы не придавали значения возрасту художника, наносившего пиктограмму на глиняный сосуд, но теперь я припомнил, что тот был молодым.

Когда Березкин вышел из пещеры, чтобы посмотреть изображения, я указал ему на возрастные различия. Березкин постарался уточнить задание, но результат остался прежним: хроноскоп настойчиво утверждал, что петроглиф высекал старый человек. Если хроноскоп не ошибался,— а мы уже привыкли верить ему,— то, значит, разные люди стремились запечатлеть в ханрханской пещере одну и ту же мысль.

Мы не спешили с истолкованием нового факта, да и не так-то просто было истолковать его. Мысль, что у неолитических художников существовала, так сказать, «специализация», пришлось отвергнуть как явно несостоятельную, а ничего разумнее предположить мы не могли.

— А хроноскоп... если его спросить? — Сахаров с надеждой смотрел на Березкина.

— Чего захотели! — не очень-то любезно ответил тот.— Хорошо, если он пиктограмму истолкует.

Но хроноскоп не оправдал наших надежд: он смог лишь проиллюстрировать пиктограмму, и мы последовательно увидели стрелков из лука, условные фигурки пораженных стрелами людей, затем сломанные стрелы и, наконец, копьеметальщиков. Березкин для чего-то подверг хроноскопии и изображение оленя, но оно лишь спроецировалось на экране. Пользы от чистого иллюстрирования, как вы сами понимаете, мы не получили никакой.

Березкин задумался, изыскивая, очевидно, новые способы применения хроноскопа, и спелеологи собрались вокруг нас.

— Зря вы мудрите, Константин Александрович,—

сказал Сахарову Локтев, человек, как мы уже знали, феноменальной памяти; он знал наизусть чуть ли не целые главы «Капитала», мог точно сказать, на какой странице что написано, и мне кажется, что Петя Скворушкин в душе чуть-чуть завидовал ему...— Вы абсолютно правы,— продолжал Локтев,— и незачем разводить философию на мелком месте. Вспомните о наскальных надписях царей Урарту, Ассирии, Вавилона — именно так они стремились увековечить свои подвиги, и наш петроглиф выбит в честь победы.

Никто не возразил Локтеву — да и трудно было что-нибудь возразить, но Петя Скворушкин все-таки решил противопоставить ему свою точку зрения.

— А может быть, все не так,— сказал он.— Может быть, мы зря не признаем за неолитическим человеком способности к философским обобщениям?

Маленький, белобрысый, с веснушчатым носом Петя старался держаться как можно прямее, чтобы выглядеть выше и солиднее.

— Почему же — не признаем? — спросил Сахаров.— Впрочем, что вы имеете в виду?

— Я думаю, что петроглиф — краткое изложение сути эпохи...

— Сути эпохи? — переспросил Сахаров, и печальные, казавшиеся абсолютно черными в полусумраке пещеры глаза его как бы приблизились к Пете.

— Да,— продолжал Петя.— Вражда человека с человеком и борьба человека с человеком — беспощадная, звериная, любыми средствами, до конца!

— «И вечный бой!»...— не без иронии сказал Локтев.— Не надо усложнять. Неолитического вождя так же обуревала жажда бессмертия, как и многих после него. Вот уж невидаль! Поэтому он и разбил недолговечный глиняный сосуд. И поэтому велел высечь на стене петроглиф — надежней все же.

Я хотел возразить Локтеву, но Сахаров, понявший мое намерение, сделал отвлекающий жест, и мы оба промолчали. Каждый из нас имел право на свое истолкование петроглифа, а строго доказать свою правоту едва ли кто-нибудь сумел бы. В ходе расследования и так уж пришлось отбросить не одну скороспелую гипотезу.

И все-таки я думал, что Локтев, безоговорочно принявший первоначальную версию Сахарова, не прав, и мне

казалось, что я начинаю угадывать смысл петроглифа. Я вовсе не настаиваю на своем выводе. Всякий прочитавший мой очерк вправе высказать свое суждение, ибо в его распоряжении находятся те же факты, которыми оперировали и Сахаров, и Локтев, и Петя Скворушкин, и я. Правда, при исследованиях немалое значение имеет внутренняя настроенность человека, то особое состояние души и ума, которое складывается в процессе работы и которое искусственно не создашь. Быть может, только поэтому, подводя итог, я выступаю со своим мнением.

Картина, которую я сейчас постараюсь набросать, возникла интуитивно, как бы помимо конкретных размышлений. Я бы сказал, что она имеет эмоциональное, а не рассудочное происхождение, и лишь позднее обрела, как я надеюсь, логическую законченность... Я постарался представить самого себя на месте неолитического человека, хоть мысленно «пожить в его шкуре», чтобы угадать, какие тревоги, какие заботы волновали его.

Вечером, когда все сидели у костра, я один пошел к пещере. Из черного входа в нее веяло холодом и сыростью. Помедлив, я огляделся. Светила полная луна, и желтовато-зеленый свет ее заливал всю необозримую, теряющуюся в голубоватом тумане степную равнину. Я знал, что равнину на юге замыкают хребты Танну-Ола, а на севере, сразу за Енисеем,— горы Восточного Саяна. И я представил себе, как с гор на степную равнину спускаются кочующие неолитические племена — не очень многочисленные, враждебно настроенные друг к другу, видящие в каждом чужом человеке врага. Они неизбежно встречались на берегах Енисея и, встречаясь, вступали в бой. Они бились за жизненные пространства (точнее — за охотничьи угодья, а долина Енисея — это самое благодатное место в Тувинской котловине), и за право жить и охотиться на берегах великой реки, наверняка, происходили особенно жестокие сражения.

После одного из таких сражений между соседними племенами и был выбит на стене хаирханской пещеры загадочный петроглиф.

Осторожно раздвинув кусты, я шагнул в холодный мрак пещеры. У входа еще лежали на полу зеленоватые пятна лунного света, но дальше темнота становилась непроницаемой.

Я зажег фонарь и направил луч на стену. Круг света

последовательно вырвал из мрака, как из глубины веков, лучников, убитых, сломанные стрелы, копьеметателей... Еще раз мысленно перебрал я все известные нам факты, еще раз задумался над деталями, добытыми хроноскопом: вождь топором разбивает глиняный сосуд с пиктограммой молодого художника, старый художник высекает ту же пиктограмму на стене. Одну за другой отбрасывал я прежние гипотезы. Заключение перемирия? Нет, потому что после сломанных стрел изображены воинственные копьеметатели. Самовосхваление вождя? Едва ли, потому что ни сам вождь, ни его тотем не изображены. «Философская суть эпохи»? Но неолитическому человеку явно незачем было беспокоиться о ее выражении. Краткий мир, сменившийся войной? Предположение Сахарова отпадало, потому что позднее другой художник выбил на стене петроглиф.

И тогда возникала мысль, что петроглиф — это соглашение между двумя враждующими племенами, что в пещере, когда заключалось соглашение, находились два вождя. Один из них приказал сделать глиняный сосуд и нанести на него пиктограмму. Но когда сосуд с пиктограммой показали второму вождю, тот ударом каменного топора весьма убедительно доказал, сколь непрочно это изделие, и велел своему художнику — старику — высечь петроглиф.

Но в чем же все-таки смысл его? Вечный мир? Нет, потому что и в начале и в конце пиктограммы, с какого конца ни читай ее, стоят вооруженные, готовые к бою воины, да и едва ли неолитические люди обладали отвлеченными понятиями о мире. Что-то сугубо практическое, жизненно важное должно было содержаться в пиктограмме — и в то же время связанное с войной: люди того времени не представляли себе, что можно жить не враждуя.

Луч света, скользнув вверх, остановился на олене, пораженном стрелами. Да, во времена неолита люди охотились с помощью лука и стрел. В жизни человечества изобретение лука составило целую эпоху — с ним легче охотиться, чем с копьями или дротиками, и, значит, лучше стало жить людям, реже голодали они. Однако лук не только охотничье, но и боевое оружие. Поразить человека стрелой тоже проще, чем дротиком. Следовательно, с изобретением лука легче стало охотиться, но и легче

стало убивать самих охотников-мужчин во время многочисленных сражений.

Я еще раз направил луч света на пиктограмму и остановил его на пораженных стрелами воинах. Потом — на воинственно поднятых копьях. Не означает ли это, что вожди договорились впредь не пользоваться стрелами как боевым оружием и сражаться одними копьями? Луч света вернулся на убитых. Их было четверо. Я вспомнил, что даже у некоторых современных папуасских племен все, что больше трех, называется «много». Очевидно, тот же смысл имело изображение четырех убитых. Значит, древний мастер хотел сказать, что стрелы, столь полезные на охоте, убивают слишком много людей, и вожди соседних племен договорились не пользоваться ими в бою и сражаться, как в прежние времена, копьями. А чтобы завет их навеки остался в силе, чтоб знали о нем все, кто посетит хаирханскую пещеру, и был выбит петроглиф на каменной стене.

Воображение живо рисовало мне, как сидят вокруг пылающего костра суровые бородатые воины с каменными топорами и копьями, как вожди их торжественно обещают не воевать стрелами.

— Да будет так! — должно быть, сказал на своем наречии вождь, приказавший сделать пиктограмму на глиняном сосуде.

— Будет! — в тон ему ответил на своем наречии вождь, приказавший выбить петроглиф на стене хаирханской пещеры...

КАМЕННАЯ БАБА

ГЛАВА ПЯТАЯ,

в которой повествуется о дальнейших спелеологических исследованиях Хаирханского массива, рассказывается о каменной бабе и о том, что находилось около нее.

В дни молодости, опробуя на золото реки Куртушибинского хребта, я встретил однажды в безлюдном ущелье конного тувинца. Мы остановили лошадей, и после традиционных приветствий и вопросов я услышал от него рассказ о самом себе, о случившемся со мной однажды приключении на берегу Енисея. В памяти моей этот забавный случай остался самым ярким примером пресловутого, всячески обыгранного в литературе «телеграфа кочевников» — узункулака. Впрочем, это присказка.

Выйдя из пещеры с загадочным петроглифом, где столь пышно расцвела моя фантазия, я увидел Сахарова, который тоже ушел от костра и стоял у скалы, положив на остывший камень большую длинную руку. Сахаров смотрел вдаль в темноту; луна светила ему в затылок, и его крупная, чуть запрокинутая назад голова казалась еще больше, тяжелее. Я почему-то подумал, что сейчас он похож на одного из тех наших далеких предков, по следам которых мы шли.

Шаги мои Сахаров услышал сразу же.

— Вы очень обижены на меня? — спросил он.— Вот видите, до чего доводит увлеченность. Конечно, без увлеченности настоящие дела не делаются, но часто приходится страдать посторонним...

— Вы — о петроглифе? — в свою очередь спросил я.— Если хотите, я поведаю вам еще одну гипотезу...

Сахаров, слушая меня, все так же смотрел вдаль, и я не знал, слушает он меня или прислушивается к своему внутреннему голосу, но, когда я кончил, он сказал:

— Знаете, только ради этой версии стоило лететь сюда, лезть в пещеру и думать, думать.— Теперь глаза его светились, и он смотрел в упор на меня.— Если хотите, пещеры — это копилки человеческого опыта. Представьте себе, сколько десятков тысячелетий прожили в

них наши предки!.. А что мы знаем о пещерах? Что там есть сталактиты? Что там живут летучие мыши?.. Воздух — покорен. Океан — покоряют. А подземный мир?.. Я убежден, что когда-нибудь в подземных пустотах возникнут промышленные предприятия... города, санатории... Там будут жить люди. Но они уже жили в пещерах, и опыт их — бесценен!

«Фанатик»,— вспомнил я слова Дягилева и улыбнулся.— Да, фанатик, влюбленный в загадочный подземный мир.

В моем воображении как-то не укладывалось житье-бытье под землей, но я понимал, что сейчас не время высказывать свои мысли Сахарову, да и слишком мало я думал об этом, чтобы выступать со своим мнением.

Определеннее я знал другое: Сахаров, пожалуй, с излишней поспешностью принял мою расшифровку петроглифа. Сам я не считал ее окончательной, да и Березкин отнесся к ней весьма сдержанно.

Мы собирались покинуть лагерь спелеологов, чтобы отправиться к подножию Танну-Ола уже на следующее утро. Но вечером у костра я рассказал Сахарову и его товарищам легенду о пастухе-тувинце и невольно стал виновником последующих событий. Дело в том, что Хаирхан успел разочаровать спелеологов: пещера, в которой они обнаружили глиняные черепки и петроглиф, оказалась совсем не такой большой, как предполагал ранее Сахаров: в ней имелся еще только один зал (в него вел узкий проход). Спелеологи побывали в зале еще до нашего приезда, все тщательно осмотрели, но ничего интересного не нашли. По их словам, зал был невысоким — они не могли стоять в нем во весь рост — и не очень длинным. Как и во многих других карстовых пещерах, с потолка там свешивались сталактиты, а на полу, навстречу им, «росли» сталагмиты — маленькие, ничем не примечательные. Когда спелеологи рассказывали нам о пещере, в словах их звучало откровенное неудовольствие. Они мечтали о бесконечных таинственных подземельях — и вдруг всего два небольших зала!

Легенда о пастухе, заблудившемся в хаирханской пещере, оказалась очень кстати. Спелеологи принялись спорить о достоверности легенд, приводили бесконечные примеры «за» и «против», и, пока спорили, большинство склонялось к тому, что легенды врут, но, когда дело до-

шло до Ханрхана, решили не спешить с выводами и поискать другую пещеру.

Поскольку я сам сказал, что пастух-тувинец увидел в пещере нечто такое, от чего помутился его разум, спелеологи предложили мне и Березкину задержаться дня на два, на три.

Утром Сахаров предложил осмотреть вместе с ним второй зал пещеры — мы все надеялись, что при первом посещении спелеологи просто не нашли хода в следующий зал.

Увы, надежды не сбылись. Мы, не ограничиваясь осмотром, в буквальном смысле слова прощупали каждую пядь. Нам удалось найти несколько трещин, но таких узких, что в них с трудом проходила рука; вели они куда-нибудь или нет, мы так и не узнали.

Поиски наших товарищей, отправившихся разыскивать в Ханрханском массиве другую пещеру, тоже ни к чему не привели. Удивляться этому не приходилось: не так-то просто найти среди скал пещеру. Вечером у костра царило мрачное настроение. Все понимали, что на детальное обследование Ханрхана уйдет слишком много времени, а надежды на счастливую случайность были очень уж призрачны.

И все-таки выручила нас «счастливая случайность» в лице старика тувинца, завернувшего на огонек. После первых же слов выяснилось, что старик превосходно осведомлен о цели наших исследований — сработал узун-кулак.

Выпив три аяка[1] соленого кок-чая с молоком, тувинец раскурил маленькую трубку с длинным тонким чубуком (на нее с вожделением смотрел Березкин) и без долгих предисловий сообщил, что знает еще одну пещеру на Ханрхане, но не советует нам ходить в нее.

— Почему? — спросил Сахаров.

Старик принялся пространно повествовать про злых духов — пука и азу, будто бы обитающих в пещере, но рассказывал о них с забавными нотками сомнения в голосе, словно и сам не очень-то верил в злых духов, однако считал нужным предупредить нас. Убедившись, что присутствие в пещере нечистой силы никого не смутило, старик удовлетворенно сказал «ча» и поднялся. Мы поду-

[1] Аяк — круглая чашка, пиала.

мали, что он собирается уезжать, но он предложил немедленно пойти к пещере.

Минут через пятнадцать мы уже стояли около неширокого черного входа. Проникать в пещеру ночью не имело смысла. Сахаров, предусмотрительно захвативший с собой длинное белое полотнище, привязал его, подобно флагу, к ближайшей лиственнице, чтобы утром найти вход, и мы вернулись в лагерь.

Надо ли говорить, что рассвет застал нас уже на ногах, занятых спешным приготовлением завтрака.

Наскоро перекусив, мы отправились к пещере. Как и первая пещера, она находилась у подножия Хаирхана, и мне подумалось, что, если потребуется, лагерь без труда можно будет разбить на новом месте.

Не прошло и часа, как мы единодушно решили перебазироваться.

Чтобы не загружать рассказ излишними подробностями, скажу коротко, что, без особого труда проникнув во второй зал пещеры,— он оказался значительно выше и шире ничем не примечательного первого,— мы обнаружили там высеченного из камня истукана, так называемую каменную бабу. Она стояла посреди зала, и сверху на нее падал луч дневного света — в своде пещеры имелось небольшое отверстие.

Признаюсь, что больше всего меня поразила неожиданная освещенность идола, придававшая ему черты нереальности, призрачности, невесомости. В первые мгновения мы все невольно разговаривали полушепотом, как будто боялись нарушить многовековой покой каменного изваяния.

— Гордый символ подземного мира,— торжественно произнес Петя и, кашлянув, покосился на Сахарова.— Страж вековечных тайн и неведомых нам свершений.

— Обычное надгробие,— сказал Локтев.

Березкин первым прошел в глубину зала.

— Скелет,— услышали мы его голос.

Спелеологи ахнули и бросились к Березкину.

Скелет лежал позади изваяния, как бы брошенный к его ногам, и, видимо, только известь, пропитавшая кости, спасла его от разрушения.

Я сумел преодолеть в душе первое и, вероятно, малообоснованное ощущение схожести общей картины с храмами коссов. Цель хроноскопии — раскрытие человече-

ских судеб, а кто мог поручиться, что судьба человека из хаирханской пещеры схожа с участью замурованных коссов?..

Сахаров вместе со своими помощниками принялся обследовать пещеру. Вскоре они обнаружили еще один ход, ведущий в глубину Хаирханского массива,— узкий и настолько низкий, что протиснуться в него можно было только в лежачем положении.

— Становится интересно,— заключил Сахаров.— Но не будем спешить. Впечатлений у нас вполне достаточно, и сначала нужно в них разобраться.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

преимущественно содержащая пересказ различных соображений насчет каменной бабы; кроме того, читатель сможет сделать не слишком оригинальное, но всегда полезное заключение о вредности поспешных суждений.

В своем повествовании я стремлюсь по возможности точно следовать за ходом событий, раздумий или переживаний, чтобы как можно меньше привносить в него художественного домысла. К этому меня побуждают две причины. Во-первых, я смотрю на свои записки прежде всего как на отчет о нашей деятельности, как на документ, содержащий точную справку о проделанной работе и даже о ходе работы. Во-вторых, я прекрасно сознаю, что многие наши заключения и выводы имеют если и не предварительный, то во всяком случае спорный характер. На абсолютную истину мы с Березкиным не претендуем, и тем более хочется нам сделать читателей как бы участниками наших расследований, имеющими безусловное право на самостоятельный анализ фактов. В конце рассказа о сломанных стрелах я это обстоятельство подчеркивал, но считаю небесполезным еще раз напомнить о нем.

В частности, я не случайно в предыдущей главе опустил описание каменной бабы: в глубине пещеры, в таинственном полумраке в моем сознании запечатлелась лишь общая картина, скорее даже не картина, а ее эмоциональное восприятие — этот самый полумрак, странно освещенный истукан, мое удивление, всплывшие в памяти

«земляиые люди», чувство разочарования... Но потом, когда мы вышли из пещеры и вернулись в лагерь, в созиаиии как бы проявились детали картины, и теперь я видел ее иначе.

Изваяние в хаирхаиской пещере достигало в высоту примерно двух метров: самый рослый из нас, Сахаров, лишь немногим уступал ему. Қамеиная баба в точиом смысле слова вовсе не была «бабой», хотя так приията иазывать все подобные статуи: в глубиие пещеры стоял на низком пьедестале высокий широкоплечий мужчииа с квадратиым приплюсиутым лицом. Резец скульптора лишь слабо обозначил его плотно прижатые к телу руки, хотя было заметио, что пальцы сжаты в кулаки, ио зато тщательио вырезал некоторые детали лица: выпуклые надбровья, близко посажеииые глаза, жесткую лииию рта. Голову камеиной бабы прикрывал спадающий иа плечи малахай, а иоги ее напоминали два коротких полустолбика.

Вечером мы, как водится, прииялись обсуждать свои первые впечатлеиия и припомииать все, что знали о камениых бабах.

Меия больше всего интересовали остаики человека, иайдеииые в пещере. Спелеологи же, наоборот, останкам придавали иебольшое зиачеиие и гордились находкой моиумеита. Я ие мешал рассуждать о ием, да и сам охотио участвовал в разговоре, потому что поиять судьбу человека, иавсегда оставшегося в пещере, можно было лишь в связи с изваянием, его назначеиием.

Могу сразу сказать, что, по единодушному иашему заключеиию (и впоследствии оио подтвердилось), находка в пещере ие отиосится к числу обычных. Но чтобы все стало ясио, иеобходимо хотя бы в иескольких словах объясиить, что имелось в виду под «обычными» находками изваяиий.

Моиумеиты, подобиые иашей камеииой бабе, вообще распространеиы широко. Встречаются они — и в довольио значительиом количестве — по всей степной полосе Евразии, но особенно миого их иа Алтае, в Моиголии, в Туве, в Хакассии, в Қазахстаие.

Совместными усилиями, помогая друг другу, мы припомиили, так сказать, типы, иа которые подразделяются учеными все известные камеииые бабы. Қ числу наиболее древиих отиосятся изваяния эпохи броизы, ииаче

говоря, сооруженные во втором тысячелетии до нашей эры. Найдены они на юге Красноярского края, то есть примерно в тех местах, где работали мы, но они совершенно нас не интересовали. Дело в том, что каменные бабы эпохи бронзы — это вовсе не фигуры людей, а саблевидные или сигарообразные столбы, испещренные изображениями небесных тел — звезд, Солнца, Луны, ниже которых обычно вырезалось стилизованное человеческое лицо.

Как видите, наша каменная баба не имела с ними ничего общего. Два других типа изваяний нам пришлось отбросить по географическим причинам: скифо-сарматские бабы известны лишь в причерноморских степях, а половецкие, наиболее поздние по времени,— в придонских, приднепровских, приволжских, то есть в Европе, а мы находились в самом центре Азиатского материка.

Иное дело каменные бабы тюркоязычных народов, населявших некогда Монголию, Туву, Алтай. Они имеют самое непосредственное отношение к нашей находке, и на них следует остановиться немножко подробнее.

Прежде всего о внешнем облике этих баб. Как и наше изваяние, они изображают мужчин, стоящих во весь рост или сидящих. Правда, последний случай не очень характерен: сидящие каменные бабы известны только в Монголии на могилах знати орхонских тюрок. Более распространены стоящие изваяния высотой от одного метра до трех, в головных уборах типа боевого шлема или малахая, с саблей на поясе и сосудом в руках. Ставились эти изваяния тоже на могилах и по замыслу должны были изображать покойного: лицу изваяния скульпторы всегда стремились придать портретное сходство с умершим.

По внешнему облику найденное нами изваяние не очень отличалось от широко распространенных каменных баб, и мы могли бы пренебречь некоторыми деталями (например, отсутствием сабли на поясе), если бы... Если бы нашли изваяние под открытым небом.

Но оно стояло в пещере, и не в первом, а во втором зале. Насколько мы могли судить, такие случаи еще не известны науке, и это заметно подогрело наш пыл, заставило с особым интересом отнестись к находке.

В самом деле, для чего и кем создано изваяние? Почему его запрятали в глубину пещеры? Может быть, прав увлекающийся Петя, и перед нами действительно некий

высокий символ?.. А может быть, прав осторожный, не любящий ничего усложнять Локтев, и мы столкнулись просто-напросто с особым случаем захоронения? Может быть, мы нашли могилу грозного военачальника прежних времен, которого похоронили с особой торжественностью в естественном каменном склепе?.. Разумеется, ни один из этих вариантов не исключался, но при желании каждый из нас мог предложить еще несколько объяснений, одинаково вероятных и... одинаково недоказуемых.

Березкин, принимавший активное участие в обсуждении, тоже не вспоминал о «земляных людях» — завтрашний день обещал нам приоткрыть тайну каменной бабы и, значит, погибшего в пещере человека.

— В одном лишь я твердо убежден,— как бы подводя итог спорам и разговорам, сказал Сахаров.— Сколько бы труда ни положили мы на расследование, даром он не пропадет.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой слово вновь предоставляется хроноскопу, а мы совместными усилиями восстанавливаем общую картину давно минувших событий.

Еще до завтрака мы с Березкиным ушли в пещеру, чтобы в спокойной обстановке продумать план дальнейшей работы.

Как обычно, многое мы могли представить себе и без помощи хроноскопа. Например, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что череп скелета носит следы сильного удара. И без электронной машины можно было вообразить, как нанесли роковой удар.

Каменную бабу древние скульпторы высекли из плотного мелкозернистого песчаника. Сначала они вырубили глыбу где-то на склоне горы, потом затащили в пещеру и придали ей вид монумента, видимо, соответствующий их понятиям о красоте, величии.

Так оно и было, конечно. Но внешняя достоверность не приближала нас к пониманию сути событий, не объясняла смысла человеческих поступков.

Впрочем, мы сразу же нашли особый объект для хроноскопии: большая берцовая кость на левой ноге ске-

лета хранила следы перелома. Значит, человек при жизни хромал.

— С хромоногого мы и начнем хроноскопию,— сказал я Березкину.

— Почему?

— Он в первую очередь интересует меня. Выясним, каким образом он покалечил себе ногу — в бою, или упал с коня, или оступился.

Березкин не ответил. Он стоял перед каменной бабой, в упор рассматривая ее, словно надеялся, что она сама приоткроет ему что-нибудь из собственного прошлого. Но черты плоского скуластого лица были слишком невыразительны, и никакая фантазия не могла оживить их. Наблюдая за Березкиным, я видел, что сегодня у него уже не такое приподнятое настроение, каким оно было вчера вечером.

— Противная штука,— сказал он о каменной бабе.— Неприятная какая-то...

— Не в ней же дело,— ответил я, хотя в душе целиком согласился с Березкиным в оценке бабы; удивительно, насколько зависит настроение человека от едва уловимых внешних обстоятельств.

Березкин, не говоря больше ни слова, вышел из пещеры.

В лагере вовсю пылал костер, казавшийся почти бесцветным в ярких солнечных лучах, стояли на углях два вскипевших чайника, и философ Петя, дежуривший в этот день, потребовал, чтобы мы немедленно явились к «столу» — плащ-палатке, на которой уже лежали консервированные походные яства.

Во время завтрака никто не докучал нам вопросами и тем более предложениями. Все понимали, что решающее слово должен сказать хроноскоп.

Березкин, поглощенный своими размышлениями, машинально сжевал бутерброд, выпил кружку крепкого горячего чая и сразу же ушел к хроноскопу. Пропускать начало хроноскопии никому не хотелось, и в результате чай остался недопитым, бутерброды и консервы — недоеденными, и Петя принялся торопливо сгребать посуду и складывать ее в большое эмалированное ведро: прежде чем присоединиться к нам, ему предстояло сбегать к Енисею и перемыть ее.

— По-моему, тебе незачем тащиться в пещеру,— ска-

зал мне Березкин, проверяя настроенность «электронного глаза».— Следи за экраном.

Березкин, на ходу расправляя провод, направился к пещере, и тут едва не случилось непоправимое. Увидев, что расследование начинается, Петя, погромыхивая сложенной в ведро посудой, рысью припустил к реке — под горку ему бежалось легко. Торопясь, он не заметил черного тонкого провода, зацепился за него и вырвал «электронный глаз» из рук Березкина. С ловкостью, уму непостижимой, Березкин сумел у самой земли поймать его и, прижимая к груди, медленно опустился на расцвеченный лишайниками валун. А в трех шагах от него, точно так же прижимая к груди ведро с грязной посудой, сидел на траве Петя. Оба испуганные, бледные, они молча смотрели друг на друга, а тонкие длинные пальцы Березкина механически поглаживали черный футляр «электронного глаза», будто он на ощупь старался определить, все ли цело внутри.

— Эх, ты, «суть эпохи»! — только и сказал Сахаров, проходя мимо окаменевшего Пети.

Сахаров хотел поднять Березкина, но тот встал сам и скрылся в пещере.

Глядя на пустой, не оживающий экран, я, как и все остальные, пережил несколько неприятных минут. Березкину требовалось время, чтобы еще раз оценить обстановку, настроиться, но встряска, полученная «электронным глазом», невольно наводила на невеселые размышления. К счастью, все обошлось благополучно — экран ожил.

Березкин не сказал мне, какое дал задание хроноскопу, но сам я полагал, что начнет он с хромоногого, и не ошибся. На экране возник коренастый колченогий человек монголоидного типа в одежде, сшитой из звериных шкур мехом внутрь. Я не антрополог, и мне трудно судить, имелись ли какие-нибудь признаки, отличающие его от современных жителей Центральной Азии. Вероятно, да, но и большое сходство не вызывало сомнений. Во всяком случае, мы единодушно решили, что хромоногий относился к одному из прототипов монголоидной расы, и на этом успокоились. Хромоногий вышагивал на экране, припадая на левую ногу, но особое внимание я обратил на его движения — быстрые, порывистые. Очевидно, при жизни он был очень подвижным, энергичным

человеком, с пылкнм, беспокойиым характером. Я хорошо запомннл его лицо — крупное, скуластое, с шнроко расставлеииыми узкими глазами, большим ртом, высоким лбом,— суровое лицо воина, ио ие только воина: было в ием что-то одухотвореииое, заставляющее подозревать в хромоиогом художннка, творца.

Вообще портрет хромоиогого отлнчался редкостиой полиотой и определенностью — ничего подобного мы ие видели иа экраие раньше (еслн ие считать хроноскопни мертвых коссов). По форме черепа, по лицевым костям хроиоскоп восстановил подлииный облик человека, подобио тому (ио с большей точностью) как это делают художникн-аитропологи.

Экран погас, но Березкнн почему-то ие вышел нз пещеры.

Вскоре экран опять посветлел. Странные, быстро сменяющнеся полосы зелеиоватых тонов заходили по нему, но нзображение ие появилось. Так продолжалось секуид двадцать, а затем экран вновь погас.

Заподозрив иеладиое, я побежал в пещеру.

Березкии как ни в чем не бывало стоял с «электроиным глазом» перед моиумеитом и рука его лежала иа крохотиом пульте: еще мгиовение — н импульсы пошли бы к хроноскопу.

Меия Березкин встретнл ие очеиь дружелюбно.

— По-моему, тебе положеио сидеть перед экраиом,— сказал ои.

— Да, ио экран...

— Что — экраи? — не виикая в смысл моих слов, перебил Березкнн.— Скажи лучше, отчего охромел твой герой?

— Видишь лн,— сказал я.— Ннчего такого иа экраие ие появилось.

— Ничего такого! Саблю от расщелииы можио же отличить!

— Поди и отличи. Что ты, право!

Теперь Березкии посмотрел иа меия вннмательнее н даже убрал руку с пульта.

— Я же ие про первую передачу говорю,— сказал он,— а про вторую.

— Из-за второй я и пришел. На экране ннчего не появилось.

— «Электронный глаз» работает! — предупреднл мон

сомнения Березкин.— Все в полной исправности. Хроноскопия берцовой кости должна была дать хоть какой-нибудь результат.

— Не спорю,— ответил я.— А давно ли ты перешел на поточный метод исследования? Второе задание ничего общего не имело с первым.

Березкин тихонько выругался.

— Все из-за Петьки,— сказал он.— Чертов сын! Так я из-за него перетрусил. Конечно, хроноскоп не мог выяснить причину перелома, если велено восстановить облик человека. Сперва я хотел спроецировать на экран изображение каменной бабы — это были бы однотипные задания, но вспомнил про ногу...

Березкин вернулся к хроноскопу вместе со мной. Не просматривая уже полученный портрет хромоногого, он сформулировал новое задание и опять скрылся в пещере.

Когда экран хроноскопа ожил, мы увидели нашего героя верхом на коне. Нет, он не гарцевал и не рубился с врагами — хроноскоп все рисовал скупее: просто на ногу нашему герою опустился острый продолговатый предмет — видимо, сабля противника. Любителям батальных сцен предлагалось самим дополнить живописными деталями сцену битвы. Мы же ограничились тем, что приняли к сведению первый достоверный факт из жизни хромоногого: хромота его — следствие раны, полученной в бою. С кем он сражался, мы узнать не могли. Из-за чего — тоже. С одинаковой степенью достоверности можно было допустить, что хромоногий пострадал или в грабительском набеге, или при защите владений своего племени. Так или иначе, но рану он получил, выполняя волю своего маленького народа.

Наше заключение вполне устроило и Березкина, которому пришлось еще раз выйти из пещеры, чтобы дать новое задание хроноскопу.

Я думал, что Березкин продолжит хроноскопию хромоногого, но он переключился на хроноскопию галереи, ведущей из первого зала пещеры во второй. Выбор объекта немного озадачил меня, но сейчас важнее было следить за экраном, чем размышлять о поступке Березкина.

Что происходило на экране, понимали все: люди, и среди них наш хромоногий, затаскивали в пещеру ту самую глыбу мелкозернистого песчаника, из которой потом вырубили каменную бабу. Ничего интересного не заме-

тнли мы и в том, как оин ее тащили. Я только обратил внимание, что люди ие очеиь-то церемонились с глыбой — ворочали как бог на душу положнт. Их движення были резкимн, угловатымн, я бы даже сказал — веселымн, словио этакая боевая ватага с шутками, прибауткамн, с дружным ухаиьем трудилась в темной, слабо освещениой факелами галерее.

Когда Березкии вериулся, я сказал ему, что он поступил нелогичио, прекратив хроноскопню остаиков хромоногого.

— Ладио, сейчас попробуем узнать, почему ои иавсегда остался в пещере,— согласнлся Березкии.— Кстати, хроиоскопни прндется подвергиуть и следы на полу — оии о миогом могут рассказать, хотя иа глаз трудио разлнчимы.

Люди, возинкшне на экране, действовалн медлеиио и торжествеиио. Камеииая баба была уже почти закончена, и иа экраие четко вырнсовывалась ее иескладиая широкая фигура. Но отделка, судя по всему, продолжалась. Ваятели, прежде чем приблизнться к скульптуре, совершалн какие-то непонятные двнження — очевидио, ритуальные. Угадывалось в этнх движениях что-то от преклонеиия и даже от подобострастия, словно ваятелн прииосилн извииеиня камеиной бабе за то, что осмелнвались прнкасаться к ней свонми резцами. Хроиоскоп подчеркивал эту черту упорио — иам даже иадоело смотреть на приплясывающне н расклаиивающиеся человеческие фнгурки.

Потом иа экране появился хромоиогий, н перед ннм, как перед мастером, все расступилнсь. Очень четко обозиачилось иа экраие его лицо — суровое и умиое. Хромоиогий по-прежиему держался иезависимо, двигался быстро и свободнс (я иевольио вспомиил, как тащили глыбу песчаннка по галерее). Без приплясываиия и поклонов он приблизнлся к монумеиту, но виезапио вздрогиул, как от сильного удара, покачиулся, зашатался и упал к подножию изваяиия. Слабая попытка подияться ни к чему ие привела, и хромоиогий иеподвижио застыл на сыром холодном полу ханрхаиской пещеры.

— Оскорбил чувства верующих,— торопливо сказал Петя, заглядывая мие в глаза; виднмо, ему не терпелось хоть чем-иибудь загладить свою вииу.— Пострадал за богохульство.

Петя выпрямился, для чего-то стряхнул с груди соринкн н торжествеино заключнл:

— Значит, у ног камеииой бабы лежит жертва религнозиого фанатизма!

— Илн нахал, который полез, куда его ие проснлн,— предположил Локтев.

А Сахаров молчал.

Я тоже не спешнл с выводамн, но высказанная Петей мысль, что в пещере мы обнаружнлн предмет поклонеиня, божество какого-то нсчезнувшего местного племени, показалась мне весьма правдоподобной.

Специально я ие изучал историю религиозиых обрядов, но думаю, что первымн храмами для верующих служнлн пещеры, подобные хаирханской. Лншь позднее сталн сооружаться нскусственные храмы — церкви, костелы, пагоды, монгольскне дасаны. Очевидио, нам и посчастливилось найтн одии нз первых храмов.

Березкнн, просмотрев все записаииое хроноскопом, с нашнм заключением согласнлся. Но когда спелеологн, довольные результатом хроноскопни, отправилнсь помогать Пете готовить обед, у иас с Березкнным состоялся краткнй разговор:

— По-твоему, все? — спросил Березкин.

— По-моему, иет,— ответил я.

Потом наступило долгое молчание. Как н мой друг, я поинмал, что мы, установнв виешний ход событий, не уловилн главного в поступках людей, ради которого только и стоило заииматься хроиоскопией моиумента. Но сформулировать это главное, чтобы сделать наше расследоваине целеустремленнее, ин мне, ни Березкину ие удавалось.

— Не зиаю, к чему это прнведет,— сказал иаконец Березкнн,— но можно попробовать проследнть весь процесс обработки глыбы песчаиика. Я нмею в виду не технологню, а самих людей, нх поведение, что ли.

— Но как ты объяснишь свой замысел хроиоскопу? Все-такн его возможиостн не безграннчиы. Даже если рассчитывать иа нстолковательиую фуикцию, все равио, пожалуй, не хватит материала.

Березкнн задумался, и я ие торопил его с ответом.

— Вндншь лн,— сказал он,— тщательность обработки различных частей камеииой бабы явио иеодииакова. Спииа, напрнмер, вытесана грубо. Лицо — значнтельио

тоньше. Не послужит ли это нам ключом? Иначе говоря, не сумеем ли мы подвергнуть раздельной хроноскопии начальную и завершающую стадии работы ваятелей?

Березкин сформулировал задание хроноскопу и ушел, а ко мне подсел Сахаров — как всегда, задумчивый и словно бы немножко грустный.

— Продолжим? — понимающе спросил он.

— Продолжим,— улыбнулся я.

Ждать нам пришлось недолго. По уговору, Березкин начал с хроноскопии небольшого пьедестала, на котором стояла каменная баба. Когда экран засветился, я увидел плохо обтесанную глыбу, поставленную на попа. Вокруг нее толпились невысокие коренастые люди, среди которых выделялся хромоногий. Ваятели работали весело, дружно, движения их были свободными и широкими. Судя по всему, они не церемонились с глыбой (как и в то время, когда тащили), уверенно стесывая все лишнее. На моих глазах бесформенная масса приобретала контуры человеческой фигуры — постепенно обозначились голова, плечи... Мне нравилось наблюдать за возникновением на экране каменной бабы, и я даже немножко отвлекся — не сразу заметил, что ваятели стали иначе вести себя. Нет, они еще не приплясывали и не раскланивались, но чем отчетливее обозначались на глыбе песчаника контуры их божества, тем плавнее и торжественнее становились движения людей, тем осторожнее прикасались они к изваянию. И только хромоногий вел себя так, будто по-прежнему перед ним была глыба песчаника, а не возникающее под его руками божество.

Экран погас, но почти сразу же засветился снова — Березкин перешел к хроноскопии тщательно обработанных деталей монумента. На экране изваяние выглядело почти законченным (примерно таким же, как в сцене убийства хромоногого), и люди, прежде чем подступиться к божеству, проделывали сложные ритуальные движения.

Вот, собственно, и все, что нам удалось выяснить. Смысл происшедшего прояснился и для нас с Березкиным, и для Сахарова. Но мы решили проконтролировать себя, ознакомив с результатами дополнительной хроноскопии остальных спелеологов и выслушав их мнение.

Почти готовый обед был немедленно снят с огня, и у хроноскопа собралась вся наша небольшая группа.

Березкии продемоистрировал все записи хроноскопа, за исключеиием тех, которые отиосились к одиому хромоиогому. Мы виовь увидели веселых и сильиых людей, протаскивающих по темиой пещериой галерее глыбу песчаиика, потом те же люди дружио и весело прииялись за обработку глыбы. Накоиец обычная работа смеиилась сложиым церемоииалом, и когда одии из ваятелей, хромоиогий, отказался выполиить его, сильиый удар по голове уложил иепокориого иа месте.

— Грустио,— сказал философ Петя и глубоко вздохиул.— Очеиь грустио. Сами сотворили себе божество и сами же стали расклаииваться перед иим, убивать за иепочтеиие лучших представителей своего иарода. Такова суть всех религий.— При слове «суть» Петя покосился иа Сахарова, ио у того ие было желаиия ироиизировать.— У поздиих религий, вроде христиаиства или мусульмаиства, все это затушеваио, а здесь так обиажеио...

Никто из иас ии слова ие добавил к выводу Пети — ои выразил иаше общее миеиие, и даже Локтев согласился с иим.

— Все уважают, и ты должеи,— сказал ои.— А ие будешь — вот так вот. Как еретика. Всегда так было.

ГОРДЫЙ ЗНАК

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой спелеологи находят в глубине Хаирханского массива следы неведомого человека, а мы со множеством приключений совершаем путешествие по сложной системе подземных галерей и залов.

Узкий проход, ведущий из второй пещеры в глубииу Хаирхаиского массива, ие давал покоя спелеологам: оии начали подготовку к подземиому путешествию сразу же после окоичаиия хроиоскопии камеииой бабы.

Техникой спуска в пещеру или пропасть мы с Березкииым совершеиио ие владели, иичем помочь своим товарищам не могли и потому со спокойиой совестью отправились иа Еиисей купаться и загорать. Испытывая некоторую утомлеииость, я бросился в холодиую воду, прошел кролем до островка, а потом иа берегу, чтобы согреться, проделал иесколько эиергичиых гимиастических упражиеиий. Березкии захватил с собой иа реку походиые шахматы, и остаток дия мы провели за игрой.

Раио утром иачался штурм пещеры. Коиечио, иам с Березкииым тоже очеиь хотелось побывать в подземелье, ио Сахаров вполие резоиио заявил, что мы успеем посетить пещеру и после того, как оии произведут разведку: брать же с собой иовичков слишком рисковаиио.

Все-таки мы пошли в пещеру, чтобы посмотреть, как спелеологи будут пролезать в узкую чериую щель. Вид этой щели вызывал у меия легкий озиоб — очеиь уж оиа казалась мрачиой, опасиой, и было такое ощущеиие, что спелеологи иепремеиио застряиут в ией. Мыслеиио я даже стал изобретать хитрые способы освобождеиия их из страшиого плеиа.

Но Сахаров и его товарищи придерживались иного мнеиия о лазе.

— Превосходиый лаз,— сказал Сахаров, после того как миуты три пролежал перед иим иа животе, подсвечивая себе фоиарем.— Можио даже ие раздеваться (я уже зиал, что в самые узкие и ковариые щели спелео-

логи пробираются голышом — одежда может зацепиться за неровную поверхность хода).

Широченные плечи Сахарова, его громоздкая сутуловатая фигура по-прежнему смущали меня. Я сравнивал саженный размах плеч с размерами лаза и почти не сомневался, что Сахарову придется дежурить в лагере вместе с нами. Я ошибся.

Вытянув вперед руки, Сахаров без особого труда протиснулся в щель. За ним последовали Петя и остальные спелеологи. Когда ноги замыкающего исчезли в черном ходе, мы с Березкиным вернулись к палаткам, где нас ждал Локтев, добровольно вызвавшийся дежурить в этот день.

— Ну как, погрузились? — спросил он.

Локтев ловко чистил большущую картофелину, которая почти скрывалась в его руках, и я смотрел на его руки, вдруг показавшиеся мне по-своему символическими. В каком-нибудь прошлом веке описание таких могучих, красноватых, с огрубевшими пальцами рук сразу же убедило бы читателя, что речь идет о пахаре или кузнеце, но никак не о работнике умственного труда. А теперь — теперь описание рук мало о чем может сказать...

— А вы почему в лагере остались? — спросил Березкин.

— Надо ж кому-то. Да меня и не шибко уговаривали — я тоже новичок. Правда, погружался с ними, да не понравилось. Не любитель я всяких погружений и углублений. Тьма там, не разберешь ничего. На свету лучше!

— Приехали все же,— удивился Березкин.

— Так, за компанию! И не жалею. Места новые поглядел. Сам-то я родом с Белого озера, из Белозерска. Слыхали?.. Вот — окаю все, никак отвыкнуть не могу. Все у нас там окают...

Время тянулось мучительно медленно. Наверное, потому, что чувство беспокойства за товарищей не покидало нас. Мы поглядывали то на солнце, то на часы, но солнце упорно висело на одном месте, а стрелки часов двигались, как говорится, в час по чайной ложке. Раза два мы возвращались в пещеру к каменной бабе и заглядывали в щель. Но там было тихо и пусто, словно никто и не проходил по ней.

Погода портилась — натягивало облака, и все чаще на Хаирхан ложились серые тени; несильный теплый ве-

тер налетал порывами, бросал в костер сухие кустики прошлогодней травы. А мы с Березкиным неожиданно загрустили. Самое это скверное — сидеть без дела, чувствовать себя лишним. Хорошо ли, плохо ли, но мы сделали на Хаирхане все, что смогли, а теперь — теперь уже никто не нуждался в нашей помощи. Минет еще один день, и мы навсегда расстанемся с Хаирханом, с отважными покорителями пещер...

Спелеологи вернулись часов через пять — перепачканные глиной, уставшие, но довольные сверх всякой меры.

Философ Петя еще издали закричал, что в пещере найдены следы человека, и Сахаров подтвердил, что следы совершенно замечательные. Но мы уже не раз находили их в хаирханских пещерах, и теперь никак не могли уразуметь, чем вызван столь бурный восторг спелеологов.

— Вот такие следы! — дивясь нашей непонятливости, воскликнул Петя и, энергично топнув, указал на отпечаток ботинка.

— Следы ботинок? — в свою очередь изумились мы.— Значит, вас опередили?

— Босых ног, конечно! — Петя мученически возвел глаза к небу.

Судя по его виду, на него отпечатки ног в пещере произвели неизмеримо более сильное впечатление, чем на Робинзона следы Пятницы. Он едва справлялся с переполнявшими его чувствами, жестикулировал и, казалось, готов был сию же минуту увлечь нас в подземелье.

Но Сахаров распорядился идти на Енисей — мыться. Мы пошли вместе со спелеологами, слушая их сбивчивые рассказы. Теперь в них фигурировали не только следы, но и отвесные пропасти, и зал необычайной красоты, и подземное озеро, и заполненный водой сифон, и леса из сталагмитов.

— А следы босых ног,— сказал Сахаров,— вам лучше посмотреть самим, не очень доверяя нашим описаниям.

Ночью лил дождь и где-то стороной шла гроза. Я долго не спал. Рассказ о следах произвел на меня неожиданно сильное впечатление. Думалось о множестве людей, живших до нас, о множестве человеческих судеб. Никто не проходит по земле бесследно, каждый что-то остав-

ляет после себя. Но как быстро новые поколения, словно на большой дороге, затаптывают, стирают следы прошедших до них, как быстро забываются люди, жившие еще совсем недавно! Славен человек, сберегающий от тлена имена и дела предков. Пусть не будут приняты мои слова за нескромность: да, после изобретения хроноскопа мы с Березкиным все время идем по следам людей и познали особое счастье — счастье воскрешения забытых. Но, право же, сделано так мало, что говорить о сделанном можно лишь вот в такой — общей форме.

До сих пор мы имели дело, так сказать, со следами в широком смысле слова: с какими-либо материальными остатками или письменными документами. И вдруг следы в буквальном смысле, следы босых ног. Прислушиваясь к далекому погромыхиванию, к монотонной дроби дождя, я пытался представить себе, что смогут рассказать нам чудом сохранившиеся отпечатки. Да ничего, наверное. Или очень немного, что-нибудь внешнее: ребенок или взрослый побывал в пещере, мужчина или женщина, низкий или высокий, хромал он или не хромал, торопился или шел медленно. А судьба его — разве восстановишь судьбу по отпечаткам ступней?

Проснулся я в смутном настроении: и хотелось посмотреть следы, и горько было заранее сознавать свою беспомощность. Я поделился своими размышлениями с Березкиным, но тот, прекрасно выспавшийся, бодрый, ответил лишь недоуменным пожатием плеч: зачем опережать события?!

Впрочем, вскоре Сахаров положил конец моим затянувшимся раздумьям. Он поинтересовался, хорошо ли мы плаваем и ныряем, но на слово не поверил.

— Придется проверить,— заключил Сахаров.— Идемте на Енисей.

День выдался скверный, холодный; дождь то стихал, то вновь принимался моросить, и лезть в такую погоду в реку никому не хотелось. Кроме того, у меня ни с того ни с сего начался насморк, и чувствовал я себя средне. Но экзамен мы выдержали.

Кроме Сахарова, сопровождать нас в подземном путешествии вызвался Петя.

Мы надели легкие, но прочные и теплые комбинезоны, Петя прихватил с собой фотоаппарат, и все мы вновь очутились у черной щели.

Как и прошлый раз, первым исчез в ней Сахаров, велев мне лезть за ним. Выждав, пока ботинки Сахарова удалятся на почтительное расстояние (у меня на шлеме был укреплен отлично светивший фонарь), я тоже протиснулся в щель, и, работая руками, извиваясь всем телом, медленно начал продвигаться вперед. В пещерах всегда нежарко, но по этому ходу тянул такой противный ледяной сквозняк, что в пору было лязгать зубами. Полз я довольно успешно, но все никак не мог приноровиться правильно держать голову и стукался затылком о выступы. С непривычки быстро начали уставать руки, и, наверное, я замедлил продвижение, потому что сзади послышалось сопение Березкина.

Длинным ли, коротким ли был проход, не знаю, но когда он кончился, я очутился в обширном зале рядом с Сахаровым. Он легонько пододвинул меня к стенке и велел не двигаться.

— Рядом пропасть,— предупредил он.— Отсюда начнем спуск. А в зале нет ничего примечательного, можете мне поверить.

При слове «пропасть», произнесенном в столь непривычной обстановке, я тотчас вообразил себя висящим на веревке над бездной. Успокоила меня забавная мысль: я подумал, что уж если наш босоногий предок благополучно прошел здесь, то и мы пройдем. Если бы я заранее знал, что предок проник в пещеру совсем другим путем, мне было бы гораздо труднее преодолевать различные преграды.

Пропасть в действительности оказалась не такой уж страшной: мы спустились по укрепленной еще в прошлый раз веревочной лестнице метров на пять-шесть, миновали короткую галерею и вновь попали в обширный зал. Я направил луч света сперва вдоль стены, а потом в центр зала; он не достиг противоположной стены и повис в воздухе. Чуть наклонив луч, я увидел обширный и, очевидно, глубокий колодец.

— Озеро,— сказал Сахаров.— Вода такая спокойная и прозрачная, что ее почти незаметно. Дальше дороги нет. Придется раздеваться.

Мы покорно сняли комбинезоны, но как не хотелось мне лезть в эту спокойную прозрачную воду! Она была так холодна, что о купании в Енисее я вспоминал, как о теплой ванне! И потом, пока я плыл, мне все время ка-

залось, что вода почти не держнт меня и я вот-вот пойду ко диу.

Вылезая на берег, я ободрал руку об острый выступ известняка, н царапниы на некоторое время отвлеклн меня от иевеселых размышлений.

По дну следующей галереи протекал ручей, начннавшнйся нз озера. Мы шли по его руслу, и я посвечивал на воду, надеясь разглядеть что-нибудь нитересиое на дне, ио безуспешио.

— Скоро будут следы? — не выдержав, спроснл я у Сахарова.

— Терпение, мой друг, терпенне,— последовал весьма обнадежнвающнй ответ.

Неожндаиио галерея разделнлась, но мы продолжалн ндтн вдоль ручья. Ои становнлся все глубже: наверное, в него впадалн не замеченные нами прнтокн, а потолок галерен настойчнво сиижался. Несколько минут мы шлн согиувшись, ио потом галерея замкнулась — поток нсчез, а хода дальше не было.

— Снфон. Самый трудный участок,— объявнл нам Сахаров.— Придется нырять. Дальше сиова можио идти во весь рост, и мы попадем в красивейший зал хаирханской пещеры. Уверен, вы ннкогда ие вндели ничего подобного!

Там, на поверхиостн, мие представлялось чрезвычайно заманчивым посетнть прекрасный подземный дворец, но здесь... Впрочем, впереди меня ждалн еще загадочные следы, и, значит, ие было дорогн назад.

— Проплыть иужио метров пять,— продолжал Сахаров.— Плывите, цепляясь рукамн за потолок. Так удобнее.

Сахаров уже прнготовился ыыриуть, но Петя остановил его.

— По-моему, снльио прнбыла вода,— сказал ои.— Боюсь, что плыть придется все десять метров.

— Я давио заметнл это,— ответил Сахаров,— дождь случился иекстатн. Но ие возвращаться же!

Сахаров пригнулся — и пропал.

Я сделал глубокий выдох, потом вдох и нырнул. В ледяной воде ыырять неизмеримо труднее, чем в теплой,— сжнмает легкне и не хватает воздуха,— спешил я отчаянио. Пяти нлн десятн метров достнгал в длнну снфои — определить под водой да еще в темноте было

невозможно. Крепкие руки Сахарова схватили меня за плечи, прежде чем я вынырнул на поверхность.

— Как видите, все очень просто,— сказал он.

Я кивнул, но подумал, что если просто мне, то каково пришлось первому проникшему сюда?

Потом я весьма некстати чихнул, и как бы в ответ на это до слуха нашего донесся странный звук — словно кто-то огромный и очень недовольный нашим визитом тяжко вздохнул в глубине пещеры.

«Обвал!» — мелькнула мысль.

Я невольно сделал движение в сторону сифона, но вовремя взял себя в руки.

Сахаров напряженно прислушивался, но в пещере все стихло.

— Уж не почудилось ли? — спросил он.

Мокрая голова Березкина появилась рядом со мной, и раскрытый рот его жадно глотнул воздух.

— Бр-р,— сказал Березкин.— Ну и ну!

Почти тотчас вынырнул и Петя. Он выглядел значительно бодрее моего друга.

И опять послышался тяжкий вздох в глубине пещеры.

Петя легонько подпрыгнул и замер на месте, а я именно в этот момент подумал, что мы совершенно напрасно забрались сюда, потому что затащить «электронный глаз» так далеко в пещеру все равно не удастся. Следовательно, хроноскопия отпечатков босых ног исключалась.

— Н-не понимаю,— признался Петя.— Н-ничего не понимаю. Прошлый раз никто не вздыхал.

— Обвал,— сказал я.— Не завалило бы обратный путь.

— Тьфу ты, нечистая сила! — тихонько выругался Сахаров.— Чего только не встретишь под землей.

И вновь послышался вздох.

Сахаров двинулся вперед, и мы гуськом поплелись следом, стараясь держаться поближе друг к другу.

Чем дальше мы шли, тем громче становились вздохи, и каждый раз я невольно пригибался, будто это могло спасти меня при обвале.

— П-перестань чихать,— весьма категорически предложил мне Березкин, и я понял, что в его представлении мое чихание и пещерные вздохи — нечто взаимосвязанное, и Березкина не устраивает мое поведение.

Наконец под лучами наших фонарей заиграл, засеребрился подземный зал. Белые, под мрамор, колонны, разбросанные беспорядочно, как деревья в лесу, держали на себе высокий, со своеобразными лепными украшениями потолок — это свешивались, подобно сосулькам, сталактиты: и едва начавшие расти, и уже длинные и острые, как иглы. Пол пещерного зала, к сожалению, даже отдаленно не напоминал паркетный: твердые бугры сталагмитов чрезвычайно затрудняли продвижение, а громкие близкие вздохи, мягко выражаясь, мешали нам сосредоточиться, чтобы в полной мере оценить почти фантастическую, совершенную красоту подземного мира.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

в которой мы выясняем причину странных звуков в подземелье, а также изучаем следы нашего далекого босоногого предка.

Сахаров все-таки заставил нас пройтись по всем закоулкам зала, а потом решительно направился к галерее, ведущей в зал со следами.

Он заметно отличался от предыдущего — ни гирлянд сталактитов, ни поросли сталагмитов, ни колонн. Не сговариваясь, мы направили лучи фонарей в ту сторону, откуда доносились вздохи. Некоторое время стояла полная тишина, а потом снова протяжно загудело, и по залу пронесся легкий ветерок. Я совершенно отчетливо почувствовал, как зашевелились на голове мокрые волосы.

— Следы — вдоль противоположной стены,— сказал Сахаров.— Надо обойти их так, чтобы не попортить.

С этими словами он двинулся по направлению к тому, что вздыхало, обдавая нас холодным ветром.

Фонари наши энергично шарили по стене, потолку, полу, но обнаружили мы лишь узкую щель. Из нее-то и вырвался сначала холодный ветерок, а потом тяжкий вздох.

Сахаров просунул голову в щель и надолго застыл в неподвижной позе. Лишь после следующего вздоха он вылез обратно.

— Так и знал,— объявил Сахаров.— Пульсирующий источник. Вода врывается в небольшую полость, сжимает воздух, а он с шумом выходит через щель.

— Да, но прошлый раз...— начал Петя.

— Прошлый раз был ниже уровень воды. Вспомни-ка про дождь — он поднял грунтовые воды.

В конце концов ко всякому холоду можно привыкнуть, и в этом зале я перестал дрожать. После Сахарова мы все по очереди полюбовались пульсирующим источником и вспомнили о следах.

— Да вот они! — воскликнул Петя, направивший луч фонаря себе под ноги.— Чудом их не затоптали.

У самой щели на глинистом полу пещеры виднелись два четких глубоких отпечатка босых ног — больших, широких, расплющенных от постоянного хождения босиком.

Сахаров решительно отстранил нас.

— Сначала сфотографируем их, а потом уж будем осматривать,— категорически заявил он.

Никто не возразил против разумного предложения, и фотовспышки впервые озарили своды мрачного подземелья.

Петя проявил себя чрезвычайно старательным и терпеливым фотографом, и магний вспыхивал не менее двадцати раз. Но всему есть предел, и Петя наконец предоставил нам свободу действий.

Собственно, претендовать на роль следопыта ни я, ни Березкин не имели никаких серьезных оснований: читать следы нам пришлось впервые в жизни. И если бы роспись, оставленная на глиняном полу несколько тысячелетий назад нашим неведомым предком, не оказалась предельно ясной, мы, безусловно, потерпели бы поражение. Но о событиях, происшедших в пещере, просто не могло быть двух разных мнений.

Прежде всего необходимо сказать, что, судя по величине отпечатков и размаху шагов, в пещере, бесспорно, побывал взрослый мужчина. Следы начинались у стены, в которой мы сперва не заметили никаких проходов или щелей. Но Сахаров повел фонарем вверх, и там, на высоте около двух с половиной метров, обнаружилось отверстие.

— Он спрыгнул оттуда,— сказал Сахаров.

Отпечатки ног под отверстием убедительно свидетельствовали об этом: человек ловко спрыгнул с большой высоты на носки и лишь слегка коснулся пола руками...

По следам мы установили, что он побывал в пещере

дважды. В первый раз прошел примерно половину пути от стены к щели с пульсирующим источником, а во второй — дошел до нее. Сравнение следов и приоткрыло нам смысл происходившего.

Впервые проникнув в пещеру, человек осторожно, на цыпочках двинулся вперед, освещая себе дорогу факелом (на полу сохранились черные крошки угля). Шел он медленно, с остановками — очевидно, вслушивался, вглядывался в полумрак. И вдруг, чем-то испуганный, резко повернулся, сделал огромный скачок в обратном направлении и убежал из пещеры.

Много ли, мало ли времени минуло после закончившегося паническим бегством посещения — мы определить не могли, но все-таки человек вернулся в пещеру. Теперь он ступал смелее и тверже, на всю ступню и, подойдя к щели, долго стоял перед ней. Потом ушел — ушел спокойно и уже больше не возвращался в пещеру.

Изучая следы, мы провели в почти неподвижном состоянии, наверное, около получаса и замерзли зверски.

Пока я не без грусти рисовал себе долгий обратный путь к теплу, Сахаров и Петя изучали ход, по которому проникал в пещеру наш босоногий предок.

— Здорово из него ветерком тянет,— сказал Петя.

Сахаров согласился с Петей и предложил невероятное:

— Давайте осмотрим ход. Не откладывать же вторично!

Увы, спелеологи сразу же забыли о нас, туристах, и о своей миссии проводников.

Петя первым ловко вскарабкался по стене и исчез в проходе.

— Давайте-ка быстрее,— мрачно сказал нам Сахаров.— Не задерживайте.

Вероятно, Березкин вполне сознавал безвыходность положения, и это придало ему ловкости. Не так легко, как Петя, но все-таки он тоже вскарабкался по стене и скрылся. Луч света беспощадно приказывал сделать то же и мне.

К великому моему удовольствию, проход, в который мы попали, оказался коротким, следующие два зала — совсем небольшими, а когда, миновав галерею, мы вышли в третий, то увидели слабый дневной свет. Петя и Березкин уже трудились возле неширокой щели, ста-

раясь расчистить ее. Это им удалось, и Березкин, издав победный клич, выскочил наружу. Петя замешкался, и я, весьма решительно отстранив его, вылез следом.

Погода разгулялась. Все четверо мы прыгали от радости, что вновь очутились под голубым небом и жарким солнцем.

Способность к самокритике первым обрел Березкин. Он посмотрел сначала на себя, потом на нас и захохотал — безудержно, громко. Полуголые, грязные, замерзшие, мы действительно были похожи на сказочных выходцев из подземного царства.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

содержащая рассуждения о первоисследователе пещеры, а также некоторые подробности о последнем зале и о нашем последнем открытии — серии малопонятных настенных рисунков.

Одежда наша осталась на берегу подземного озера (ведь мы собирались возвращаться прежней дорогой), но Сахаров и Петя признались, что замерзли и устали и не испытывают ни малейшего желания снова спускаться под землю. Я выслушал это признание с откровенным удовольствием: значит, и отчаянным спелеологам не так уж весело было в пещере!

Узкий, почти совершенно скрытый кустами вход в пещеру находился как раз напротив меня. Разглядывая его, я подумал, что раньше пещера, безусловно, служила прекрасным убежищем для людей, убежищем, почти недоступным для многочисленных врагов. И первоисследователь пещеры, тот, кто проник к пульсирующему источнику бог весть сколько тысячелетий или столетий тому назад,— он тоже, наверное, был из числа обитателей пещеры. Но зачем потребовалось ему забираться в глубь нее? Неужели он отправился выяснять причину таинственных вздохов?

— Это единственное правдоподобное объяснение,— ответил на поставленный мной вопрос Петя.— И, значит, предок наш был на редкость отважным человеком. Мы, образованные люди, и то не очень хорошо чувствовали себя, пока не установили причину вздохов. А несколько тысячелетий назад наши предки верили в духов,

в нечистую силу, правда ведь? Значит, то был действительно отважный человек. Герой!

— В первый-то раз он все-таки удрал из пещеры,— сказал Березкин.

— Зато во второй — подошел к источнику!

— Потому, наверное, подошел, что уровень воды понизился и пещера молчала.

— Так и было, наверное,— ответил за Петю Сахаров.— И все же смелости его можно позавидовать...

Мы долго молчали, и каждый, должно быть, мысленно пытался представить себе босоногого исследователя. Потом Сахаров сказал:

— Нужно повнимательнее осмотреть последний зал.— Помедлив, он добавил: — Только не сегодня.

— Почему не сегодня? — удивился Петя.— Пойдемте сейчас и осмотрим.

Единодушное молчание прояснило Пете наши подлинные чувства.

— Ладно уж,— сжалился он.— Один схожу.

Петя пропадал в пещере минут пятнадцать-двадцать, потом боком вылез наружу и побежал к нам.

— Вот, нагрелись на солнце, так в пещере хоть караул кричи,— пожаловался он.— Мороз хуже, чем в Антарктиде.

Петя лег на свое прежнее место и принялся отчаянно дрожать, шепча про себя сердитые слова.

Мы сочувственно поглядывали на него.

— Ничего интересного? — на всякий случай спросил я, когда Петя немножко пришел в себя.

— Да так,— ответил он.— Есть на стене какой-то рисунок...

Подчеркнуто безразличный тон выдал Петю: как видно, ему очень хотелось нас поразить, и в этом он преуспел.

Менее чем через минуту мы все уже стояли в пещере, изучая рисунок, сделанный кремневым резцом и охряной краской.

Вернее, на стене было несколько рисунков, помещенных последовательно один за другим.

Левый рисунок изображал двух людей. Крайний из них, с которого начиналась пиктограмма, стоял прямо и твердо. Слегка откинутая назад голова его была украшена высокой шапкой из рыжеватых птичьих перьев, а у

ног помещен какой-то круглый предмет. Второй человек, обращенный лицом к первому, выглядел иначе: низко опущенная голова, подогнутые колени — человек словно едва держался на ногах. Далее, немного правее, художник изобразил двух людей в гордых позах — они стояли друг против друга, будто бросая вызов. В последней серии рисунков вновь фигурировали два человека, но нарисованы они были совершенно по-разному. Один из них, в рыжей четырехугольной маске, имевшей форму трапеции, сидел, поджав под себя ноги, в центре круга, образованного какими-то небольшими предметами. А второй как бы пытался ворваться в этот магический круг; в позе его угадывались решимость, напряженность.

— Все-таки будет на сегодня,— не выдержал Березкин.— Если рисунки ждали нас несколько тысячелетий, то подождут еще один день. И Вербинин, боюсь, разболеется.

Только услышав последние слова, я обнаружил два странных факта. Во-первых, у меня кончился насморк и я чувствовал себя совершенно здоровым. А во-вторых, ссадины, полученные при переправе, уже затянулись новой кожей и почти зажили. Я молча показал свою руку Сахарову, а потом все посмотрели на мой нос.

— Замечательно,— сказал Сахаров.— Пещеры способны врачевать, оздоравливать жизнь! Как вам нравится такой парадокс?.. Но, кстати, ничего удивительного. Это далеко не первый случай, и когда-нибудь я расскажу вам обо всем поподробнее. Видимо, целебные свойства некоторых пещер объясняются их легкой радиоактивностью, а может быть, какими-то еще неизвестными примесями в подземной атмосфере... Так что пещерные здравницы — не пустая фантазия!..

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,

заключительная, в которой содержится рассказ о новом — увы, малоудачном хроноскопическом опыте, а мы опять вспоминаем о босоногом первоисследователе пещеры.

В тот же день лагерь наш еще раз переехал на новое место. Правда, спелеологи довольно долго спорили, откуда удобнее продолжать исследование пещер, и кое-кто

предлагал не отступать от выработанного маршрута. Но мы с Березкиным не могли впустую тратить время, сидя без дела, и спелеологи учли наши интересы.

Заниматься хроноскопией следов, оставленных пещерным человеком, смысла не имело, и мы решили ограничиться анализом настенных рисунков. Правда, и Березкин и я готовились к предстоящему расследованию без особого рвения — видимо, сказывались и усталость и некоторое пресыщение открытиями (увы, бывает и такое). И потом нам думалось, что в данном случае важнее любого хитрого аппарата был бы опытный человеческий глаз — глаз археолога-специалиста. Рисунки нуждались в датировке, в сравнении с другими наскальными изображениями, и тут хроноскоп ничем не мог помочь. Наше дело — люди, их судьбы, их радости и трагедии. Я ничуть не сомневался, что отважный первоисследователь пещеры был человеком исключительной судьбы, храбрецом, дерзким мыслителем. Но мы прочитали лишь один эпизод из его жизни, и ничего больше не сумеем узнать.

Наши сомнения в какой-то степени разделяли Сахаров и Петя.

Утром мы рассмотрели рисунки более внимательно, не спеша, и тщательно сфотографировали. Помимо рисунков, неподалеку от них мы обнаружили в пещере непонятные значки, похожие на строки, написанные на неведомом языке забытыми письменами. Подобные значки, так называемые гриффити, по мнению ученых, наносились колдунами с магическими целями, и расшифровать их, строго говоря, невозможно. Мы сами убедились в этом, после того как хроноскоп не смог ни истолковать, ни проиллюстрировать их.

Но находка гриффити сослужила полезную службу — они окончательно убедили нас, что рисунки имеют непосредственное отношение к древней магии, к колдовству. Я пишу «окончательно» потому, что мы еще раньше заподозрили это. При внимательном осмотре выяснилось, что у ног человека в шапке из птичьих перьев лежал бубен, а круг, в котором сидел человек в маске, был образован изображениями солнца, месяца, звезд, рыб, оленей, то есть предметами, так или иначе связанными с заклинаниями. Поэтому человека в маске мы в дальнейшем стали называть колдуном, а вот, как назвать второго человека — долго не могли решить.

У меня сложилось впечатление, что человек в маске и человек в шапке из птичьих перьев — это, если позволительно так сказать, одно и то же историческое лицо. Мне думалось, что художник изобразил властителя племени, опытного колдуна, против которого восстал другой колдун, попытавшийся лишить его власти. Рисунок человека с опущенными плечами и головой как бы напоминал, что ранее он подчинялся колдуну, потом восстал против него и наконец... К сожалению, насчет конца у нас не сложилось общего мнения. Трапециеподобная маска скрывала лицо, и решить, молодой или старый колдун сидит в центре магического круга, было невозможно. Я полагал, что это старый колдун, сумевший победить самоуверенного молодца, а романтически настроенный Петя считал, что «переворот» удался и свергнутый колдун делает отчаянную попытку вернуть себе знаки отличия и прежнюю власть...

Очевидно, спор в таком духе мог продолжаться неограниченное время. Бесплодный сам по себе, он, однако, расшевелил меня и Березкина, и у нас возникло смутное, но радостно волнующее ощущение предстоящего открытия. Мы предвидели нечто оригинальное, отражающее неповторимое своеобразие бесчисленных племен и народов, прошедших и идущих по земле, и одновременно таящее в себе нечто общечеловеческое, нечто важное всегда и для всех...

Не откладывая, мы приступили к хроноскопии.

Осложнения начались сразу же — и там, где мы их менее всего ожидали.

По обыкновению Березкин сформулировал задание, поручив хроноскопу последовательно истолковывать рисунки.

Начали мы, естественно, с колдуна и склонившегося перед ним человека, но на экране так и не появилось изображение, хотя хроноскоп работал и настойчиво пытался проиллюстрировать рисунки — по экрану снизу вверх непрерывно шли зеленоватые волны.

Обеспокоенный Березкин на всякий случай проверил исправность аппарата, еще раз уточнил задание, но ничего не добился.

Спелеологи, не менее нас удивленные странным поведением хроноскопа, всячески старались помочь советами и гораздо больше мешали, чем помогали.

— Лезли бы вы в пещеру,— не очень любезно посоветовал Березкин Сахарову.— Время же зря теряете.

Сахаров не обиделся. Через полчаса, снаряженные по-боевому, спелеологи ушли в пещеру. Только Локтев, вновь вызвавшийся дежурить, да Петя Скворушкин не пошли с ними: Петя выпросил разрешение остаться, клятвенно пообещав ни во что не вмешиваться.

Но обещания он, разумеется, не выполнил.

— Может быть, со вторым рисунком помудрить? — спросил Петя, робко посматривая на мрачного Березкина.

— Это не решение проблемы,— ответил Березкин, уже успевший продумать предложенный Петей вариант.— Ничего это не даст.

— Но если попытаться? — настаивал Петя.— Потерять — мы тоже ничего не потеряем...

Березкин уступил и, к сожалению, оказался прав.

На экране появились две условные человеческие фигуры, но созерцание их не приблизило нас к пониманию смысла рисунков.

— А последние? — не унимался Петя.— Давайте и последние рисунки подвергнем хроноскопии.

— Заранее можно сказать, что получится,— ответил Березкин.— Увидим двух человек — сидящего и стоящего. Вот и все.

Березкин не ошибся: на экране лишь спроецировались настенные рисунки.

— Наверное, рисунки вообще не поддаются расшифровке,— высказал предположение Березкин.— Почему мы решили, что они — запись какой-нибудь мысли или события? Сами себе усложняем работу.

— Вот и правильно, не надо усложнять,— поддержал Локтев Березкина.— Чем проще, тем лучше.

Но несколько рисунков, расположенных в определенной последовательности, все-таки должны были иметь смысл...

— А если раздвинуть рамки хроноскопии? — вмешался я.— Попробуй уточнить обстановку, в которой создавались рисунки.

— На художника взглянуть захотелось? — съязвил Березкин.— Взглянуть — просто, да что толку?

Художник, как уже не раз бывало раньше, тотчас появился на экране. Маленький худой человечек, если верить хроноскопу, работал торопливо, нервно, словно кто-

то грозный, страшный стоял у него за спиной. Мы пристально всматривались в его двнжеиия, часто неверные, иастойчнво пытаясь подметить хоть что-иибудь, что могло бы послужить нам путеводной нитью.

— Художник выполияет заказ нового или старого владыки,— сказал Березкин,— и трепещет перед иим, боится его. Все ясно, да нам от этого не легче.

Мы не поленились вновь тщательно изучить пещеру, н Петя обратил внимание иа едва заметные темные пятна на ее своде. Хроноскопия показала, что это — следы факельной копоти.

Итак, когда художник выполнял на стене иепонятный рисуиок, за спиной его, вероятио, стояли ие только колдун-властелин, но и все иебольшое племя, и люди держали в руках факелы из смолистых ветвей. Если так — значит, племя уже перешло на сторону победителя.

Березкин выключил хроноскоп и устало растяиулся на жесткой пожелтевшей траве.

— Может, в шахматы сразимся? — предложнл он мне; я всегда проигрывал Березкину, н порой он любил поразвлечься таким образом. На этот раз вызов принял Петя. Они с Березкиным склонились над шахматной доской, а я решил еще раз отправиться в пещеру.

Вид чериого выхода напомнил мне о вчерашних приключеииях, о зале со следами, о нашем босоногом предке, древнем обитателе пещеры. «А вдруг художник при нем высекал настеиный рисунок?» Мысль эта мне самому показалась абсолютно бездоказательной, но заставила еще раз подойти к рисунку. Я долго рассматривал его, а когда вышел к палаткам, попросил Березкина включить хроноскоп и настроить его на истолкование рисунков.

Не могу объяснить почему, но мне пришло в голову повестн хроиоскопию в обратном порядке, то есть ие слева направо, а справа налево: древний художник мог записать мысль иначе, чем делаем это сейчас мы.

Последовательно, с помощью «электронного глаза», передав весь материал хроноскопу, я выбрался из пещеры и увидел, что Березкин и Петя, забыв про шахматы, сидят перед экраном.

— Мысль тебе пришла неплохая,— сказал Березкин.— Но опять все кончилось чепухой. Полюбуйся.

Березкин переключил хроноскоп. Перед моими гла-

замн вознник сначала колдуи, сндящий в кольце нз магических знаков, а затем рвущийся к нему в центр круга другой человек. Потом колдун н его противник, готовясь к решающей схватке, встали лицом к лицу. А дальше — дальше произошло загадочное: вместо гордо стоящего рядом с бубном колдуна в шапке из охряиых птичьих перьев н его согбеииого побежденного протнвника на экраие хроноскопа появнлнсь два отчетливых знака — восклнцательный н вопроснтельный.

— Страино,— только и сказал я.— Прн чем тут знакн препинаиия? И вообще, какая может быть связь между современной пнсьменностью и взанмоотиошениямн людей далекого прошлого? Хроноскоп что-то путает. Попытайся уточннть заданйе нлн иначе сформулировать его.

Березкин не полеиился н долго возился с хроноскопом. Но все стараиия его пошли прахом: на экране попрежнему возникали два знака — восклнцательный н вопросительный.

Как ни очевидно было заблуждение хроноскопа, ио размышления нашн невольно приияли ниое направление.

— А вдруг не чепуха? — сам себе возразил Березкин.— Вдруг так и надо? В нстории человечества рисуночное письмо предшествовало буквенному. Почему нельзя допустить, что прямая человеческая фигура постепенно превратилась в восклнцательный знак, а согнутая — в вопроснтельный?

— Допустнть можно,— ответил я.— Но приблнзит лн это нас к понимаю событнй, происшедших в пещере?

— Послушайте,— перебнл Петя.— По-моему, только одни из этнх людей колдуи. Тот, который прямой, как восклнцательный знак. А второй — он, наверное, простой смертный, но что-то ему не понравилось в колдуне.

— Борьба, пожалуй, шла не за власть,— уточнил я.— По крайней мере, второй добивался не властн. Скорее всего он усомнился во власти колдуна над солнцем, звездами, луной.

Высказав свою мысль, я тотчас вспомнил о босоногом человеке, задолго до нас проникшем к пульсирующему источнику, н неожиданно понял, что рисунок мог иметь самое непосредственное отношение к его судьбе.

— Давайте постараемся представнть себе небольшое племя первобытных людей, обитающее в пещере,— осторожно сказал я.— Тогда все свято верили, что колдунам

доступно общение с потусторонним миром, с духами — добрыми и злыми, помогающими на охоте или мешающими, насылающими болезни или избавляющими от них. Это общее положение, верное для всех племен той эпохи. Но если приложить его к конкретному случаю, рассмотреть применительно к хаирханской пещере... Не кажется ли вам, что хаирханский колдун располагал некоторыми особыми доказательствами своего могущества?

— Ты имеешь в виду вздохи в глубине пещеры? — спросил Березкин.

— Да. И ее целительные свойства. Если после колдовских заклинаний пещера молчала — значит, духи отказываются помогать племени или больному, и нужно выждать. Если слышались вздохи — значит, покровители племени вняли мольбам колдуна. Примерно такую мысль мог он внушить своим соплеменникам. А главное, очень уж очевидным было доказательство его могущества: гора, покорная заклинателю, отвечала! И гора лечила. Врачевала ранения, столь многочисленные у охотников и воинов в те времена, врачевала болезни. О! В этой пещере царил могучий колдун!

— Значит, и племя было могучим,— вмешался в разговор Локтев; он занимался хозяйственными делами, но, оказывается, внимательно прислушивался к нашим суждениям.— Человек должен верить в правильность своих знаний, даже если они еще не точные. Как же иначе жить? Может, если бы люди раньше не верили, что Земля — центр мироздания, они б не выжили... Экась — против такого мироздания — с копьем и луком!.. И с колдуном вашим бабушка надвое сказала. Он, конечно, племя свое обманывал, а людям от того обмана, может, легче жить становилось, смелее они на зверя охотились, понимаете, на риск смелее шли...

Я отметил про себя несколько неожиданную мысль Локтева, но сейчас мне важно было логически завершить свои рассуждения.

— Ты понимаешь меня? — спросил я Березкина.

— Разумеется. Ты допускаешь, что один из соплеменников оказался менее доверчивым, чем другие. Он проник в глубину пещеры, чтобы выяснить причину вздохов, и именно его следы мы видели вчера. Выяснил он или не выяснил — бог весть, но колдуна вообще не устраивала проверка, и он расправился с дерзким...

— Я ж про то и говорю,— снова вмешался в разговор Локтев.— Нельзя подрывать основы...

— А может быть, наш герой был первым мыслителем среди людей,— тихо сказал философ Петя.— Может быть, он первым спросил у природы — почему?.. Ведь был же такой человек, хотя мы никогда не узнаем его имени! И он сам постарался ответить на свой дерзновенный, на свой гениальный вопрос... Он не верил колдуну. Он хотел своими глазами увидеть того, кто вздыхал в пещере, или того, кто залечивал раны воинам. А колдуны всех времен и народов очень не любят, когда сомневаются и задают вопросы. Бездумная вера — вот что требуется колдунам. И полная покорность, полное и беспрекословное признание их авторитетов. Вот и действовали колдуны по принципу: если начнешь доказывать, можешь не доказать; поэтому — приказывай! И приказывали... Но не все соглашались, к счастью, быть благоразумными, некоторые не отрекались... Даже если бунтари не все могли объяснить, как, например, наш босоногий — радиацию,— все равно, они больше уже не верили колдунам. Там, где солгали один раз, солгут и второй, и третий... Героя нашего босоногого постигла, наверное, судьба многих других сомневавшихся: его согнули духовно или уничтожили физически — изгнали из племени или еще что-нибудь придумали.

В тот момент мы все говорили и думали так, как будто уже неопровержимо доказали, что следы в глубине пещеры и наскальные рисунки рассказывают о судьбе одного и того же человека. Но мы ничего не доказали, и все-таки... Все-таки внимательно слушали Петю.

— Если я не ошибаюсь в своем предположении,— говорил он,— то мы, пробившиеся к знанию,— прямые наследники мыслителя, сломленного в неравной борьбе с колдуном. Он начал дело, которое победило, хотя сам был опозорен в глазах современников, и художник постарался увековечить его позор...

Петя перевел дыхание, взглянул в сторону пещеры и продолжал:

— Представляете, как это происходило? В темной пещере, при неверном свете факелов из смолистых ветвей можжевельника колдун в присутствии всего племени вершил суд над одним из самых первых мыслителей человечества, и соплеменники издевались над ним, проклинали

его. Он стоял перед ними, склонив голову, плечи его опустились, словно не выдержав непосильного груза, и он даже не подозревал, что вышел из борьбы победителем, что тысячи и тысячи придут ему на смену, пойдут его путем — путем сомнений, путем исканий. А согбенная фигура человека, позднее превратившаяся в вопросительный знак,— она символизирует тяжкий путь познания, борьбы с ложью религий, канонизированных авторитетов. Так уж складывалась история, что ложь всегда подкреплялась властью, и потому борьба с ней была неимоверно тяжела. Пусть согнута фигура человека, но вопросительный знак — это все-таки самый гордый знак из всех известных людям. Я поместил бы его на знамени человеческого прогресса, на знамени науки...

Маленький, белобрысый, раскрасневшийся Петя был прекрасен, когда произносил свой возвышенный монолог. Мы с Березкиным полагали, что Петя немножко увлекся. Во всяком случае, мы не могли поручиться, что все происходило так, как рисовало его воображение, хотя в глубине души верили, что сумели проследить еще одну человеческую судьбу.

Последний хроноскопический опыт, проведенный у подножия Хаирхана, мы расцениваем как неудачный и до сих пор не можем убедительно объяснить причину появления на экране вместо человеческих фигур знаков препинания. Но все это не исключает, а скорее даже предполагает полное право тех, кто ознакомится с моими записками, отстаивать свое суждение о смысле рисунков и их связи со следами в глубине пещеры.

Настроение наше оставляло желать лучшего, и спелеологи это заметили. Петя же Скворушкин открылся нам еще с одной стороны — он оказался юмористом. Припоминая студенческие байки и фельетоны из стенной газеты, он повествовал нам, при одобрительной усмешке Локтева, о некогда процветавших философических «корифеях» Дудкине и Уткине. Один из них специализировался на разведении страницы из произведения классиков до ста страниц «собственного» текста, а другой все свои творческие усилия потратил на составление картотеки юбилеев: к каждому юбилею писал по статейке и жил, говорят, припеваючи...

В другое время мы, наверное, не остались бы равнодушными, слушая в Петином исполнении отрывки из про-

изведений Уткина и Дудкина, но в тот вечер нам было не до смеха.

На следующий день желтая степная дорога стремительно катилась под колеса нашей машины. Не отрываясь, я смотрел на зубчатый гребень Хаирхана, и вдруг впервые за все время он показался мне не медведем, мирно дремлющим на берегах Енисея, а огромным взъерошенным вепрем, устремившимся в погоню за нами... Он не отставал, этот бешеный вепрь, он не уменьшался в размерах, нарушая законы перспективы, и мне почудилось, что колеса нашей машины крутятся на одном месте и вепрь непременно догонит нас, подденет обнаженными клыками...

Я улыбнулся странной фантазии и повернулся лицом к ветру — жаркому, свистящему, горьковатому от полыни. Небольшие желтоватые смерчи ходили вокруг по степи. Суслики прятались в норки, заслыша машину. Орлы взмывали в пустое небо и кругами ходили над нами.

А в грейдер вплетались узкие ленты бесчисленных дорог, бегущих издалека, дорог, по которым прошло множество людей и по которым теперь суждено идти нам в поисках новых героев.

СКАЗЫ
о братстве

ВЛАДИСЛАВ И ПЕРЕСВЕТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой содержится рассказ о письме, присланном из Белозерска, и сообщается о причинах, побудивших меня отправиться в новое путешествие.

После расследований, проведенных в пещерах Хаирханского массива, мы вовсе не сидели без дела. Однако не все эпизоды хроноскопии достойны того, чтобы о них рассказывать. В частности, наша поездка к археологам, работавшим в Туве у подножия Танну-Ола, оказалась менее плодотворной, чем мы предполагали. Уже зимой, в Москве, уступив Рогачеву, мы подвергли хроноскопии несколько архивных документов, но и о них едва ли стоит распространяться: специалисты-историки остались довольны, мы же с Березкиным оценили свою работу иначе.

Кстати, именно поэтому мы все менее охотно откликались на всяческие звонки Рогачева: он ўже, чем мы с Березкиным, смотрел на задачи хроноскопии и никак не хотел понять нас...

Первоначально и к письму из Белозерска мы отнеслись сдержанно.

Вот что мы прочитали, вскрыв однажды обычный почтовый конверт:

«Многоуважаемые товарищи Вербинин и Березкин!

Пишет вам из города Белозерска, что на Белом озере, пенсионер Лука Матвеевич Матвеев. О вашей машине, о хроноскопе, читывал я в газетах и, не утаю, подивился изобретению. Не то чтобы не поверил, но очень уж чудным показалось оно мне — фантастическим. Но газеты зря не станут огород городить, а потому думаю, что и на самом деле есть у вас такая хроноскопическая машина.

Уж не знаю, ведомо ли вам про то, а только город наш древний, постарше Москвы, считайте, будет. Говорят, еще князь Синеус на Белом озере княжил. Может, оно и не так было, как в начальных летописях написано,

но древности Белозерску все равно не занимать... А при древности такой и историй всяких в городе нашем столько приключалось, что уму непостижимо! Есть среди тех историй одна, про которую вы, поди, не слышали, а я всю жизнь голову над ней ломаю да конец клубочка ищу, чтобы за него всю ниточку вытянуть. Годы мои немолодые, а чтобы все прояснить — об этом и речи пока нету...

Чтоб не томить вас, скажу коротко, что есть в летописях белозерских сказ о двух братьях — Владиславе по прозванию Умелец и Пересвете. Первый из них великий дока был по части машин всяких — механик, ежели по-нашему говорить, а второй — на гуслях играл да песни пел, и тоже мастер был знатный. Сказано в летописях, что шли Владислав с Пересветом из северных земель на юг. К Москве, думаю. Да схватил их в Белозерске князь тогдашний Константин Иванович, тот самый, что на Москву новгородцев водил, порушить ее хотел... По приказу князя братьев в темницу подземную упрятали, и князь сказать им велел: до тех пор сидеть, мол, под землею будете, пока Владислав Умелец такое орудие мне не сделает, чтоб было оно грознее всех других орудий, а гусляр Пересвет такую песню не сложит о князе, чтоб была она всех других песен звучнее... Долго ли Владислав с Пересветом в темнице просидели, оба ли княжеский наказ исполнили — боюсь вам в точности сказать, хотя кое-что и предполагаю.

Ежели не очень заняты вы, то приезжайте к нам на Белоозеро и хроноскоп с собою привозите. Может, вместе мы про судьбу Владислава и Пересвета все как есть узнаем. Потому я так думаю, что весною нынешней, когда возле кремлевской стены землю копали, находку сделали: древнее отбойное орудие нашли — то ли пу́скичу, то ли по́рок, и возле снаряды метательные... Вы про царь-пушку слыхивали, конечно? А это среди других по́роков — царь-по́рок. Видимо, мастерил его мастер превеликий, и потому сразу же вспомнил я про сказ о двух братьях.

На этом и закончу письмо свое — люди вы занятые, негоже вам длинные письма писать. Ежели откликнитесь — поподробнее про находку и про все прочее расскажу, а то прямо приезжайте, чтобы к делу ближе. Квартира у меня не шибко просторная, но, милости просим, поместимся.

На том с приветом, Матвеев Лука Матвеевич».

Я живо представил себе автора — старичка-краеведа, ревниво влюбленного в свой родной город, дотошного и не без хитринки. Посмотрите, как ловко он составил письмо: вроде бы и все сказано, да как-то мимоходом — заинтересуетесь, можно и поглубже копнуть, а нет — и этого с вас хватит...

Но старик стариком, а письмо вызвало у нас двойственное отношение. Судьба Владислава и Пересвета не могла не заинтересовать, и улови мы по письму хоть крохотный ключик к раскрытию ее — мы немедленно приступили бы к хроноскопии. Но даже огромное отбойное орудие мало чем могло помочь нам по той простой причине, что умельцев на Руси было великое множество, и сделать его мог кто угодно, не обязательно Владислав.

Прежде чем ответить Матвееву, мы все-таки решили произвести кое-какие дополнительные изыскания.

Ни Березкин, ни я не занимались специально историей древнерусского оружия, и потому мы прежде всего выяснили, что скрывается за непонятными для нас словами «пускича» и «пóрок». Оказывается, так назывались у наших предков навесные метательные машины — катапульты; чем-то они разнились между собой, но в столь тонкие детали нам не было нужды вдаваться.

Далее в письме упоминались князья Синеус и Константин Иванович. Раскрыв соответствующий том энциклопедии, мы прочитали нижеследующее:

«Синеус (середина IX в.) — один из полулегендарных древнерусских князей. По сообщению летописи, С.— брат Рюрика (см.), княживший в районе Белоозера».

Княжил так княжил. Очевидно, Лука Матвеевич упомянул о нем лишь для того, чтобы подчеркнуть древность истории Белоозерского края. Иное дело — Константин Иванович. Но о нем в справочных изданиях специальных статей не оказалось. Мне пришлось поинтересоваться историей самого Белозерска.

Если теперь суммировать все, что я узнал, то можно представить себе такую картину:

Окрестности Белого озера, заселенные немногочисленными финно-угорскими племенами, еще в девятом-десятом веках подверглись славянской колонизации. А в 1238 году в бассейне озера возникло княжество, и центром его стал Белозерск... Затем, в течение примерно ста

лет, Белозерское княжество играло вндную полнтическую роль в жизнн Руси, противоборствуя объединительной полнтнке Москвы и даже соперничая с иею, причем особенно активно и агрессивно действовал князь Константин Иванович, боровшнйся с Москвой в союзе с новгородцами... Но уже в 1338 году Белозерское княжество попадает в вассальиую зависнмость от Москвы, а затем вообще прекращает самостоятельное существование... Ныне Белозерск — иебольшой город, райониый центр Вологодской области.

Вот как будто бы и все. Небольшой полузабытый эпизод отечествениой истории. Но так ли уж он мал? И есть ли вообще малое в истории иарода?

Мотивы, побудившие князя задержать механика и поэта, не вызывали инкаких сомнеинй. Но как сложилась судьба Владислава Умельца и Пересвета в княжестве, подвластном воинственному Констаитину Ивановичу?.. Сумеем ли мы приподнять завесу времени?

— А что, если с Локтевым посоветоваться? — спросил осторожиый Березкии.— Он же из тех краев.

Моему звонку Локтев обрадовался.

На квартиру Березкина ои приехал веселый, доброжелательиый. Примерил шлем монгольского витязя, подивился чукотской трубке и прочим сувеиирам и сел у письменного стола под вечно летящей розовой чайкой...

Едва взглянув иа письмо, Локтев изумлеиио вскииул брови:

— Да это ж мой дядюшка сочинил! Вот где родствеииик объявился!

Ои расхохотался, а потом внимательио прочитал иаписанное.

— Не советую ехать,— сказал Локтев.— Старик хороший, ио пре-ебольшой чудак. Чуть свободная минута — бегом на озеро черепки собирать. Или колодец роют — он уже возле крутнтся. Есть там еще один такой же старикашка — Плахин. Так они вдвоем на целый музей черепков иатаскали.

— История родиого края,— сказал Березкнн.

— С этим кто ж спорит! Без иих, может, и музея не было бы. Но я с ваших позицнй смотрю — отклнкаться или ие откликаться, вот в чем вопрос... Про идею Луки Матвеевнча я слыхал, конечио, ио никаких же доказательств. Так, фантазия...

А я думал о судьбе механика и гусляра, и еще я думал о другом, о личном. Всем нам хочется больше, чем мы в силах осуществить. Одним из таких, едва ли выполнимых из-за множества иных хлопот, желаний было у меня желание побродить пешком по нашему русскому северу, посмотреть на его реки, леса, деревни, послушать шум его ветра, полюбоваться низким неярким небом... Несколько раз я намечал на карте маршруты, несколько раз ходил на вокзал узнавать расписание поездов, но дела, те самые неотложные дела, перед которыми отступает все остальное, неизменно мешали мне. Березкин продолжал самозабвенно трудиться над расчетами, а я ходил по городским улицам и видел мшистые болота, слышал крик журавлей в пепельном небе, улавливал горьковатый запах мокрой древесной коры... И теперь давняя мечта сливалась со стремлением проникнуть в историю полюбившегося края и, каким-то непонятным образом,— с неясной еще мне судьбою неведомых людей — Владислава и Пересвета, некогда прошедших по тем дорогам, на которые так и не довелось ступить мне.

И я подумал, что вполне могу пока один съездить в Белозерск, не отвлекая от работы Березкина, и на месте решить, стоит ли нам заниматься хроноскопией.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой я знакомлюсь с нашим корреспондентом Лукою Матвеевичем Матвеевым и мы узнаем от директора музея об игумене Белозерского монастыря, некогда молвившем: «Не нами заперто, не нам и отпирать...»

Лука Матвеевич встретил меня на аэродроме. Как я и предполагал, он оказался маленьким, сморщенным старичком, с растрепанной седой бородкой. Живые карие глаза его тотчас уставились на мой чемодан,— Лука Матвеевич, очевидно, полагал, что там находится хроноскоп, и мне пришлось разочаровать его, объяснив, что хроноскоп штука громоздкая и в чемодане его не привезешь. По дороге к дому Лука Матвеевич без умолку рассказывал, как разнесся по городу слух о находке землекопов и он побежал к кремлевской стене.

Я пытался повернуть разговор так, чтобы получить

какие-нибудь дополнительные сведения о самих братьях, Владиславе Умельце и Пересвете. Лука Матвеевич наконец понял меня.

— Не осудите, что я вам все про пóрок толкую,— сказал он.— Уж не ведаю, как объяснить вам, а только всю жизнь свою верил я, что создали братья в Белозерске два шедевра, да таких, что могли б они и сегодня наш город на весь мир прославить...

— Два шедевра? — переспросил я.

— А как же? Один — чудо механики, другой — чудо поэзии. Братьев-то было двое. Я все надеялся в архивах список «Слова» поэтического найти, вроде «Слова о полку Игореве», только нашего, северного... А чтобы изделие Владислава Умельца отыскать — тут у меня и надежды почти не было: увезли, думаю, куда-нибудь, когда князь в поход пошел...

— Разве доподлинно известно, что Владислав соорудил катапульту?

— Доподлинно, и в летописи про то написано...

Я удивился.

— А в письме вы как-то неопределенно высказались...

— Что ж письмо?.. С живым человеком по-живому и потолковать можно,— уклончиво ответил Лука Матвеевич.— О дорогом с равнодушным говорить — только себя мучить. А уж коли приехали вы, так и секретов у меня от вас не стало.

— Значит, вы полагаете, что оба брата выполнили княжеский наказ? — постарался уточнить я.

— Про Пересвета, к сожалению, ничего неизвестно. Моя это догадка. А Владислав угодил князю и отменно был награжден.

— А потом что? Отпустил их князь?

— Этого я не говорил! — встрепенулся Лука Матвеевич.— Чего не знаю — того не знаю. Постник Бармá вон какую храмину Ивану Грозному выстроил, а молва ходит, что ослепил он его после. Наш-то, Константин Иванович, тоже нрава крутого был...

— Но почему же вы так уверены, что оба брата создали шедевры?

— Вас, батенька, посадить бы в темницу да сказать: не сделаешь — не выпустим!

«Не сделаешь — не выпустим!» Я подумал, что Лука Матвеевич, увлеченный своей идеей, очень все упрощает.

Но он, как и все люди, имел право на свою точку зрения. Я слушал старика и пытался представить себе, как произошла встреча князя Константина Ивановича с братьями.

Наверное, их схватили дружинники на одной из лесных дорог, ведущей к Белому озеру... «Лесных» — потому что тогда Белое озеро было окружено лесами, а не лежало, как ныне, в оголенных безрадостных берегах. Такие могучие русские леса еще сохранились до наших дней у Борисоглебских Слобод, между Ростовом Великим и Угличем. Я недавно побывал в них, и теперь легко мог вообразить огромные замшелые серые березы, огромные — не в обхват — сосны, хмурые, в лишайниках, ели... Били, наверное, вдоль узкой дороги косые слепящие лучи низкого солнца, когда грузный конский топот донесся до братьев. По тем временам всякого можно было ожидать от встречного и поперечного, но братья едва ли стали прятаться: их, умельцев, хорошо встречали повсюду, и они спокойно шли навстречу дружине.

Как повели себя братья, когда закрылись за ними кованые ворота Белозерского кремля? Как разговаривали с князем, сумасбродным феодалом, в его палатах? И почему оба оказались в темнице?

Трудно было тут что-нибудь домыслить, и мне вдруг захотелось как можно скорее увидеть остатки катапульты, словно могли они дать неожиданный толчок моим мыслям, прояснить их.

Катапульту перенесли в краеведческий музей, и после завтрака мы отправились осматривать ее.

Лука Матвеевич провел меня в служебное помещение и познакомил с директором, таким же старичком, как он сам, по фамилии Плахин — это его упомянул Локтев. Втроем мы довольно долго стояли над почерневшими, прогнившими бревнами, и краеведы в два голоса растолковывали мне, какие бревна образовывали горизонтальную рамку, какие — вертикальную, но особенно энергично расхваливали ложку для бросания камней: по их словам, в истории оружия она не имела себе равных по размерам... Старики, оказывается, уже успели сравнить величину найденной катапульты и описанной в летописи и не сомневались, что нашли именно ту, летописную...

Я слушал с большим интересом, и краеведы, заметив это, таинственно сообщили, что проделали еще одну лю-

бопытную работу. В летопнси, рассказывающей об испытанни катапульты, дальность броска определялась шагамн князя. Старикн переворошили все известиые нм матерналы и нашли довольно подробиое опнсаине внешиости князя Константнна Ивановнча. Судя по летописн, был он хорош собою — чернокудрый, длннноусый, могучнй, а роста — почтн саженного. Старнкн заключнли это, по-своему нстолковав весьма орнгинальиое сравненне: князь был охоч до травлн медведей, хажнвал на ннх с рогатнной, а в одной нз летописей сказано, что самый матерый медведь, встав на задние лапы, мог лншь сравняться по росту с князем... Произведя какне-то хнтрые расчеты, краеведы установнлн прнмерную длнну шагов князя, и получнлось, что катапульта бросала камни н обнтые железом бревна более чем на кнлометр,— результат действнтельно выдающнйся.

Позднее, в маленьком н тесном кабннете днректора музея, мы вновь разговорнлнсь о братьях, и я спросил, не сохраннлись ли документы с опнсанием темннцы.

— Их, пожалуй, и не было, такнх документов,— сказал Плахнн.— Тюрьмы — онн ж секретные. А тайные ходы есть в монастыре. Сам я в одном побывал и забыть уж пятьдесят лет ие могу. Вернте? По иочам та дверь сннтся....

Лука Матвеевнч кнвнул, как бы подтверждая слова Плахнна, а я ждал дальнейшнх разъясиений.

— В молодостн я в монахн готовнлся,— продолжал Плахнн,— послушинком был прн здешнем монастыре. Ежели бы не революцня — так н прожнл бы жнзнь впустую. Но это уже другой разговор. А тогда рабочне стеиу разобралн н ход под нею нашлн. Спустнлнсь мы в него со свечамн н дошлн по темному корндору до дверн. Подергалн ее, да куда там! Тяжелая дверь, литая. Побежалн потом к игумену, рассказалн все и предложнлн ту дверь поломать. Только нгумен ие одобрил: «Не иами заперто,— сказал,— не нам и отпнрать...» Ход тот опять камнямн заложнлн. А я н ту дверь забыть не могу, н тех слов игуменьнх. Страшные слова, доложу я вам...

Плахнн был весь какой-то длннный. С длинным носом, с длннным подбородком, с длнннымн узкнмн руками. Воспомннанля разволновалн его, н он сндел, напряженно выпрямнвшнсь, броснв руки на стол, заваленный бумагамн н экспонатамн.

— А где ломали тогда? — спроснл я.— Вы не помните?

— Такое разве забудешь...— начал было Плахин н вдруг побледиел.— Да ведь там, где н иынче реставрацию ведут!

Старнкн вскочнлн.

— Простн господи, где раиьше голова была? — прошептал Плахнн.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой мы с помощью каменщиков находим и вскрываем подземную галерею; что мы обнаружили в конце ее, будет видно из дальнейшего повествования.

Последующие событня развивалнсь стремнтельио.

На монастырской стене работала молодежная бригада каменщнков, недавннх выпускннков школы ФЗО, во главе с бригадиром Басовым. Этот Басов был крупным плечнстым парнем с пышным русым чубом, торчащим из-под кепки. Слушал он Плахина молча, ни на кого не подинмая глаз, и нельзя было понять, слышит лн ои вообще что-нибудь...

Потом Басов сказал:

— Сделаем.

И, считая разговор оконченым, вразвалку зашагал к своим ребятам.

Лука Матвеевич н Плахин действовалн крайне энергично. В тот же день онн добились прнема в райнсполкоме, и председатель сказал нм, что не возражает против поисков хода, но не нмеет средств на это. Он обещал похлопотать, но старнкн вышлн из его кабинета растеряиимымн.

— Теперь завалят тот ход бумагамн,— грустно сказал Плахин.— Тогда уж н вовсе не откопаешь.

Брнгадир каменщнков не внушал мне особой снмпатни, но сейчас у иас оставалась лншь одна надежда, н мы виовь отправнлись к монастырской стене.

Басов слушал нас все так же молча н все так же глядя себе под ногн.

— И «за так» сделаем,— сказал он н впервые посмотрел иа меня. Я увидел под пышиым чубом два сннх любопытиых глаза...

В городском архиве, к счастью, сохранился план перестройки монастыря, произведенной в дни молодости Плахина, и уже через несколько дней каменщики во главе с Басовым расчистили ход, ведущий в подземную галерею. (Березкин, которому я послал телеграмму, к тому времени тоже прибыл в Белозерск).

Всякого рода подземные ходы всегда окружены ореолом таинственности, но я не стану описывать открытую галерею, чтобы не отвлекаться от главного. Отмечу лишь, что Басов и его товарищи были очень удивлены характером каменной кладки и в один голос утверждали, что она древняя...

— Верно, прочность-то какая! — поддержал их Плахин. Он нервничал и все потирал свои длинные морщинистые руки.

Как некогда послушники, мы остановились перед дверью, «не нами запертой». Увы, даже слесарь ничего не смог сделать: замок не поддавался; дверь, должно быть, заклинило осевшим потолком. В конце концов пришлось прибегнуть к автогену.

Автогенщики еще не закончили работу, когда все поняли, что за тяжелой металлической дверью находится... каменная стена. Неожиданное открытие настолько поразило нас, что мы долго стояли у вырезанного овала, не зная, что предпринять.

Выручил нас Басов. Он внимательно осмотрел скрытую за дверью стену, поковырял ее твердым ногтем, а потом решительно заявил:

— Не строительная кладка. Стены-то иначе сложены...

— Замуровано что-нибудь,— заметно волнуясь, шепнул Плахин.— Уж не казна ли княжья?..

— Упаси боже, на что нам казна? — сказал Лука Матвеевич.

— А музей!

— Похоже, замуровано,— согласился Басов; он постучал по стене, прислушался и добавил: — Кажись, пустота. Опять придется рукава засучить.

Когда каменщики наконец разобрали часть стены, достаточную, чтобы заглянуть в отверстие, я направил в него луч света, и он тотчас уперся в следующую каменную стену, от двери до нее было не более двух с половиною метров.

— Что там? Что — нетерпеливо спрашивал Плахин.

— Ничего нету. Пусто,— ответил я, обшарив лучом всю камеру.

Но когда луч света вновь застыл на противоположной стене, в центре светового круга мы увидели тонкое, изъеденное временем и ржавчиной железное кольцо, вкрученное в паз между ка́мнями; на кольце висела цепь, настолько источенная, что казалась ажурной. На полу у стены была сделана невысокая каменная лежанка; капли воды, падавшие с потолка, выбили в ней углубления.

— Темница,— сказал за моей спиной Лука Матвеевич.— Подземная темница. Но почему ее замуровали?

Басов заявил, что его бригада не уйдет (а был поздний вечер), пока не разберет кладку так, чтобы в камеру можно было войти. Единственное, о чем я попросил каменщиков,— это не входить в камеру, чтобы все сохранить в ней для хроноскопии в неприкосновенности. Сделал я это на всякий случай, так как у нас по-прежнему не было никаких доказательств, что темница имеет хоть отдаленное отношение к судьбе Владислава и Пересвета.

Должен признаться, что вид замурованной камеры произвел на меня большое впечатление. Я вспомнил, как в детстве, совсем еще мальчишкой, стоял перед такими же мрачными камерами в подземных галереях Киево-Печорской лавры, мучительно стараясь представить себе, кого приковывали в них к стенам добросердечные божьи слуги, и была ли у пленников хоть малейшая надежда вырваться на свободу... Надо ли говорить, что Лука Матвеевич и Плахин тоже были возбуждены. Особенно Плахин, конечно. Длинное лицо его прямо-таки излучало сияние.

— Не нам отпирать! — все повторял он.— Ишь ты! Сидели бы по сию пору в пещерах... Для того и дана людям жизнь, чтоб отпирать!.. А как же?.. Полвека ждал своего часу и дождался! Праздник сегодня, Лука Матвеевич...

— Твой праздник,— соглашался Лука Матвеевич.— Мой не наступил еще.

Березкин — тот сохранял полное спокойствие, и постороннему человеку трудно было бы определить его настроение. Но я-то знал: раз он не вспоминает о своих ма-

тематических выкладках, значит, не жалеет о приезде в Белозерск.

Но чувства чувствами, а более или менее определенно мы знали в тот вечер лишь следующее:

белозерский князь Константин Иванович задержал и запрятал в темницу двух братьев — Владислава и Пересвета, потребовав от них исполнения своей воли;

Владислав Умелец выполнил княжье требование и создал гигантскую катапульту;

у кремлевской стены найдены остатки катапульты, по размерам совпадающей с описанной в летописи;

под монастырской стеной, возведенной, как утверждал Плахин, на месте бывшего княжеского двора, обнаружена темница; кем-то и почему-то темница эта была замурована.

С немалой долей вероятия мы могли допустить, что найденная катапульта была сделана самим Владиславом Умельцем.

Но мы совершенно не знали:

в ту ли темницу, которую мы обнаружили, заточил князь Владислава и Пересвета;

вышел ли когда-нибудь Пересвет из темницы или не вышел;

наконец, как сложилась судьба Владислава после того, как он создал катапульту и был обласкан князем.

Лука Матвеевич по-прежнему верил, что Пересвет создал «Слово» и князь выпустил его на свободу, а мне почему-то казалось теперь, что Пересвет так и остался в темнице на всю жизнь или, точнее, до конца дней своих, потому что замурованный вход в темницу наводил на невеселые размышления. И хотелось узнать мне, как повел себя обласканный князем Владислав, брат Пересвета...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой мы приступаем к хроноскопии подземной темницы, обнаруживаем следы пребывания в ней Владислава Умельца или Пересвета, а также сталкиваемся с загадкой «третьего».

Басов, выбив энергичную дробь на ставнях дома Луки Матвеевича, с улицы прокричал нам, что каменщики свое дело сделали.

Через несколько секунд стук раздался уже в дверь.

— Вы посмотрели бы,— живее, чем обычно, и не пряча любопытных глаз, сказал нам Басов.— Может, мы не так чего... Старались уж очень ребята. Проходик узенький сделали — только чтобы пролезть.

— Грех не поглядеть,— поддержал Басова Лука Матвеевич, а Плахин просто встал и двинулся к двери, даже не взглянув в нашу сторону.

Мы-то с Березкиным знали, что хроноскопия — дело не быстрое, но столько веков минуло с тех пор, как замуровали темницу, что теперь действительно впору было экономить на минутах.

Итак, среди ночи мы вновь отправились в подземелье. Березкин пошел к хроноскопу, а я сразу же спустился в темницу и попросил, чтобы меня на некоторое время оставили в ней одного.

Фонарь отлично освещал всю камеру, и можно было тщательно осмотреть ее. Прежде всего мне хотелось удостовериться, что некогда здесь сидели в заточении действительно два человека. Я уже упомянул о кольце с источенной ажурной цепью. Теперь нужно было найти следы второго, очевидно, вырванного из стены кольца, и я быстро нашел их.

Впрочем, на этом ход моих раздумий нарушился: на стене камеры отчетливо виднелись следы не одного, а двух вырванных колец... Значит, кроме братьев, еще кто-то был заточен в подземелье? Или третье кольцо было вбито позднее? Или вообще Владислав и Пересвет никогда не сидели в этой камере?

На последний вопрос мы получили ответ с легкостью, непривычной для нас, уже опытных хроноскопистов. У стены, на плоском камне мне удалось разглядеть непонятный рисунок, сделанный каким-то острым и твердым предметом. Когда летчик перегнал вертолет к монастырской стене и Березкин спустился ко мне, я попросил его начать хроноскопию с этого рисунка.

Березкин спроецировал его на экран, и мы тотчас определили, что рисунок — это монограмма, выписанная старой славянской вязью. Для чтения вязи требуются особые навыки, и даже наши старички поначалу растерялись. Но хроноскоп, выполняя задание, истолковал монограмму, и на экране обозначились две написанные слитно буквы — П и В.

— «Покой» и «веди»! — в один голос вскричали краеведы, по-старому называя эти буквы.

А Лука Матвеевич, осипший от волнения, пояснил:

— Пересвет и Владислав...

Совпадение начальных букв было столь очевидным, что все сразу же согласились с Лукою Матвеевичем: да, мы нашли камеру, в которой действительно сидели некогда два брата.

Но кто же был третьим?

И старики-краеведы, и ребята-каменщики возбужденно шумели перед экраном хроноскопа, и мы с Березкиным знали, что именно сейчас требуются предельная сосредоточенность, внимательность и осторожность в проведении хроноскопии.

— Вот что, пойдем-ка и вместе осмотрим камеру,— предложил Березкин.

В камере было тесно, и я остался у входа, а Березкин еще раз ощупал пол, стены, мокрую каменную лежанку и очень обрадовался, когда ему удалось набрать горсть какой-то сырой мягкой трухи.

— Что это такое? — спрашивал он меня.— А? Что это такое?

Я пожал плечами.

— Не знаешь! — укоризненно сказал Березкин.— И я не знаю. А в руке у меня, может быть, ключ ко всей истории с Владиславом и Пересветом!

— Прах чей-нибудь, что ли? — предположил я.

— Вот это мы и проверим сейчас.

Березкин остался у «электронного глаза», а я вышел к хроноскопу.

Хроноскоп «молчал» дольше, чем обычно, но, когда экран засветился, мы все увидели... огромную раскидистую сосну.

Я не побежал обратно в подземелье, я знал, что Березкин непременно повторит опыт.

Березкин опыт повторил, но результат его не изменился: на экране раскачивалась перед нами гигантская сосна.

— Н-да,— сказал Березкин, выслушав мой рассказ.— Сосна, говоришь?

Он долго молчал, сосредоточенно глядя на кольцо с ажурной ржавой цепью.

— Все можно,— сказал он наконец.— Можно учинить

общую хроноскопию стен или лежанки, можно подвергнуть хроноскопии кольцо, цепь, следы от вырванных колец... А мне хочется пофантазировать.

— Что ж, пофантазируй...

— Я все думаю, почему Константин Иванович братьев в темницу засадил? Представляешь, притащили их в палаты княжеские, пред светлые очи владыки поставили. И владыка им какое-то слово молвил — о мастерстве, что ли, хорошо отозвался, награду за верную службу посулил... И вдруг — темница! Что ж они, княжеской милостью пренебрегли? Князь-то владетельный был, крепкий. Самой Москве грозил Константин Иванович!.. Или — князь им посулы всякие, а Пересвет — что-нибудь такое: «Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен!»

— И это не исключается,— сказал я.

— Не спорю. Но от княжеской службы гусляры обычно не отказывались...

Как и во многих случаях прежде, рассуждения наши зашли в тупик.

— Плохие мы фантазеры.

— Неважные,— согласился Березкин.— Но кое-что я все-таки придумал. Видишь ли, надо еще доказать, что оба брата в темнице сидели, и я знаю, как это выяснить.

— Кольца...— начал было я, но он тотчас перебил.

— Кольца! Кольца подтверждают, что в темнице могли сидеть два человека. Понимаешь? Вообще два человека...

— И еще третий был...

— А! — Березкин недовольно поморщился.— Давайка сначала с двумя разберемся. Но не сегодня,— добавил он и посмотрел на часы.— Скоро уже светать начнет.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

в которой нами осуществляется полная хроноскопия подземной темницы, а также высказываются некоторые соображения о судьбе Владислава Умельца и Пересвета.

Белозерск — плотный город, если так можно выразиться. Собственно, в каждом городе дома стоят вплотную или почти вплотную друг к другу, но почему-то

именно Белозерск казался мне особенно перегруженным и каменными, и деревянными домами, и бывшими купеческими лабазами, и церквами, на строительство которых «отцы города» некогда не жалели средств... Я думал об этом утром, торопливо шагая вслед за Березкиным по деревянному дощатому тротуару, и догадался, почему возникло у меня вот такое ощущение плотности: Белозерск, еще сохранивший облик дореволюционного купеческого городка, как бы лежал плотным слоем между нашими днями и тем временем, когда правил здесь воинственный Константин Иванович. И нам предстояло, выражаясь фигурально, убрать этот плотный слой и как бы обнажить древний средневековый Белозерск...

К некоторому нашему удивлению и даже огорчению, у подземной галереи собралось много народу.

— Из головы вон — сегодня же воскресенье! — сказал Березкин и для чего-то посмотрел на часы.

Впрочем, опасения, что нам будут мешать, оказались напрасными. Белозерцы вели себя очень сдержанно, спокойно, а едва загорался экран хроноскопа, тотчас устанавливалась гробовая тишина.

В темницу Березкин спустился один. Ему очень хотелось убедиться, что в заточении находились действительно оба брата, и еще вчера ночью он сказал мне, как это можно определить. Мысль Березкина была проста. Дело в том, что в положении узников имелось немаловажное различие. Рассуждая теоретически, можно представить себе поэта, слагающего песнь в темнице; но механик, строящий катапульту, должен каждый день выходить из нее, и эти подробности не могли ускользнуть от хроноскопа.

На экране хроноскопа мы действительно увидели и фигуру, буквально прикованную к стене, и фигуру, протоптавшую замеченную аппаратом тропинку от цепи к выходу из темницы...

На последнее обстоятельство мы с Березкиным обратили особое внимание: «тропинка» началась от сохранившейся цепи...

Потом я уговорил Березкина выяснить, находился ли в темнице еще третий узник, но хроноскопия результатов не дала. Все импульсы, передававшиеся «электронным глазом» из той части камеры, где сохранились следы двух колец, истолковывались хроноскопом однозначно:

на экране возникала условная фигура прикованного к стене человека.

— Повременим,— сказал мне Березкин. — Тут особый ключик нужен, а ты пока не подобрал его. Давай-ка займемся общей хроноскопией камеры.

При общей хроноскопии инициатива как бы принадлежала самому хроноскопу: аппарат анализировал различные импульсы, и на экране могли появиться те же самые узники, мог появиться каменщик, складывавший темницу, или стражник, явившийся за Владиславом Умельцем, или еще что-нибудь, что заранее мы и предположить не могли. Общая хроноскопия не требовала присутствия Березкина рядом с «электронным глазом», и сформулировав задание хроноскопу, он остался у экрана.

При серьезных исследованиях мы еще ни разу не пользовались общей хроноскопией в полной мере и вообще расценивали ее как новое достижение в раскрытии разрешающих возможностей аппарата. Но эксперименты, естественно, производились, и мы знали, как поведет себя хроноскоп: сначала в поле его зрения попадут внешние, случайные детали, но потом, в результате особой самонастройки, он выделит нечто важное, главное и остановится на нем. Опыт уже убедил нас, что после этого бесполезно вновь поручать хроноскопу общий анализ: он тотчас вновь изобразит вот это, ранее найденное им главное.

Стало быть, общая хроноскопия предъявляла свои требования и к нам, исследователям: нужно было запомнить детали, подчас кажущиеся неинтересными, чтобы потом ставить перед хроноскопом новые целенаправленные задачи.

Слабые светлые линии, проходившие по экрану снизу вверх, подтвердили нам, что задание хроноскопом воспринято, и «электронный глаз» приступил к обследованию подземной темницы. Спустя минуту или две, поле экрана стало устойчиво-светлым, и на этом светлом поле замелькали какие-то остроконечные предметы — очевидно, «электронный глаз» разглядел следы оружия, которым стражники невольно задевали стены темницы, и прокомментировал их. Потом на экране мелькнуло нечто длинное и узкое, отдаленно напоминающее саблю или меч, и сразу же появились очертания стены, с которой

вдруг посыпались мелкие камни и труха,— мы догадались, что в поле зрения «электронного глаза» попал участок стены с выдернутыми кольцами; значит, след от рубящего предмета должен был находиться либо ниже, либо выше углублений от колец...

Экран потемнел на две-три секунды, края его затем посветлели, и темное пятно сохранилось лишь в центре.

— Запомни,— сказал мне Березкин.

А на экране уже было совсем другое: вновь проступившая стена и неясные очертания человеческой фигуры. Они как бы балансировали на экране, словно хроноскоп долго не мог отдать предпочтения человеку перед стеной или стене перед человеком.

— Узник, что ли? — вслух спросил я, но хроноскоп уже нашел решение, и решение, не очень обнадежившее нас: на экране человек строил стену.

— Каменщик,— подсказал нам Лука Матвеевич, до сих пор молча стоявший сзади.— Темницу складывает.

Но если Лука Матвеевич был прав, то с какой стати хроноскоп выделил именно этот мотив, на нем остановился?

— Все помню,— сказал мне Березкин,— но я бы повторил общую хроноскопию. Одно дело — лабораторные условия, а тут, знаешь ли...

Он повторил задание, но ничего не добился: лишь на секунду появились на экране слабо проявленные наконечники копий, и тотчас вновь возник каменщик...

— «Каменщик, каменщик, в фартуке белом,— вдруг сердито сказал за моей спиной Басов.— Что ты там строишь? Кому?»

А Березкин задумчиво посмотрел на меня.

— Темница была пустой, когда ее замуровали. Мы топчемся на месте.

— Пустой? — встрепенулся Лука Матвеевич.— А зачем же пустую замуровывать?

— Неразумно,— согласился Плахин.

Собственно, Березкин высказал вслух мысль, которая уже давно была очевидна: если бы в темнице замуровали человека, то какие-то останки его уцелели бы. После того как собранный Березкиным прах обернулся шумящей зеленой сосной, мы поняли, что Пересвет каким-то чудом вырвался из заточения. Хроноскопию же мы продолжали в надежде узнать что-нибудь конкретное о его судьбе.

— Тот, кто приказал замуровать темницу, не зиал, что оиа пуста,— ответил я краеведам.— Видимо, Пересвету удалось бежать.

— А сосиа? — вспомнил Плахин.— Что бы оиа могла означать?

Ему никто ие ответил. Березкии один спустился в подземелье, и вскоре мы увидели иа экраие ровиую стеиу и массивиое металлическое кольцо. Потом кто-то, иевидимый иа экране, вставил в кольцо железный прут и, действуя им как рычагом, вырвал кольцо нз стеиы.

— Вот как это произошло,— сказал я Плахииу и Луке Матвеевичу.— Видели?

— Вндать-то видалн,— ответил Лука Матвеевнч,— а только маловато узиалн.

— Не очеиь миого,— согласился я.— И все-таки коекакие итоги можно подвести.

Я прошелся вдоль вертолета, дожидаясь, пока выйдет из подземелья Березкин, и остановился перед краеведами.

— Итак, давайте вспомиим все по порядку. Во-первых, иам удалось доказать, что найденная темиица — та самая, в которой иаходились в заточеиии Владислав и Пересвет, и это ие так уж маловажно; помимо всего прочего, свидетельство летописн получило материальиое подтвержденне. Во-вторых, мы убедились, что сохранились кольцо и цепь, к которым прнковывали имеиио Владислава. Это опять же совпадает со свндетельством летопнси: Владислав соорудил гигаитскую катапульту, и князь выпустил его из темницы. Но летописи, Лука Матвеевнч, молчат о Пересвете, н мне придется сказать за инх: не ищите «Слово» Пересветово, ие было оио создаио.— Я взгляиул иа Луку Матвеевича, ожидая возражений, ио ои молчал.— Будь ииаче,— продолжал я,— киязь отпустил бы гусляра, чтоб пел ои хвалебиое «Слово» иа площадях, иа базарах, на свадьбах... Ведь для того и иужио было «Слово» киязю, ие так ли? Одно дело — механик, другое дело — поэт. Поэт творит лишь под чистым иебом да под зелеиыми сосиами... Под темн самымн соснамн, между прочнм, ветви которых приносил в темиицу Владислав, прииосил, чтобы иапомнить брату о вольиой воле, о шуме ветра... И еще одно я могу сказать вам, Лука Матвеевич: пересилил гусляр князя, бежал-таки...

— Одии не убежал бы,— почти шепиул Плахин.

— Владислав помог,— твердо сказал Лука Матвеевич.— Не измеиил брат брату. Пренебрег Владислав и кияжьей милостью, и своим благополучием...

— Да, и пришел на помощь в момеит смертельной опасиости, когда разъяреиный киязь велел живьем замуровать поэта. Могуч был князь, крут, во гиеве страшеи, головы запросто сиимал, своею лишь дорожил,— все верно. Да, видио, мало этого, чтобы с поэтом справиться, чтобы заставить княжьи песии сочиять. Поэты — иарод непростой, свои голоса у них, Лука Матвеевич, свои песии — с чужого голоса не поют... Миого мы узиали или мало, ио разве ие радостно было всем иам узнать, что песни Пересвета и после заточеиия его долгие годы звучали иа Руси?

— Как ие радоваться,— вздохиул Лука Матвеевич, грех ие радоваться... Только мие бы хоть строчку одну Пересветову увидеть глазами своими. Помер бы тогда спокойно...

Но мы были бессильиы помочь Луке Матвеевичу.

«ТРЕТИЙ»

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой содержатся рассуждения о некоторых исторических традициях, имеющих — пусть косвенное — отношение к заинтересовавшим нас событиям далекого прошлого.

Мне уже не раз приходилось, заканчивая рассказ о наших исследованиях, признаваться, что результаты хроноскопии по тем или иным причинам нас не удовлетворили. Вероятно, мне и в дальнейшем придется неоднократно виниться в том же самом перед читателями. Но в тот день, когда нам удалось выяснить судьбу Пересвета, мы с Березкиным определенно знали, что не сделали всего, что можно и нужно сделать. Да и старики-краеведы не были довольны результатами хроноскопии. Лука Матвеевич все рассуждал о «Слове» Пересвета, спорил со мной, а Плахина почему-то взволновала возникшая на экране сосна. Его тоже не устраивало мое объяснение, он полагал, что я упростил проблему и что сосна — это не просто сосна, а некий не понятый нами символ, созданный хроноскопом.

Я пытался убедить Плахина, что хроноскоп способен истолковывать некоторые символы, но никогда не научится «объясняться» символами, творить их. Сам же я продолжал размышлять о таинственном «третьем», хотя у меня и не было доказательств, что он вообще существовал.

Вечер закончился неожиданно по двум причинам. Во-первых, к Луке Матвеевичу заявился Локтев. Во-вторых, позднее пришел бригадир каменщиков Басов.

— На побывку и — сразу к вам,— сказал Локтев, плотно прикрывая за собой дверь.

Они с Лукою Матвеевичем трижды, по-старинному, расцеловались, и Лука Матвеевич даже прослезился на радостях.

Наше присутствие ничуть не удивило Локтева.

— Знаю, что приехали,— сказал он.— Выходит, такие же вы одержимые, как и мой дядюшка? — Пожимая, он

энергично встряхивал наши руки.— Хоть и не верю, что найдете вы «Слово», а приезду радуюсь. Места мои родные посмотрите. Здесь начинал...

Лука Матвеевич с супругою жили добротно, по-старому. Не успели мы оглянуться, как на столе уже появились бутылочка рябиновой, квашеная капуста, грибки, огурчики, моченая брусника...

— Я ненадолго,— рассказывал Локтев.— Выкроил несколько деньков и — сюда. Нехудо на родине побывать.

О наших делах он был осведомлен отлично — в городе все о них знали,— и он принялся добродушно подшучивать и над Лукою Матвеевичем, и над нами. Лука Матвеевич тотчас начал возражать, и я быстро понял, что спор их давний, что он обоим доставляет удовольствие и что они по-настоящему любят друг друга.

— Нет, меня ты не переубедишь,— чуть растягивая слова, говорил Лука Матвеевич.— Я понимаю, размах у тебя другой. Вон ты куда взлетел!.. Пусть мы с Плахиным поменьше, а только без истории, без мечты еще меньше были бы. Выйду вот я на Белоозеро, закрою глаза — и сраженья богатырские вижу, богатырей вижу, топот слышу и звон слышу, а все гусли перекрывают, все гусли заглушают. Пересвета моего гусли...

Локтев слушал его с доброй понимающей улыбкой — знал, наверное, что легко можно обидеть сейчас старика. А потом погрустнел.

— Виноват я, Лука Матвеевич, перед тобой,— признался он.— Отговаривал хроноскоп везти сюда. И думаю теперь — зря. Надо тебе хоть на старости лет фантазии свои...— тут Локтев сделал рукою рубящий жест.— Под корень. Легче жить будет.

— Не-е,— сказал Лука Матвеевич.— Ничем мечты мои не порубить... Ну а ты? Порох-то есть еще в пороховницах? Не слабеет память?

Локтев рассмеялся.

— Проверь.

— И проверю.

Оказалось, что Локтев помнит наизусть не только «Капитал», но и другие книги. Лука Матвеевич извлек с этажерки какой-то весьма потрепанный томик, и они с увлечением занялись своеобразной игрой.

Ее прервал бригадир каменщиков Басов, заявившийся

уже в десятом часу вечера. Был он почему-то мрачен и в одной руке комкал кепку.

— Из-за этого типа я,— сказал Басов.— От имени всей бригады...

— Какого еще типа? — спросил Березкин.

— Ну, который темницу строил... Узнать бы, что это за тип.

— Каменщик и каменщик.— Березкин пожал плечами.— Тут и выяснять нечего.

— «Каменщик»! — презрительно сказал Басов.— Человека замуровывал. Я б такого на выстрел к камню не подпустил, чтоб работу свою не позорил...

— Да ты садись,— пригласил Лука Матвеевич.— Чего стоишь-то? Гостем будешь.

Как и все, Лука Матвеевич ничего не понял из слов Басова, а я вспомнил две строки из стихотворения Брюсова, процитированные Басовым, когда на экране хроноскопа появился каменщик, и вспомнил выражение его лица. Тогда меня чуть-чуть удивила профессиональная неприязнь ребят к человеку, строившему темницу, но хроноскопия заканчивалась, надо было подводить итоги, и я забыл о Басове и его бригаде... Теперь же, присматриваясь к хмурому бригадиру каменщиков, я поразился глубине угаданной им проблемы, глубине, которую он, вероятно, и сам не до конца сознавал.

— Прекрасная идея,— сказал я.— Постараемся завтра что-нибудь выяснить. Не стоит забывать, что общая хроноскопия закончилась фигурой каменщика. Ей-богу, тут есть над чем помудрить.

— Мудрить-то и не придется,— возразил Березкин.— Увидим еще раз, как он складывает стену. Но я не возражаю.

Басов, явно довольный нашим согласием, ушел, и тогда Березкин сказал:

— Выкладывай, что у тебя на уме.

— Ребята мне понравились. Новые они какие-то. Понимаешь?

— Ничего не понимаю.

Я мог в двух словах изложить поразившую меня мысль — мысль, из-за которой я и согласился столь поспешно на хроноскопию,— но вдруг понял, что хроноскоп ничем не сможет ни дополнить ее, ни уточнить...

— Новые,— повторил я.— Уж и не знаю, как тебе

еще сказать. Отношение к своей профессии у них новое. Представь себе, что поэт служит своей музой то народу, то тем, кто из народа жилы вытягивает. Что ты скажешь о таком поэте?

— Сам знаешь, что скажу.— У Березкина это прозвучало весьма внушительно.

— Знаю... А оружейник?.. Допустим, он изготовляет шпаги, мушкеты или те же катапульты и продает их враждующим сторонам. Вспомни хотя бы знаменитые толедские клинки; с ними испанцы шли на французов, французы — на испанцев... Или миланские рыцарские доспехи — они расходились по всей Европе...

Но разве пришло кому-нибудь в голову обвинить оружейников в беспринципности? Разве мы, потомки, клеймим их презрением?.. Нет, мы клеймим поэтов, торговавших своим искусством, и прощаем оружейников, которые тоже торговали своим искусством... И прощаем каменщиков — тех, которым все равно было что строить: тюрьму или жилой дом...

Не хочу сейчас анализировать, почему так получилось, но с поэтов всегда спрашивали строже, чем с кого бы то ни было другого. Но разве, по большому счету, безразлично, кому служит искусство оружейника или каменщика? Разве тут нет грани между принципиальностью и беспринципностью? А тому каменщику, что Пересвета замуровывал, безразлично было, к чему свое искусство приложить... Этого-то Басов ему и не простил. Потому и сказал я про ребят, что они — новые.

— А я б не забывал все же, что Владислав Пересвета в беде не бросил,— сказал Лука Матвеевич.— Может, он и не тому служил, кому следовало, а брата не бросил.

— С помощью хроноскопа тезис твой не разовьешь. Да и нужно ли его развивать? — сказал Березкин.

— Конкретизация не помешала бы. Но ты прав — хроноскоп тут нам не помощник, и я это тоже понял. Правда, с некоторым опозданием.

— Вы что же, от хроноскопии отказываетесь? — забеспокоился Лука Матвеевич.

— Нет, не отказываемся. Начнем завтра с «этого типа», как выразился Басов. А там видно будет.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

которая не содержит ничего увлекательного или таинственного, но которую мы просим все-таки не пропускать.

На следующий день хроноскопию, не надеясь, впрочем, узнать что-либо ценное, мы действительно начали с каменщика.

Вызвав запечатленный в памяти хроноскопа образ, мы затем перешли к детализации, решили посмотреть, как строил каменщик. Задачи такого плана уже неоднократно ставились перед хроноскопом, и Березкин, не любивший повторений, без всякого энтузиазма отправился в подземелье к «электронному глазу».

Не скажу, что нам посчастливилось тотчас обнаружить нечто удивительное, но хроноскоп сумел как бы разложить действия каменщика во времени. Кажется, я выразился слишком мудрено, хотя и точно; начиная складывать стену, каменщик работал неторопливо, аккуратно, тщательно замазывая пазы раствором; потом, где-то в средней части стены, он стал действовать иначе: на экране хроноскопа каменщик заспешил, словно кто-то торопил, подгонял его; разумеется, он по-прежнему клал камни уверенно, прочно, но не было уже той тщательности, аккуратности...

Новая деталь, выявленная хроноскопом, сама по себе не имела особого значения, но ребята-каменщики окончательно разгневались на своего древнего коллегу.

— Спешит Пересвета засадить,— авторитетно заявил Басов.— Сразу видно.

— И ничего-то не видно,— возразил Лука Матвеевич,— темницу могли на сто лет раньше построить.

Лука Матвеевич был абсолютно прав, и нам ничего не оставалось, как продолжить хроноскопию.

— Внешний облик каменщика тебя не интересует? — спросил я Березкина.

— А! Праздное любопытство,— сказал Березкин, но все-таки подошел к хроноскопу.

Дать хоть какое-нибудь представление о внешнем облике каменщика могли лишь камни, из которых он складывал стены, а они уже хранились в памяти хроноскопа, и Березкин мог не спускаться в подземелье. Он сформулировал задание, и мы увидели на экране весьма услов-

ную человеческую фигуру и совершенно реальные руки: большие, грубые, в шрамах и мозолях. Березкин уточнил задание, включив в него дополнительную информацию, и на экране появился богатырского сложения человек с окладистой бородою, подстриженный «кружком»; густые прямые волосы были обвязаны лентой — чтобы не мешали при работе (это уже детализация Березкина).

— Любуйтесь,— сказал Березкин.— Красавец мужчина! — и выключил хроноскоп.— Есть еще предложения?

— С кольцами, что ли, помудрить? — сказал я.— Давай уточним, в одно время их укрепляли в стене или нет...

Предлагая подвергнуть хроноскопии кольца, я не знал, пригодится ли это нам. Но в самом задании не заключалось ничего трудного для хроноскопа: он легко мог различить, вгонялись ли штыри в паз со свежим раствором или после того, как тот уже давно затвердел.

Хроноскоп дал ответ: два кольца укрепили в стене при строительстве (в том числе — сохранившееся), третье — позднее.

— Доволен? — спросил Березкин.— Подскажи-ка лучше, что дальше делать.

— Темное пятно,— сказал я.— Совсем мы про него забыли.

Березкин сформулировал новое задание.

Нам самим так и не удалось найти темное пятно в камере: оно совершенно не выделялось на общем темном фоне пола, лежанки и стен. Но зоркость «электронного глаза» значительно превосходила нашу, он «видел» пятно и передал информацию о нем хроноскопу.

— Попробуем установить происхождение пятна,— сказал Березкин.— Но не знаю, получится ли. Боюсь, что выразительных средств у хроноскопа не хватит. Да и химический анализ ему все-таки не под силу.

Если так позволительно определить происшедшее на экране, то я бы сказал, что хроноскоп, подражая некоторым представителям человеческой породы, выбрал наиболее легкий путь: на экране появилась лужица темной жидкости, заметно выделяющаяся на светловатом фоне.

— Просто не везет сегодня,— сказал Березкин.— Ни на шаг не подвинулись! Ну что это такое — темное?

Он спрашивал самого себя, и я промолчал.

— Может, кровь? — предположнл Басов.— Навериое, не с почестями их в эти хоромы провожали.

— А может, и чериила. Знаете, которые приготовлялн из дубовых чериильных орешков н металлнческих опилок? — сказал Лука Матвеевнч.— Всякое предположить можио.

— Что же, давайте провернм обе догадки.— Я говорнл Березкииу, и тот повернулся в мою стороиу.— Как проливаются чернила?.. Сразу. Ну а кровь — она же сочится из раиы по каплям или течет струйкой, постепенно расползаясь по полу...

Березкии, ие тратя лишинх слов, молча сформулировал иовое задаиие. Его пришлось несколько раз уточнять, потому что уже очеиь много времени мннуло с тех пор, как загадочная жидкость пролнлась на пол, но всетаки ответ пришел: темиая жидкость, разбрызгиваясь, каплями падала иа камин; видимо, раиеный иаходился иа лежаике.

Выключив хроиоскоп, Березкин, поколдовал возле него, и экраи вновь засветился.

Мы увндели неожндаииое: иа экраие совместились падающие капли с фигурой каменщика...

— Кто же... этого... типа? — медлеиио выговаривая слова, спросил Басов.

— Камеищика-то? — Березкин, покусывая иижиюю губу, смотрел на экран.— А инкто. Если хотите, вот вам пример рнсуиочного письма, виовь открытого электроииой машиией. Вопрос я поставил так: пролилась ли кровь сразу же, как только закончили строить темиицу, илн миого поздиее... Камеищик — помиите? — спешил, и я подумал, что еслн кровь попала на иезастывшие брызгн раствора, то хроиоскоп сможет ответить. И ои ответил — совместил фигуру камеищика и падающие капли...

— Здорово! — ие выдержал Басов.— Вот здорово! Теперь бы про того типа хоть что-иибудь узиать!

— Про того типа,— машниальио повторнл Березкнн.— Значит, темиицу спешно заканчивали для раиеиого... А мы точио устаиовили, что в темиице сиделн Пересвет и Владислав. Уж ие для иих ли старался камеищик?

— Для ннх, я же говорил — для иих,— почти свнрепо сказал Басов.

— Можешь считать, что твои вчерашние мыслн получнлн еще одио подтверждеиие,— чуть иронично, но без

улыбки сказал мне Березкин.— Хроноскоп проиллюстрировал их. Впишем себе в актив столь выдающееся достижение...

Березкин закурил, глубоко затянулся, а потом швырнул папиросу.

— Знаешь, на сегодня хватит. Не по себе мне что-то...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой рассказ о заключительных сеансах хроноскопии содержит также один чрезвычайно «оригинальный» вывод: оказывается, у человечества за всю его многовековую историю сложились не только те традиции, о которых говорилось в главе шестой!

Мы с Березкиным возвращались к Луке Матвеевичу молча, думая каждый о своем, а старички-краеведы о чем-то шептались позади. Потом они ускорили шаг, догнали нас, и Плахин спросил, не может ли хроноскоп выяснить, как был ранен человек, кровь которого осталась на камнях подземелья.

— Узнать бы, в бою Пересвета ранили или позднее подручные князя постарались,— сказал Плахин, посматривая то на меня, то на хмурого Березкина.

Но по следам крови установить, как был ранен человек, хроноскоп, конечно, не мог.

— А разве Константин Иванович воевал в том году, когда Пересвета и Владислава в темницу засадили? — спросил я в свою очередь.

— Так он почти каждый год с кем-нибудь воевал. И в том году на соседа пошел, да только сосед шибанул его здорово....

Я остановился так внезапно, что Лука Матвеевич едва не наскочил на меня.

— Вот тебе ответ, почему братьев в темницу упрятали,— быстро сказал я Березкину.— Князь их туда после проигранного сражения засадил. Теперь все становится на свое место. Константин Иванович жаждал реванша и требовал от Владислава гигантскую катапульту. Константин Иванович заботился о своей подмоченной славе и требовал хвалебную песнь от Пересвета: раз плохи дела, так пусть хоть песни хороши будут!

— И для верности братьев — в темницу, чтобы не удрали,— поддержал меня Лука Матвеевич.— А заупрямился Пересвет — так его и второй цепью приковали.

— А ранен Пересвет в бою был,— подхватил Плахин.— Не резон князю гусляра протыкать, если он песню от него ждет. Да и кровь сочилась медленно — затянувшаяся, рана, наверное, открылась...

— Но цепи не помогли, и однажды разъяренный князь, зайдя в темницу, взмахнул мечом — помните след рубящего предмета? — да промахнулся в тесной камере,— сказал я, мысленно дивясь тому, как великолепно сыграл роль кристаллизатора совсем небольшой штрих.— Ну а потом — потом замуровать гусляра велел, да не вышло ничего.

— Складно у нас получилось! — воскликнул Лука Матвеевич.— Одна голова хорошо, а три лучше!

Три, конечно, лучше, но была еще четвертая «голова», Березкин, и он наконец высказал свое мнение.

— По-моему, у нас всего два незавершенных дела,— сказал Березкин.— Сплошная хроноскопия стен и хроноскопия замурованной двери. Что, если не откладывать на завтра? Больше все равно ничего не придумаешь.

После того как Березкин сам же прервал работу, предложение его прозвучало несколько неожиданно. Но я понимал, что наши догадки, к которым Березкин мысленно присоединился, не оставили его равнодушным. Логика была теперь на нашей стороне, узнали о братьях мы почти все, что вообще рассчитывали узнать, и не имело смысла откладывать последние сеансы хроноскопии на следующий день.

Итак, мы вернулись к прерванной работе, и вновь засветился экран хроноскопа.

Сплошное обследование стен не сулило ничего увлекательного. На экране действовал все тот же каменщик, действовал по-прежнему неторопливо, когда укладывал нижние камни, и поспешно, когда укладывал верхние. Короче говоря, мы настроились на долгое и скучное сидение перед хроноскопом.

И мы сидели долго, сидели упорно, и старички-краеведы уже стали шептаться о чем-то постороннем, как вдруг в поведении каменщика обнаружилось нечто странное: он стоял и вертел в руках внушительного размера камень.

Реакция Березкина, за секунду, до того казавшегося мне сонным, была мгновенной: он выключил хроноскоп.

— Что за черт! — донеслось до меня, когда Березкин уже бежал в подземелье.

Краеведы, на полуслове прервавшие разговор, ничего не понимая, смотрели вслед Березкину, а я стремительно помчался за ним. Я знал, почему Березкин выключил хроноскоп: он хотел выяснить, какую часть стены обследовал «электронный глаз» в тот момент, когда изменилось поведение каменщика.

— Вот,— сказал Березкин, увидев меня, и положил руку на стену чуть ниже следов от вырванных колец.— По-моему, должен быть тайник.

Мне, собственно, пришла в голову та же самая мысль, но произнесенное вслух слово «тайник» произвело на меня почти ошеломляющее впечатление.

— Спокойнее, спокойнее,— сказал Березкин, сказал не мне, потому что я не сделал ни одного движения, а себе, и мягко провел рукой по влажной холодной стене.— Не будем волноваться, и спешить не надо.

Мы не спешили, мы действовали методично, аккуратно, и лишь часа через два нам удалось слегка повернуть камень, за которым оказалось небольшое пустое пространство.

Нужно ли говорить, как взволновала нас находка тайника?

И вот яркий луч фонаря осветил его, и мы увидели пролежавшие там несколько столетий какие-то бурые листы, прижатые плоским камнем...

Я слышал за своей спиной учащенное дыхание краеведов и откуда-то появившегося Локтева, мне самому не терпелось узнать, что это за листы, но я помнил, что они могут рассыпаться от прикосновения, и тогда уже никакой хроноскоп не поможет нам.

Осторожно залив листы скрепляющим составом, который мы всегда возили с собой, я предложил закончить хроноскопию стен: все равно нужно было ждать, пока листы пропитаются и подсохнут.

Только мы с Березкиным продолжали следить за экраном, на котором по-прежнему трудился каменщик. Разговоры вокруг становились все шумней и восторженней, мы невольно прислушивались к ним, но ни меня, ни Березкина они не отвлекали от главного. Как и следо-

вало ожидать, Лука Матвеевич все твердил про «Слово», которое — он не сомиевался! — найдеио нами. Плахии поддакивал ему, поздравлял, а я думал, что если мы действительио обнаружили «Слово», то вовсе не то, иа которое некогда рассчитывал киязь, и сам волновался, предчувствуя открытие огромиого зиачеиия для истории древнерусской литературы.

Хроноскопия стен ничего нового ие дала, и тогда Березкин перешел к обследованию замурованной двери. Прежде всего иам хотелось узиать, кто замуровывал ее — тот же каменщик, что строил темиицу, или кто-ибудь другой.

И хроиоскоп дал ответ: иа экране появился тот же самый каменщик.

— Не понимаю, где в это время находился Пересвет,— сказал Березкин.— Если бы каменщик его замуровал, он там и остался бы иавсегда. Казнь ие могли доверить одиому камеищику. Были и палачи, и стражиики, и они, коиечио, заметили бы, что камера пуста...

— Переходи к общей хроноскопии,— предложил я.— Гадать бесполезио.

Замуровывая дверной проем, камеищик работал иначе, чем при строительстве темницы, быстро, ио как-то небрежно, и я заподозрил, что небрежность его была умышленной: по щелям в камеру еще некоторое время мог поступать воздух...

Моя догадка противоречила уже сложившемуся у иас отиошению к каменщику, и я не сразу рискиул высказать ее вслух.

— Видишь ли, тайник — он тоже в пользу каменщика говорит,— ответил мне Березкин, когда я поделился с иим своими соображениями.— Сложнее все, чем мы поначалу решили. Думаю, что иас ждет еще одна неожиданность...

— Без помощи каменщика Владиславу не удалось бы спасти брата? Это ты имеешь в виду?

— Да. И еще я думаю, что хроноскоп действительно не случайно выделил каменщика после общей хроноскопии темницы. Ои иашел того «третьего», которого тщетно искал ты... Ты искал его в темнице, а он был на свободе. Он был союзииком братьев, твой «третий»...

— Значит, каменщик...— иачал я.

— Смотри! — резко перебил меня Березкин.

Каменщик творил на экране непонятное. Сначала он заложил камнями верхнюю часть проема, но почти тотчас вынул их снова, причем мы отчетливо видели, как твердая поверхность плохо отесанных камней крошит, обламывает уже начавший затвердевать раствор. А затем нечто длинное и узкое протиснулось в образовавшееся отверстие; глядя на экран, нельзя было понять, что это такое, но теперь остатки раствора частью ссыпались с наружной стороны стенки, а частью — в пазах — уплотнялись под нажимом чего-то мягкого и упругого, а на неровных краях камней застревали и обрывались волокна ткани... Когда узкое длинное тело протиснулось в отверстие — а им могло быть только тело человека — каменщик уложил вынутые камни на место и торопливо замазал щели свежим раствором...

— Вот тебе и ответ,— сказал Березкин.— Улучив момент, каменщик разобрал часть стены, помог Пересвету бежать, а затем вновь заложил отверстие и замазал щели, чтобы не вызвать подозрений... Конечно, ему помогал Владислав... А Константин Иванович до конца дней своих был уверен, что расправился с поэтом.

— Можете гордиться своим коллегой,— сказал я Басову.— Он был настоящим человеком.

Березкин посмотрел на часы:

— По-моему, пора.

Последний раз спустились мы в подземелье и бережно извлекли из тайника полуистлевшие листы. Они оказались берестой со слабо различимыми следами отдельных букв.

Увы — время погубило текст, и даже хроноскоп ничем не смог помочь: на экране, правда, возникали то буквы, то даже целые слоги, но составить их в слова хроноскопу не удавалось...

Пожалуй, я не испытывал еще подобного разочарования, а на Луку Матвеевича было жалко смотреть... Березкин, нервничая, ставил перед хроноскопом все новые и новые задачи, но открытия, к великому нашему сожалению, не состоялось...

Немалая собранность, внутренняя дисциплинированность потребовались от Березкина, чтобы переключиться на другое: он поставил перед хроноскопом задачу выяснить, один человек или разные люди выбивали монограмму и писали на бересте.

Имелись, разумеется, существенные различия между работой зубилом и работой гусиным пером, и Березкину пришлось помудрить над формулировками задания. Но в конечном итоге хроноскоп дал положительный ответ: да, один и тот же человек, и мы вслух назвали его — Пересвет.

Хроноскоп воспроизвел нам его облик — восстановил по почерку. Так, заканчивая сложное расследование, мы увидели нашего главного героя, человека, если верить хроноскопу, гармонично сочетавшего в себе мягкость и суровость, грубость воина и большую нежность поэта...

Гимн свободе, сложенный Пересветом в темнице, не дошел до нас. Но разве другие поэты не продолжили его песнь?

— Не знаю, найдется ли когда-нибудь «Слово» Пересвета,— сказал я совсем приунывшему Луке Матвеевичу,— но если и найдется, то не в Белозерске.

— Отдайте мне хоть листочки Пересветовы,— попросил Лука Матвеевич, и я молча протянул ему куски бересты.

— Ну вот, жил-жил ты своей мечтой, а она прахом обернулась,— не без грусти сказал Локтев.

— И все же — была мечта! — Лука Матвеевич бережно упаковывал драгоценные для него лоскуты.— Да и не кончилась она. Мечты — они не кончаются.

...Березкин отбыл в Москву на вертолете, а я решил проплыть на теплоходе от Белозерска до Череповца, посмотреть на северные края, на северные реки.

В день моего отъезда резко похолодало: шел дождь, дул сильный ветер. Озеро было мутным, в белых гребнях. Волны его — невысокие, тяжелые от песка — гасли на мелководье, не достигая дамбы, отделяющей канал. Там, на дамбе, высился серый обелиск над чьей-то братской могилой, стояли бревенчатые домики с петушками на крышах, росли исхлестанные дождями и ветрами деревья.

Я смотрел на братскую могилу и думал о Пересвете, о Владиславе, о каменщике... Нет, я не отказывался от своих прежних суждений о поэтах, каменщиках, оружейниках. Но сейчас я думал о другом: в трудные эпохи, в годы произвола они объединялись. Не всегда открыто, не всегда явно, и все же не раз выступали они в едином строю.

Впрочем, могло ли быть иначе?

К вечеру, миновав шлюз с поэтичным названием «Чайка», теплоход вышел из Белозерского канала в Шексну.

Дождь продолжал моросить, падали редкие серые хлопья снега, но я не уходил с верхней палубы и любовался широко разлившейся рекой, невысокими холмами с деревнями, буйными зарослями нежно-золотистого ивняка и цветущей черемухи. В сумерках открылся нам Горицкий монастырь. Навсегда уже отзвонили в нем колокола,— лишь белое здание по-прежнему высилось на холме,— и у меня почему-то возникло ощущение покоя, простора и света, и думалось о людях, некогда живших здесь, и еще об обманчивости этого самого ощущения покоя. Не было его, покоя, хотя так хотелось верить в вечную тишину, в вечный покой, глядя на растворяющиеся в сумерках очертания монастыря, на тихую широкую Шексну... Сложная, трудная, богатая событиями жизнь бурлила по берегам спокойных северных рек,— и разве не свидетельство тому судьба Пересвета и Владислава, двух братьев, связанных вечной дружбой, судьба каменщика, наконец?

Когда-нибудь, мечтал я, без всякой предварительной подготовки высадимся мы с Березкиным в каком-нибудь древнем захолустном местечке и поколдуем с хроноскопом на его погостах, в разваливающихся старинных церквах, и забытые люди яркой неповторимой судьбы непременно воскреснут, пройдут перед нами...

„НАЙТИ
И
не сдаваться“

TERRA AVST
RALI

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой мы с Березкиным отправляемся в Париж, где знакомимся с Анри Вийоном и узнаем от него кое-что о нашем забытом соотечественнике; в этой же главе сообщаются детали, относящиеся к истории исследования Антарктиды, а также выясняется, что не только хроноскоп, но и хроноскописты имеют в глазах людей некоторую самостоятельную ценность.

По преамбуле, предпосланной этой главе, можно заключить, что мы с Березкиным отправились в Париж для того, чтобы познакомиться там с Анри Вийоном. На самом деле все было иначе.

Весной, в конце марта, в Париже проходила международная конференция специалистов по счетно-решающим устройствам, и Березкин получил приглашение участвовать в ее работе. Очевидно, из вежливости пригласили и меня. Зная, что ровным счетом ничего там не пойму, я все-таки увязался с Березкиным, потому что наконец-то представился случай посмотреть Париж. «Хорошо, смотри,— сказал Березкин.— Но старайся не попадаться на глаза кибернетикам».

Итак, вылетев с Внуковского аэродрома на ТУ-104, мы через три с половиной часа приземлились в Париже, в аэропорту Бурже, и нас разместили в отеле «Коммодор», в центре города на Османовском бульваре.

Березкин тотчас исчез из номера, и я — тоже. Но двинулись мы, так сказать, в разных направлениях, и потом вообще встречались только поздно вечером.

По-моему, я трудился не менее напряженно, чем Березкин на своей научной конференции, и позволял себе лишь одну небольшую роскошь: вставал по утрам чуть позже, чем он, если не считать того утра, когда я бегал смотреть знаменитый рынок — «чрево Парижа».

Утром и застал меня в номере звонок из нашего посольства: мне сообщили, что некто Анри Вийон просит помочь ему встретиться со мной или с Березкиным.

Я заехал в посольство и прочитал там письмо Вийона, в котором он сообщал, что в его распоряжении находятся

дневники русского полярного исследователя Александра Щербатова. Анри Вийон просил встречи с нами, чтобы рассказать о некоторых подробностях дела.

У меня плохая память на имена, и я, при всем желании, не смог бы назвать все фамилии даже тех русских полярных исследователей, которых упоминал в собственных книгах. Но — тут уже вступают в силу какие-то свои законы — я могу безошибочно сказать, встречал ли когда-нибудь названное имя.

Имени Александра Щербатова я не встречал ни разу.

— Вийон был одним из руководителей французской антарктической экспедиции, работавшей по программе Международного геофизического года,— сказал мне сотрудник посольства.— Не прояснит ли это вам что-нибудь?

Я лишь молча покачал головой: до первой советской антарктической экспедиции в Антарктиде побывали только трое русских: Александр Степанович Кучин, гидрограф, участник экспедиции Амундсена на «Фраме», а также Антон Омельченко и Дмитрий Геров — участники экспедиции Роберта Скотта.

— У Анри Вийона давние связи с нашими полярниками,— сказал сотрудник посольства.— Но почему он не захотел переслать дневники прямо в их адрес, я не знаю. Наверное, ему нужен хроноскоп.

Сотрудник посольства позвонил Анри Вийону, и тот любезно согласился заехать за мной в отель.

Березкин заседал, а я, отложив беготню по музеям до лучших времен, стал ждать. Ровно в пять часов меня по телефону пригласили в вестибюль.

Спустившись вниз, я увидел невысокого человека с седыми висками и тонким смуглым, иссеченным густыми морщинками лицом. Для марта месяца он был одет, пожалуй, слишком легко — в летний светлый макинтош.

— Рад вас видеть, мсье Вербинин,— сказал Анри Вийон и резким движением протянул мне небольшую крепкую руку. Он смотрел на меня настороженно, испытующе и, как будто, даже не старался этого скрыть. Потом, словно преодолев последние сомнения, Анри Вийон улыбнулся и предложил зайти в ресторан.

Мы заняли угловой столик в небольшом голубом зале ресторана «Коммодор», и мсье Вийон, заказав вина, спросил, знаю ли я что-нибудь о Щербатове. Очевидно, он

предвидел мой ответ и, коротко кивнув, сказал, что я и не мог ничего знать о нем.

— Имя вашего соотечественника помнили только в нашей семье,— пояснил Анри Вийон и, предупреждая мой вопрос, добавил: — Он участвовал во французской антарктической экспедиции Мориса Вийона...

Я быстро вскинул глаза на своего собеседника.

— Да,— сказал Анри Вийон.— Это был мой дед.

Официант разлил бургундское по бокалам, и мсье Вийон, сделав небольшой глоток, продолжал:

— Теперь вы понимаете, что дело, в которое я собираюсь посвятить вас, отчасти имеет семейный характер. Потому-то и настаивал я на личной встрече с русским специалистом.

— Слушаю вас.

— Ни Морис Вийон, ни Александр Щербатов не вернулись,— глядя на рубиновый бокал, сказал Анри Вийон.— Они погибли в Антарктиде в шестнадцатом году. Одна из партий нашей экспедиции случайно обнаружила зимовку, выстроенную моим дедом, и там мы нашли его дневники и дневники вашего соотечественника. Они знали, что погибнут, и оставили дневники вместе с геологической коллекцией, надеясь, что когда-нибудь их найдут. Это случилось нескоро, но все-таки случилось...

Анри Вийон умолк, и молчал довольно долго, нервно барабаня тонкими пальцами по столу. Он смотрел мимо меня, в дальний угол почти пустого зала. Я терпеливо ждал, когда он заговорит вновь, думая о своем: я думал, что мы с сотрудником посольства ошиблись,— Анри Вийон все знает, и хроноскоп ему не нужен. Но для чего же тогда потребовался я?

— Дневники Мориса Вийона и Александра Щербатова — это документы, исполненные трагизма и величия,— тихо сказал Анри Вийон.— Руководитель экспедиции и его каюр сами повинны в своей гибели, если слово «повинны» уместно в данном случае. Они остались бы живы, если бы не задержались в открытом ими оазисе. Но они пошли на риск во имя науки и не вернулись... Не вернулись. И к вам я обратился не потому, что вы — обладатель чудесного хроноскопа, и не потому, что вы занимались историей полярных исследований... Парижские газеты перепечатывали выдержки из некоторых ваших отчетов, и я понял по ним, что главное для вас — люди,

их судьбы. А хроноскоп или еще что-нибудь — не более чем средство... Я не ошибся?

— Вы не ошиблись.

Анри Вийон энергично кивнул.

— Считайте мое обращение к вам как обращение человека к человеку, а не клиента к следователю-хроноскописту. Вас это не удивляет?

— Только радует,— совершенно искренне ответил я.— Не сомневаюсь, что мой друг Березкин тоже будет обрадован.

— В истории исследования Антарктиды имена Мориса Вийона и Александра Щербатова должны стоять рядом,— тихо сказал Анри Вийон.— Очень просто отдать предпочтение начальнику экспедиции перед каюром... Когда вы познакомитесь с записками Щербатова, вы поймете, что так же просто поднять на щит его, потому что в Антарктиде неожиданно подтвердилась удивительно смелая гипотеза вашего соотечественника... Но я ценю выше всего их человеческий подвиг и считаю, что мы обязаны равно воздать должное памяти обоих исследователей...

Поскольку уже выяснилось, что никаких разногласий по этому вопросу у нас не предвидится, мы отправились к Анри Вийону.

Неизменно упоминаемые при описании Парижа — и неизменные в Париже! — «сиреневые» сумерки уже медленно заливали город. Свернув с шумного Османовского бульвара, мы миновали просторную площадь Согласия и вышли к набережной Сены — почти безлюдной, если не считать рыбаков, терпеливо рассматривавших поплавки собственных удочек... Анри Вийон молчал, думая о чем-то своем... А сумерки становились все гуще, и теперь уже совсем слабо вырисовывался за мостом Альма вознесенный к низкому небу решетчатый силуэт Эйфелевой башни. Было прохладно, как бывает прохладно ранней весной по вечерам, и некрупные листья на каштанах вдоль набережной казались съежившимися от холода...

Я смотрел на старые, темные от времени и копоти дома, на низкие мосты над Сеной, на Сену, такую же неширокую и мутную, как наша Москва-река, на тихие каштаны, уже протягивающие на ветвях незажженные зеленые свечи будущих цветов,— смотрел и думал, что, наверное, очень трудно надолго расставаться с родным

городом, уезжать на другой край света, добровольно переселяться в мир, не имеющий ничего общего вот с этим, привычным,— в мир морозов, ветра и льда... Трудно — и по странному свойству человеческой души — радостно.

Я до сих пор жалею, что не удалось мне в более молодые годы попасть в Антарктиду — не удалось, несмотря на мои неоднократные попытки устроиться в экспедицию... Что ж, своеобразным утешением будет теперь для меня самое необычное из наших хроноскопических занятий — подготовка публикации о Морисе Вийоне и Александре Щербатове. Самое необычное, но и самое простое, наверное.

Дома, у себя в кабинете, Анри Вийон достал из папки несколько старых фотографий и показал их мне. На фотографиях были запечатлены люди в меховых одеждах, бородатые, усатые и поэтому очень похожие друг на друга. На последнем снимке, сделанном перед началом санного похода, Морис Вийон стоял в группе товарищей, отбросив на спину капюшон меховой парки, а Щербатов, присев, поправлял ремни на вожаке упряжки — крупной, светлой масти ездовой лайке... Я внимательно просмотрел все фотографии, на которых был изображен Щербатов, но описать его внешность все равно затрудняюсь, потому что отросшие за зиму борода и усы скрадывали черты лица, а надвинутая на лоб меховая шапка делала его портрет еще менее выразительным.

Анри Вийон положил передо мной толстую тетрадь в добротном кожаном переплете, почти совсем не пострадавшем в анаэробных условиях Антарктиды. Я раскрыл ее наугад. Страницы были исписаны ровным мелким почерком, и в глаза сразу же бросилось иное чем теперь, но такое же, как и в тетрадях Зальцмана, написание отдельных букв, бесконечные твердые знаки в конце слов...

— Вы еще успеете прочитать дневник,— сказал Анри Вийон.— Но чтобы понятнее стали вам причины гибели путешественников, а также значение их открытия, вам придется познакомиться с рукописью Щербатова, сохранившейся у нас в семье. В статье излагается его гипотеза о прошлом Антарктиды, о которой я вам говорил...

— О прошлом? — переспросил я.

— Да, о прошлом,— сказал Анри Вийон.— И возьмите на память вот это,— он протянул мне обломок темной горной породы.— Это из их коллекции...

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой излагаются совершенно неожиданные соображения о прошлом Антарктиды, а также выясняется нечто новое о взаимоотношениях Мориса Вийона и Александра Щербатова; место действия в этой главе переносится из Парижа в Онегу.

История, которая первоначально показалась мне очень простой, обернулась для нас с Березкиным полной неожиданностью. Неожиданность эта — не в характере хроноскопии, нет, хроноскопия свелась к минимуму,— но именно в самой истории.

Я нахожусь сейчас у Белого моря, в Онеге, один, потому что Березкин не смог вырваться из Москвы. Одиннадцать часов вечера. В окна гостиницы бьют слепящие солнечные лучи. А за окнами — тихий деревянный городок с зелеными, без наезженной колеи улицами, с гнездами ласточек на окнах государственных учреждений, с ленивыми, спящими поперек деревянных тротуаров собаками, с устойчивым запахом свежего сена, который ветерок доносит и сюда, в комнату...

Впрочем, теперь, хотя бы мысленно, нам предстоит ненадолго вернуться в Париж.

Тогда, после встречи с Анри Вийоном, я возвращался на Османовский бульвар в несколько элегическом настроении, возвращался по ночному, залитому светом неоновых реклам Парижу, присматриваясь к парижанам, останавливаясь у художественно оформленных витрин, и не подозревая, что держу в руках нечто такое, что через полчаса или час буквально потрясет меня.

Не знаю, почему Анри Вийон не рассказал мне все с самого начала. Но, уходя от него, я не сомневался, что под прошлым Антарктиды он подразумевал геологическую историю материка.

Ничего похожего, между прочим. Александр Щербатов полагал, что Антарктида была родиной древнейшей человеческой цивилизации. Вот так. Не больше и не меньше.

Я вернулся в отель раньше Березкина, принял душ, а потом, чувствуя себя немного утомленным, взялся читать то, что было покороче — не дневник, а статью. Вот тут, как говорится, все и началось.

Березкин, войдя в номер, сразу почувствовал неладное и, выслушав мой сумбурный рассказ, покосился сначала на стол, потом под стол: очевидно, он заподозрил, что в трезвом состоянии я не смог бы наговорить ничего подобного.

— Лед,— начал было Березкин, но я его тут же поднял насмех. Разумеется — лед, ледниковый панцирь! Это опровержение сразу же приходит в голову, и Щербатов, конечно, знал о нем!

Березкин — уставший, пропахший дымом сигарет — молча отобрал у меня статью и прочитал ее.

— Но какое это имеет отношение к нам? — спросил он потом.

Мне пришлось пересказать своему другу все, что я успел узнать о Морисе Вийоне и Александре Щербатове, и Березкин смилостивился: как я и предвидел, особое доверие, проявленное Анри Вийоном по отношению к нам, хроноскопистам, не оставило его равнодушным.

— Меня вполне устроит, если в ближайшие месяцы ты будешь занят дневниками Щербатова,— сказал Березкин.— Это по твоей части, а я повожусь с хроноскопом. Понимаешь, после этой конференции...

Я все понимал и не стал возражать.

На следующий день, позвонив Анри Вийону, я выразил ему и свое удивление, и свое восхищение смелой гипотезой.

— Мне будет приятно, если вам посчастливится найти дополнительные сведения о вашем соотечественнике,— ответил Анри Вийон. Я не в силах помочь вам фактами, но, с вашего разрешения, напомню, что люди, мысль которых отличалась бунтарской смелостью, оставляли после себя след не только в той специальной области науки, которой занимались... Вы понимаете меня?

— Вполне.

Этот француз, право же, все больше и больше нравился мне.

Я отнес «дело» Щербатова к первоочередным своим планам, но, как вы, наверное, догадываетесь, белозерское расследование отвлекло не только Березкина, но и меня, и помешало быстрому завершению работы.

Впрочем, составить себе некоторое представление о героях этого моего повествования я сумел довольно скоро — и дневник мне помог, и письма Анри Вийона. И хро-

носкоп тоже, разумеется, хотя иа его долю выпала иа сей раз совсем иебольшая иагрузка.

Хроиоскопия в точиом смысле слова свелась лншь к нзучению диевника. Дневиик пнсался человеком, погибшим в Антарктнде и к коицу похода зиавшем, что он погибнет. С узко профессиональной точки зреиия, это обстоятельство и могло послужить ключом к раскрытию характера. Ведь само собой напрашивается предположенне, что удастся обиаружить существенные разлнчия в тоиальности, в особеииостях почерка, если сравиивать первые страницы, написаииые человеком, уверенным в победе, и последине страиицы, написанные человеком, знающим, что он побеждеи и погибнет...

Короче говоря, такого рода задание было дано хроноскопу, и он, как и следовало ожндать, обиаружил различня: первые страницы писались рукой здорового, полиого сил человека, последиие — рукой предельно уставшего и спешащего заиести свои наблюдеиня и мысли в диевник.

Но хроиоскоп, как ни изменялн мы формулировку задання, настаивал на одиом: и первые и последине страницы пнсались человеком, иаходившемся в спокойном состояннн духа. Сообщая о своей скорой и иепремеииой гнбелн, Щербатов оставался спокоен и тверд, никакие раскаяиия илн сомиення не мучнлн его. Беспокоила его только судьба диевииков, судьба открытня...

Облик мужественных, до конца предаиных иауке исследователей вставал со страниц диевиика, и надо ли говорнть, что восхищеиие их подвигом, иевольиая ответственность за нх открытие требовалн теперь от нас с Березкнным работы точиой и быстрой?

Я поиимаю, что уже пора переходить к рассказу о сущиости гипотезы, и все-таки прошу миииуту терпеиия — мие необходимо добавить еще несколько слов к характеристике Щербатова н Мориса Вийоиа.

Насколько я поиял по диевннку, Щербатов еще в юиостн получил отличиое гумаинтариое образоваиие. Позднее он поступил в Московский уинверситет, на кафедру географнн. Там его учителем стал выдающнйся русский географ, исторнк и этнограф Дмнтрий Ннколаевич Аиучии, сразу же распозиавший в своем ученике способиость к аиалитнческому мышлеиию, глубокнй интерес к географии н исторнн. Еще до отъезда в экспеднцню Щербатов

с помощью профессора Анучина опубликовал несколько статей о географических взглядах ученых классической древности.

Морис Вийон был старше Щербатова. По сведениям, сообщенным мне его внуком, он родился за год до Парижской коммуны, а отец его даже участвовал в боях с версальцами. Юношей Морис Вийон занялся было политикой, но затем предпочел жизнь полярного исследователя и уехал в свою первую экспедицию в Гренландию... Что влекло Мориса Вийона в полярные страны, сказать трудно, но, мне кажется, что в какой-то степени его путешествия были бегством от того общества, в котором разочаровался Вийон, и внук его согласился со мной.

А теперь обратите внимание на такое обстоятельство: Щербатов горожанин, гуманитарий — знаток античной литературы! — работал в экспедиции... каюром.

Очевидно, он учился управлять собачьими упряжками не в Александровском саду перед Московским кремлем.

Столь же очевидно, что Морис Вийон покупал ездовых собак не на Елисейских полях в Париже.

И — простейший вывод: в жизни Щербатова произошло нечто такое, что забросило его на север, где он овладел искусством каюра и где позднее встретился с Морисом Вийоном.

Я написал письмо Анри Вийону, попросив сообщить, где покупал собак его дед, и он ответил, что на Белом море либо в Мезени, либо в Онеге.

Не теряя времени, я познакомился с отчетами различных экспедиций на Белое море и убедился, что имя Щербатова в них не упоминается.

И тогда я вспомнил, что в дневнике Щербатова мне встретилась ссылка на «Капитал» Карла Маркса. И я подумал, что студент Московского университета, наверное, не по своей воле оказался на берегу Белого моря, что знакомство с марксистской литературой однажды побудило его перейти к активным действиям и кончилось это для студента ссылкой в Онегу.

Теперь я знаю, что именно здесь, в Онеге, Щербатов встретился с Морисом Вийоном.

Их встрече не предшествовали никакие выдающиеся события — просто Морису Вийону нужен был переводчик, и Щербатову разрешили помочь экспедиции приобрести собак. Он оставил — думая, что ненадолго — небольшую

метеостанцию, им же созданную в Онеге, и перешел, как говорится, в распоряжение Мориса Вийона.

Я размышлял об их встрече, об их взаимоотношениях, сидя на берегу Онеги. Не знаю, как другим, но мне в раздумьях помогает вид тех мест, где некогда побывали мои герои, да и раздумья при этом обретают подчас необходимую писателю теплоту, лиричность, если хотите.

Онега при впадении в Белое море — река широкая, светлая. Длинные черные нити бонов расчерчивают ее на прямоугольники, в которые заключен сплавленный молем лес. Было начало отлива, вода устремлялась в море, и бревна напирали на нижние боны, стараясь вырваться на свободу, в море. Боны, изгибаясь, сдерживали напор, а я, наблюдая за рекой, пытался мысленно представить себе разговор, который неизбежно должен был произойти между Щербатовым и Морисом Вийоном — разговор о прошлом Антарктиды.

Щербатов закончил свою статью в ссылке, в Онеге и, конечно же, не мог не поделиться своими выводами с человеком, который отправлялся в Антарктиду.

Наверное, услышав о странной на первый взгляд гипотезе, Морис Вийон попросил у Щербатова разъяснений.

«К вашим услугам,— надо полагать, ответил ему Щербатов.— Прямых доказательств, как вы сами понимаете, у меня нет, но косвенные, основанные на изучении античной литературы, я могу привести. Вернее, я могу объяснить, почему задумался о прошлом Антарктиды и какая цепь умозаключений привела меня к столь поразившему вас выводу...

«Известно, например,— продолжал Щербатов,— что еще за две с половиной тысячи лет до нашей эры к фригийскому царю Мидасу явился некий путешественник и рассказал ему о далекой Южной Земле, населенной великанами, богатой золотом...»

«Я знаю эту легенду»,— перебил, наверное, Вийон.

«Она достаточно широко известна,— должен был согласиться с ним Щербатов.— Но я напомнил ее лишь для того, чтобы подчеркнуть древность первых сведений о загадочном материке... А вот забавный исторический парадокс. Вы уж извините, но мне вновь придется напомнить общеизвестное. Как вы знаете, в двух сочинениях Платона, «Тимэе» и «Критии», упоминается Атлантида.

И этого упоминания в трудах лишь одного ученого древности, написанных, кстати, в форме утопического ромаиа, оказалось достаточно, чтобы в наше время сотни людей размышляли об Атлантиде, искали ее следы... А в том, что существует Южный материк, были убеждены все античные географы,— я подчеркиваю — убеждены и всё,— но никому из современных ученых не приходит в голову проверить, на чем основывалось их убеждение!»

Уж не знаю, как реагировал Морис Вийон на высказанные примерно в такой форме соображения Щербатова, но, мне кажется, они должны были его озадачить.

А Щербатов продолжал развивать свою гипотезу.

«Напомню вам еще одну историческую несообразность. Если не считать Европу, Азию и Африку, издавна известные средиземноморским народам, то все остальные материки были открыты случайно. Северную и Южную Америку открыли, когда искали морской путь из Европы в Индию, случайно наткнулись на Австралию... А о Южном материке тысячелетия думали ученые, сотни лет мореплаватели сознательно, целеустремленно искали его и, что уж совсем удивительно, нашли!.. Не согласитесь ли вы со мной, мсье Вийон, что слишком легкомысленно все сводить к легендам и недоразумениям? Я лично убежден, что за мифологическими напластованиями скрываются подлинные знания древних о Южном материке...»

Как видите, в рассуждениях Щербатова,— а я инсценирую его разговор, основываясь на некоторых документах,— зазвучал мотив, уже знакомый и мне, и Березкину по прежним расследованиям: нельзя пренебрегать памятью народной, нельзя бездумно отмахиваться от мифов и легенд...

«Но от кого же узнали древние о Южном материке?» — вправе был спросить Вийон.

«От самих антарктов, жителей Южного материка...»

«Я не допускаю мысли, что вы не слышали о походах Шеклтона, Амундсена, Скотта. Сплошной лед...»

«А тогда не было сплошного льда. Я исхожу из предположения, что ледниковый покров возник примерно десять тысяч лет назад, когда заканчивался ледниковый период в северном полушарии. Влага с Северного полюса переиеслась к Южиому...»

«А где доказательства?»

«А у вас есть доказательства, что ледяному покрову, допустим, миллион лет? Нет у вас таких доказательств, и, стало быть, любое предположение одинаково гипотетично!»

...Начало отлива — самое оживленное время на реке. Тарахтят небольшие доры — так почему-то на Белом море называют моторные лодки, деловито трудятся маленькие катера, разводя боны — с отливом бревна сами двинутся вниз по реке к лесобирже, к лесопильному заводу, где земля смешана со щепой, где в болоте вместо торфа — щепа, где повсюду висят предупреждения, запрещающие курить,— поплывут не к тихой, пропахшей свежим сеном Онеге, а к другой, дымной и шумной, изъезженной автобусами, лесовозами, к той Онеге, где кончается зеленая жизнь леса... Впрочем, все когда-нибудь и где-нибудь кончается,— позволим себе столь глубокомысленное заключение.

Но в тысяча девятьсот четырнадцатом году, в канун первой мировой войны для Щербатова только началось главное в его жизни: Морис Вийон, полушутя, предложил ему лично познакомиться с антарктами. Надо ли говорить, что предложение было с радостью принято? Осуществить его было непросто, но бдительность властей удалось усыпить, и Онега вынесла шхуну «Ле суар» в Белое море, откуда она начала свой путь к Белому континенту.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой коротко рассказывается о походе Мориса Вийона и Александра Щербатова во внутренние районы Антарктиды, а также описываются обнаруженные ими загадочные скульптуры, очевидно, созданные антарктами.

В тот вечер, когда мы с Анри Вийоном медленно брели по набережной Сены к его дому, Вийон вдруг остановился и, чуть усмехнувшись, сказал:

— Морис Вийон и Александр Щербатов, конечно, не раз прогуливались по набережной, как сейчас мы с вами. Семья наша уже лет сто живет неподалеку от Сены... И где-нибудь здесь они прощались с Парижем, чтобы не встретиться с ним больше никогда...

Я кивнул в знак согласия, но про себя подумал, что

Александру Щербатову пришлось еще прощаться с Россией, и теперь я знал, с каким уголком ее. Мне уже доводилось признаваться в своей любви к русскому северу, и, может быть, по этой в некотором роде субъективной причине, я думал о прощанье с грустью, которую вряд ли испытывал Щербатов, бежавший из ссылки.

Но Онега и тогда была хороша. Те же высокие, с подклетями для скота, стояли дома на ее улицах, такие же деревянные тротуары были настелены над глубокими дренажными канавами, и на таких же коромыслах, похожих на половинку хомута, тогда носили воду в ведрах. И такие же разнотравные луга цвели за околицей, и та же тайга с голубикой, морошкой, княженикой тянулась по берегу реки, и так же звенели в ней комары, и такие же белоголовые ребята пасли в тайге коз, скармливая им нарубленные сосновые ветки...

И потому, что Онега запала мне глубоко в душу, и еще потому, что дни стояли необычно теплые и ясные, и онежане посматривали на мои внушительные сапоги с некоторым удивлением,— по всем этим причинам по-особому думалось о Щербатове, некогда бежавшем из Онеги, о его последних месяцах и днях, проведенных во льдах и снегах Антарктиды.

Короткого антарктического лета едва хватило Морису Вийону, чтобы пробиться к побережью южного материка и выстроить жилые дома и служебные помещения. Осень в том году выдалась поздняя, теплая, и шхуна «Ле суар», выполняя распоряжение начальника экспедиции, прошла вдоль побережья на запад. В условленном месте ее экипаж успел выстроить промежуточную базу.

А затем наступила долгая зима. Впрочем, едва ли стоит описывать подробности зимовки: раз уж мне не посчастливилось побывать в Антарктиде, то точнее, чем очевидцам, мне все равно этого не сделать.

Подумаем лучше вот о чем: размышлял ли Щербатов в течение очень долгой антарктической зимы о своей гипотезе?

Если верить дневнику,— почти нет, и мне кажется, что так оно и было. Одно дело фантазировать об антарктической цивилизации за тридевять земель от Южного материка — даже в северной Онеге! — и совсем другое, когда ты сам живешь на леднике, бродишь по снежным тоннелям и с почтением смотришь на термометр, пока-

зывающий минус пятьдесят градусов при штормовом ветре.

Я не хочу, чтобы эти строки были поняты так, будто Щербатов отказался от своей гипотезы. Нет, он от нее не отказывался. Просто за время зимовки он понял, что у него нет даже слабой надежды как-то подтвердить ее, И поэтому в Антарктиде, чаще чем об антарктах, он вспоминал о товарищах-студентах, о профессоре Аиучине, с которым однажды поделился своей догадкой, о Московском университете, в который мечтал вернуться...

Когда Морис Вийон, метеоролог Гюре и каюр Щербатов собрались в санный поход в глубь материка, они, конечно же, не планировали поиск следов древней цивилизации, они стремились лишь уточнить карту района. Такая же цель стояла и перед второй партией, которую возглавлял геолог Ришар.

После того как будут опубликованы дневники Мориса Вийона и Щербатова, читателям станут известны подробности их похода с описаниями снежных бурь, холода, рискованного перехода через зону трещин, во время которого погиб метеоролог Гюре. Я же сразу перейду к рассказу о последней, заключительной части перехода, когда Морис Вийон и Щербатов — изголодавшиеся, обмороженные, потерявшие всех собак,— продолжая упорно идти по намеченному маршруту к промежуточной базе, вдруг увидели впереди небольшое кучевое облако, неподвижно застывшее в синем воздухе. Вийон и Щербатов знали, что кучевое облако не могло образоваться над ледяным куполом, лишь нагретая солнцем земля могла породить его,— и они пошли к этому облачку, пошли к своей смерти и к своему бессмертию... Они шли долго, и облако все манило их, а потом на горизонте возникло черное пятно — обнаженные скалы, и измученные путники заторопились, почти побежали к ним...

В те годы никто не подозревал, что во внутренних районах Антарктиды встречаются свободные ото льда оазисы. Не удивительно поэтому, что исследователи были поражены видом бурой, «теплой», как записал в дневнике Щербатов, земли или, точнее, скал и красноватого, причудливой формы незамерзшего озера.

Но скалы не только имели «теплый» цвет — солнце по-настоящему нагрело их, и Вийон со Щербатовым, бросившись на выветренные, покрытые коричневатой коркой

камии, долго лежали, всем телом впитывая тепло, блажеиствуя, отдыхая... В последние дни мысль о гибели не раз приходила в голову и Вийону, и Щербатову, но теперь, когда пальцы их перебирали угловатые обломки щебня, скопившегося в пазах между камнями, когда с криком кружил над ними снежиый буревестник,— теперь они чувствовали себя спасенными!

Приподнявшись, чтобы еще раз оглядеться, Алексаидр Щербатов увидел метрах в ста от себя огромного каменного барана. Щербатов легонько толкнул Вийона и по изумленному выражеиию лица своего спутника понял, что ему не померещилось. Да, перед ними стояло изваяние могучего, крутолобого с кольцеобразными рогами барана, а дальше, за ним, виднелось изваяние безрогого быка с высокой холкой.

— Кажется, мы оба в здравом уме,— тихо, словио боясь спугнуть животных, сказал Щербатов Вийону.

— Как будто бы,— ответил тот.

Сам не зная, для чего он это делает, Щербатов взгляиул на часы: они показывали двадцать три часа тридцать пять минут.

Прошло еще несколько минут, и что-то неуловимо изменилось в странном мире оазиса: бык и баран вдруг утратили четкие контуры, они как бы растворялись, превращаясь в бесформенную каменную массу, в обычные, ничем не примечательные скалы. Но в те же минуты другие, столь же обыкновенные и ничем не примечательиые скалы, словно под резцом невидимого скульптора, стали обретать еще неясные контуры. Чудилось, что пластичный камеиь делается упруже, собранней, сбрасывает с себя лишние куски породы, мешающие проявиться скрытой сути вещества...

Таинствеиное движение огромной глыбы ни Вийон, ни Щербатов не могли объяснить, но оно совершалось, и завершилось появлением слоноподобного животного, прочио стоящего на земле Антарктиды на коротких тумбах-ногах. Яркий солнечный блик упал на выпуклое плечо гиганта, и тогда случилось еще более фантастичное: Морис Вийон и Щербатов увидели тонкую женскую фигуру, прильнувшую к ноге слона и молитвенно протягивающую руку к нему, владыке.

Щербатов вскочил, порываясь броситься к фигурам, но Вийон остановил его, и не напрасно: через несколько

мгновенний женская фигура исчезла, причем исчезла моментально, будто ее убрали.

И вновь Щербатов непроизвольно взглянул на часы: они показывали ноль часов тридцать минут.

— Галлюцинация,— сказал Щербатов; он дышал тяжело, как после долгого бега.

— Нет,— возразил Вийон.

Щербатов постарался взять себя в руки. Каменный слон уже медленно растворялся в лучах низкого солнца; лишь на секунду возникла неподалеку от него гибкая кошачья фигура какого-то хищника и исчезла.

Морис Вийон и Александр Щербатов продолжали всматриваться в очертания скал, но загадочная жизнь их уже прекратилась.

— Причуды выветривания,— сказал Щербатов, которому, наверное, было страшно произнести вслух мысли, пришедшие ему в голову.

— Нет,— снова возразил Вийон. Он произнес это подчеркнуто твердо.— Нет!

И тогда они посмотрели в глаза друг другу.

— Я думаю о вашей гипотезе,— сказал Вийон.

Солнце висело совсем низко, холодный ветер, скатываясь с окрестных ледников, проносился над оазисом. Зябко поводя плечами, Щербатов занялся палаткой и долго ничего не отвечал.

— Нет,— сказал он потом.— Не может быть...

— Может,— возразил Вийон.— Может и было. Без человека тут не обошлось.

— Невероятно! — Щербатова лихорадило в спальном мешке, он пытался и не мог согреться.— Просто невероятно!

Морис Вийон лежал и высчитывал, сколько им осталось идти до промежуточной базы. Там ждет их Ришар. Но он будет ждать их только до двадцатого января. Это крайний срок, и Морис Вийон сам приказал ни на день не задерживаться. Ришар уйдет, а если он уйдет... Да, времени у них в обрез. Ни одного дня в запасе.

— Останемся здесь на сутки,— предложил Морис Вийон.— Если все повторится...

— Надо остаться,— сказал Щербатов, уже успевший произвести те же подсчеты.

Весь следующий день Щербатов отмалчивался, а Морис Вийон, наоборот, был возбужден, взвинчен и, несмотря

на бороду и запавшие щеки, выглядел помолодевшим.

— Наверное, мы недооцениваем интеллекта и творческих способностей наших предков,— сказал он Щербатову.— Вообще — человека! И я вместе со всеми повинен в этом. Разочароваться в человеке, в людях — в людях, способных творить прекрасное. Нет, черт возьми! Мы еще поборемся!.. Как по-русски «человек»? — спросил он и, с трудом выговаривая незнакомое слово, по слогам повторил его за Щербатовым.— Че-ло-век!

Прошли сутки, и в тот же самый час, около полуночи, мертвые скалы ожили: сначала появились баран и бык, потом — слон с прильнувшей к его ноге женщиной и гибкая крупная кошка...

— Поздравляю! — не скрывая восторга, сказал Морис Вийон.— И вас, и себя поздравляю! Замечательнейшее открытие! — Он задумался, и уже иным тоном, по-деловому, добавил: — Антаркты знали тайну сочетания скальных контуров с падающими на них солнечными лучами... Скорее всего, здесь находился храм, и сотни людей сходились сюда в полуночный час молиться.

Щербатов по-прежнему отмалчивался. Он свыкся с мыслью, что гипотеза его, рожденная за письменным столом, никогда не подтвердится, и открытие оглушило его. Нужно было время, чтобы прийти в себя, и, пожалуй, никогда раньше он не мечтал так о встрече со своим учителем Анучиным, как в эти часы.

А потом Вийон и Щербатов перестали размышлять о древней цивилизации: они шли и считали оставшиеся до двадцатого числа дни. Получилось, что, если ничего не случится, они все-таки успеют...

Снежный шторм обрушился на палатку, когда они уже находились на расстоянии одного перехода от базы. Они поняли, что это конец. И потому, что от базы их отделял всего день пути, они с особой ясностью сознавали, что открытие памятников антарктической культуры будет стоить им жизни.

Давно уже дома у нас существует традиция: перед далеким путешествием мы с женой обязательно приходим к Московскому университету, но не к новому зданию, а к старому, на Манежной площади. Там, за главными зданиями, есть невидимый с улицы невзрачный четвертый корпус. Теперь в нем разместился философский факуль-

тет, но раньше принадлежал он географам и геологам. Оттуда уезжали мы в первые экспедиции и туда мы возвращались осенью — бородатые, загоревшие, повзрослевшие...

Я мечтал об Антарктиде, и если бы мне посчастливилось принять участие в антарктическом путешествии, оно началось бы для меня у стен четвертого корпуса.

Не знаю, где находилась кафедра географии, когда в университете учился Щербатов. Но ведь для него-то, если быть точным, путешествие на Белый континент действительно началось с Манежной площади, и кирпичные стены Кремля, кремлевские башни навсегда остались в его памяти. Мне несложно было повторить начальный этап путешествия Щербатова. Поездом — до Архангельска, потом — переправа на Кег-остров, оттуда — самолетом: Северная Двина под крылом, тайга, озера, похожие на капли голубой ртути, и — Онега.

А сейчас я прощаюсь с Онегой. Теплоход «Карелия» уже отошел от причала. На реке тихо, и слышно, как бьется о подводную часть судна «топляк» — затонувший, но еще не легший на дно лес... Мне еще дано будет увидеть, как и Щербатову, гранитные луды, выступающие, как спины китов из вод Белого моря, я увижу те же проливы-салмы, и тот же лесистый Кий-остров с остатками белокаменного монастыря... И все. Весь остальной гигантский путь Щербатова, вплоть до того рокового дня, когда они с Вийоном не застали на базе Ришара, мне проследить не удастся. И вообще, хватило бы у меня мужества и сил на подобное путешествие?

Я здоровый человек и не отношу себя к трусам. Но попробуйте поставить перед собой тот же вопрос, и вы убедитесь, что ответить на него непросто.

Щербатов совершил открытия в Антарктиде, я — только мечтал о них. Один из моих друзей, узнав, что его дерзкая мечта, связанная с изучением Северного Ледовитого океана, осуществлена другим, написал стихи, в которых были такие строки:

Я славлю героя, который
Исполнил мою мечту!

И мне захотелось повторить эти строки,— повторить, не считаясь с хронологией.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

и последняя, в которой я «представляю интересы» Щербатова в разговоре с атлантологом и привожу дополнительные соображения в пользу антарктической гипотезы: в этой же главе высказываются некоторые, быть может, спорные, мысли о значении «сумасшедших» идей для человечества.

До расследования истории Мориса Вийона и Александра Щербатова Атлантидой я интересовался чисто дилетантски,— почитывал статейки о ней, не более.

И все-таки я немножко завидовал ученым, которые находили время и силы всерьез заниматься проблемой, поставленной более двух тысяч лет назад философом Платоном. Завидовал нашему крупнейшему геологу Владимиру Афанасьевичу Обручеву, который помещал Атлантиду в северной половине Атлантического океана (мне его гипотеза казалась сомнительной). Завидовал нашему замечательному географу и биологу Льву Семеновичу Бергу (как и Александр Щербатов, он был учеником профессора Анучина). Берг помещал Атлантиду в Средиземном море, и мне его предположение казалось наиболее вероятным. Сам, повторяю, этим вопросом я не имел возможности заниматься, но за спорами и пересудами следил.

От своих друзей я узнал, что в Москве живет удивительный человек — атлантолог по специальности. Правда, большую часть своей жизни он занимался химией и даже получил степень доктора химических наук.

Тяжелый недуг свалил ученого. Он не смог оправиться после болезни, прежнюю работу пришлось оставить, и именно тогда бывший химик увлекся загадочной Атлантидой... Болезнь не оставляет его в покое, и уже более десяти лет не выходит он из дома. Но весь мир входит к нему в дом — письма идут из Северной и Южной Америки, из Австралии и Новой Зеландии, из Индии и Египта, из Англии и Германии — оказывается, по всему свету рассеяны люди, пытающиеся разгадать загадку Атлантиды!

Они, атлантологи, кажутся мне замечательными людьми, потому что почти все они — бескорыстные энтузиасты и потому, что, пожалуй, только на титуле жур-

нала английских атлантологов можно прочитать такое: «Редакция публикует статьи и в том случае, если оиа ие согласна с автором». По-моему, это иеплохо. Дорога́ своя точка зреиия, но истииа дороже, а оиа, как утверждали еще в те времена, когда, вероятио, существовала Атлантида, рождается в споре.

Теперь вы поиимаете, что, вериувшись в Москву, я не мог ие зайти к атлантологу. Мие хотелось рассказать учеиому о гипотезе Щербатова, о его открытии и его судьбе. Накоиец, мне хотелось поспорить с атлаитологом и даже, в какой-то степеии противопоставить Аитарктиду Атлаитиде, потому что постепеино и как-то иезаметио для самого себя, я превратился в коице коицов в этакого «спеца» по древиим цивилизациям. Миогое, во всяком случае, пришлось прочитать, о миогом подумать, и в малеиькую одиокомиатную квартирку атлаитолога я пришел во всеоружии.

И сразу же перешел в иаступлеиие.

Щербатов представлял себе доледииковую Аитарктиду обшириым материком с горами и равииами. В горах, думал ои, иавериое, имелись разрозиеииые цеитры оледеиеиия, ио в прохладиых прибрежиых райоиах с разиообразиой растительиостью, с богатым животиым миром обитали люди — аитаркты.

А теперь попытаемся сравиить условия обитаиия в Атлаитиде и в Аитарктиде.

Я умышлеиио прииимаю сейчас за достовериую точку зрения, господствующую среди атлаитологов: если Атлаитида когда-иибудь и существовала, то иаходилась оиа в тропическом или субтропическом поясе. Таким образом, до иекоторого определениого момеита условия обитаиия атлаитов и антарктов разнились, так сказать, лишь климатически: в одном месте теплее, в другом — холодиее.

Но потом в Аитарктиде — стремительио по геологическим масштабам, а по человеческим медлеиио, в течеиие тысячелетий — началось формироваиие материкового оледеиеиия.

— Призиайтесь,— говорю я атлаитологу,— что ледиики сдвииули чашу весов в пользу Аитарктиды!

В самом деле, никакие виешние стимулы ие требовали от атлаитов ускоренного общественного и техиического развития — оии продолжали сибаритствовать на лоие

тропической природы до тех пор, пока катастрофа разом все не уничтожила.

Антаркты же оказались в принципиально ином положении: ледники наступали, природные условия ухудшались, и быстрое общественное развитие, быстрое совершенствование техники стали для антарктов необходимостью, жизненно важной потребностью.

— Вот почему,— говорю я атлантологу,— первая высокая цивилизация должна была сложиться в Антарктиде, а не в Атлантиде!

Остановить и уничтожить ледники антаркты, разумеется, не могли. Цивилизация их, в конечном итоге, погибла, и лишь смутные следы ее удалось рассмотреть Щербатову и Вийону в оазисе. Сами же антаркты, вероятнее всего, покинули на кораблях суровую родину и рассеялись по земному шару. Рассказы антарктов о своей прежней родине были усвоены народами, с которыми антаркты постепенно смешались, и в виде легенд достигли берегов Средиземного моря. Греческие ученые уловили в легендах долю истины, поверили им и потому упорно наносили Южный материк на свои карты...

— Вы думаете, я буду с вами спорить? — хитро сощурившись, спросил меня антлантолог, после того как я исчерпал все свои доводы.— Ничуть не бывало! Помните, как Нильс Бор оценивал физические гипотезы? Было у него два критерия: «достаточно сумасшедшая» и «недостаточно сумасшедшая». Во втором случае гипотеза отбрасывалась как негодная. Так вот, гипотеза Щербатова — а она останется гипотезой, пока новые исследователи не найдут ей подтверждения,— «достаточно сумасшедшая» для того, чтобы ее узнали все!

Я же вам говорил, что атлантологи — замечательные люди!

Теперь я могу сознаться, что включил в свои записки очерк о Щербатове именно потому, что гипотеза его сразу же показалась мне «достаточно сумасшедшей»! Я за смелых «чудаков», за дерзких мыслителей, потому что дерзкие мыслители сродни революционерам, даже если они не занимаются политикой. Все равно они ломают привычные представления о мире, они расширяют горизонты, они учат смелости. Это и имел в виду Анри Вийон, когда осторожно сказал мне в Париже, что люди дерзкой мысли оставляют после себя след не только в той науке, кото-

рой занимаются. Они пробуждают смелость мысли у всего человечества, они обогащают человечество самым важным — способностью переступать границы привычного!

Хочется верить, что границы привычного перейдут и современные исследователи Антарктиды. С учетом гипотезы Александра Щербатова они, по-моему, должны с особым вниманием отнестись к изучению антарктических оазисов...

Я верю, что их ждут новые неожиданные открытия!

...Когда мы с Березкиным подвергли хроноскопии обломок горной породы из геологической коллекции Мориса Вийона и Александра Щербатова, то увидели лишь метущийся рой жестких, как железо, снежинок. Та же снежная крупа занесла следы Мориса Вийона и Щербатова — они исчезли навсегда.

Но отважным исследователям поставлен памятник — трехметровый дубовый крест, обращенный к югу. На нем написано: «В память капитана Р. Ф. Скотта, офицера флота, доктора Э. А. Уилсона, капитана Л. Э. Дж. Отса, лейтенанта Г. Р. Боурса, квартирмейстера Э. Эванса, которые умерли при своем возвращении с полюса в марте 1912 г. «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Ни имени Мориса Вийона, ни имени Александра Щербатова, как видите, нет в списке погибших. Но ведь памятник поставлен всем, кто умел бороться и искать, найти и не сдаваться. Найти и не сдаваться — это, наверное, самое трудное, что можно себе представить...

Устремленные к небу

**

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой читатель вновь встретится с философом Петей, а также услышит кое-что об Африке.

...Едва ли найдется эрудит, способный перечислить все жизненные обстоятельства, так или иначе разрушающие наши планы... Мне нужно было готовиться ко второй поездке в Африку (недавно я уже побывал там), к распутыванию истории, связанной с весьма и весьма неожиданной находкой, но недуг, именуемый переутомлением, заставил меня отправиться к Черному морю.

Через три часа после вылета из Москвы мы с женой уже катили в такси в поселок Приморский, что находится неподалеку от Адлера.

Великая сила — солнце, вода, тишина... Солнце не очень припекало, потому что близилась осень, а вода еще хранила летнее тепло. Тишина в Приморском нарушалась только изредка проходившими на Адлер, Ереван или Москву поездами да криком древесных лягушек-квакш: они громко и часто, особенно по ночам, стучали «молоточками» по деревянному.

Как разыскал меня в нашей тихой обители философ Петя, мой товарищ по работе в Хаирханском массиве, для меня осталось тайной. Но разыскал и однажды предстал передо мной в тот жаркий обеденный час, когда мы вернувшись с моря, обычно отдыхали в саду, в тени виноградника.

— Я нашел клад,— сказал Петя. Потом он умолк, что-то мучительно вспоминая, и наконец сказал: — Здравствуйте! Как вы тут устроились?..

Ничуть он не изменился. Был все таким же маленьким, белобрысым, и веснушки, несмотря на загар, попрежнему украшали его нос.

— Рад, что у клада теперь столь надежный хозяин,— сказал я.— И достойный. Поздравляю с удачей.

— Спасибо. Только за кладом надо еще сходить.

Очевидно, во всем виновато переутомление, потому что смысл Петиных слов с трудом проникал в мое сознание. И когда он, наконец, просочился, мне пришла в го-

лову нелепая мысль. Хозяин нашей квартиры Вася работал в совхозе конюхом, и я почему-то решил, что Петя нуждается в его помощи.

— Вам подвода нужна?

— Не нужна подвода. Клад еще надо найти...

«Нашел», «сходить», «найти»... Мой ослабевший мозг все-таки выстроил глаголы в один ряд и обнаружил логическое несоответствие в их расположении.

— Петя, очень прошу вас,— сказала моя жена.— Мы здесь отдыхаем! Никаких серьезных разговоров.

— Я все понимаю,— кивнул Петя.— Абсолютно все!

— Усаживайтесь поудобнее, и вообще чувствуйте себя как дома,— сказал я Пете.— Ведь про клад в двух словах не расскажешь. Начинайте с начала.

В это время с моря вернулись наши друзья Ева и Яша. Я познакомил их с Петей и рассказал, что он обнаружил клад.

— Мы нашли огромную глиняную амфору с планом замка,— уточнил Петя,— и на плане указано, где зарыт клад! Амфору мы вытащили из трюма затонувшего корабля. Просто чудо. Корабль, наверное, лет четыреста назад затонул, и все сохранилось.

— Действительно, чудо,— согласились Яша и Ева.

— Но это еще не самое начало. Самое начало было в Москве,— Петя почувствовал, что путается, и застеснялся.— Сейчас я все объясню! — Он насупил белесые брови, сосредоточился и сказал:

— Знаете, после Хаирхана я решил, что должен увидеть море изнутри. Потому, наверное, что в подземные озера ныряешь, как в ночь. А море днем — другое, правда? Вот познакомился с археологами-подводниками, чтобы приятное с полезным соединить. Как философ я на эстетике специализируюсь, а прекрасное — оно, знаете ли, повсюду вокруг нас. И в природе, и руками человека творится. Часто, к сожалению, мимо проходим мы, а если приглядеться!.. Еще тогда, зимой, я подумал: найти бы клад из прекраснейших ювелирных изделий, таких, чтоб украсили они лучшие наши музеи...

— Вот это целеустремленность! — заметил я.— Решил найти клад и — нашел!

— Да! — радостно согласился Петя.— И руководитель меня поддержал...

— Какой руководитель? По розыску кладов?

— Нет, по курсовой работе. Профессор Брагинцев. Вы не могли о нем не слышать!

— Слышал,— сказал я.

— Вот видите! И такой серьезный человек считает, что есть шансы найти клад в районе Хосты.

— И в любом другом месте — тоже,— сказал я.

— А про развалины крепости в тисо-самшитовой роще вы помните? — воскликнул Петя.

— Нет, не помню. А причем тут тисо-самшитовая роща?

— Да план же на вазе — той самой крепости! — почти простонал Петя.— Как вы не поймете? Той самой, что на территории заповедника!

— Почему вы так решили?

— А другой нет поблизости!

Логика Пети меня сразила.

— Если потребуется рабочая сила,— сказал я,— перетащить что-нибудь, упаковать...

— Хроноскоп! — взмолился философ.— Хроноскоп мне нужен!

— У хроноскопа иное предназначение,— это я произнес жестче, чем хотел.— Клады не по его части.

— А если там скрыты прекраснейшие произведения искусства? А если там неведомые миру шедевры?

— Скорее всего там «пшик», дорогой мой Петя. Как и в прочих воображаемых кладах.

— Вы друзья? — закричал темпераментный Петя на Яшу и Еву.— Вы его друзья?.. Так воздействуйте!

— Язва у меня,— сказал Яша.— И расшалилась как на грех. Чуть похолодней вода в море — хоть караул кричи. И возраст,— добавил Яша.— В моем возрасте клады уже не ищут.

— А я вообще ни в какие клады не верю,— сказала Ева, женщина решительная и категоричная.— И работа у Яши — он рукопись правит.

По-моему, мир рушился в глазах изумленного Пети.

— А зачем клад искать, когда под ногами денег полно? — меланхолично заметил Вася, хозяин дома. И Петя, хотя и пребывал в расстроенных чувствах, все-таки поглядел себе под ноги.— На кавказской земле, если голова есть, руки есть — без клада прожить можно, товарищ.

— Прощайте! — вскричал, рассердившись, Петя,— и убежал.

На следующий день утром мы вчетвером отправились на станцию субтропических культур, что находится неподалеку от Гагры у Холодной речки. Строго говоря, называется эта станция «Гагринский опорный пункт Главного ботанического сада», и пока только там в нашей стране выращивают деревья какао. В Африке, кстати сказать, я их не видел: плантации какао особенно велики и многочисленны в Гане, а не в Гвинее, по которой мы ездили. И здесь, на Кавказе, мне представилась возможность восполнить пробел в своих африканских наблюдениях.

В тот день ботанический сад был закрыт для посетителей. Яша и моя жена отправились на переговоры к директору, а мы с Евой устроились на деревянной скамейке под какими-то кустами.

— Смотри, какие интересные лепестки,— сказала Ева, подняв с земли веточку с тремя овальными красновато-фиолетовыми лепестками, и положила ее на мою ладонь.

Я оторопело уставился на лепестки, внутри которых пристроились три невзрачных беленьких цветочка. «Нет, этого не может быть»,— сказал я самому себе, и вздохнул с каким-то странным облегчением. Конечно, «этого» не могло быть.

— Не знаешь, что за растение? — спросила Ева.

Оглядев окрестные кусты и деревья, я вполне искренне ответил:

— Понятия не имею.

Директор станции, совсем еще молодой человек, любезно разрешил нам осмотреть свои владения и выделил в сопровождающие научного сотрудника...

Но тут я должен признаться в нижеследующем. Как и все, я внимательно осматривал маленькую плантацию деревьев какао, или шоколадного дерева, шоколадника, как его еще называют, расположенную в теплице под загрязненными стеклами (шоколадник не выносит прямых солнечных лучей: как и его дикие предки, он приучен к полусумраку тропического леса); я запомнил многое из того, что нам рассказывали про чрезвычайно плодовитое растение чаёд, или мексиканский огурец, который сейчас внедряется в сельское хозяйство; про китайский кустарник псидиум, которому тоже сулят большое будущее; я любовался цветущими разноцветными лотосами, викторией-регией, стеблями папируса с раскрытыми щеточками листьев наверху; я с почтением смотрел на

«сальное дерево», парафиновые выделения которого издавна служили в Китае сырьем для свечей, и даже поверил, что удастся акклиматизировать у нас карику кварцифолиа — родственницу знаменитого дынного дерева... Повторяю, я все внимательно слушал, кое-что записывал, но мысли и чувства мои были в это время за тридевять земель от Гагринского опорного пункта...

Уже в Москве, после возвращения из Африки, я месяца полтора улетал туда во сне каждую ночь! Я вновь ходил по жесткой земле, и красноватая пыль оседала на моей рубашке. Я заново переживал грозовую ночь — тревожную и прекрасную,— которую довелось мне провести в пути где-то между городками Маму и Карусса. Я вновь видел дымы пожарищ — гвинейцы выжигали саванну перед началом сева. И вновь окружали меня в какой-нибудь саманной деревушке коричневые люди с сильными добрыми руками... Крупные стервятники — вотуры — тяжело опускались на растрепанные гривы кокосовых пальм, склонившихся над солнечным океаном, и неподвижны были узловатые ветви баобабов, распростершиеся в раскаленном голубом небе,— все было как наяву, как в те незабываемые дни, которые я провел в Африке...

Постепенно Африка ушла из сновидений, иные мысли заполнили голову, и вот все воскресло! Снова колотится сердце, снова я ошалеваю от рвущейся наружу безудержной радости.

«Это» было. То, чему я не поверил, от чего мысленно отказался. Были лозы алой и розовой бугенвиллеи, изнутри увившие стеклянные стены теплицы. Но я же любовался этим удивительным, «вечно» цветущим растением, у которого ярко окрашены не цветы, а околоцветники, никогда не опадающие,— я же любовался им в Африке! Впервые увидел я бугенвиллею у белокаменных вилл в окрестностях Касабланки, я видел ее в Дакаре, видел в Конакри... И вдруг здесь, у нас!

Я вприпрыжку помчался к теплице, перескочил через ее невысокий порог и... белые колокола датуры закачались над моей головой, как качались они несколько месяцев назад в марокканском городе Федала у отеля «Марима»... Дальше я шел, уже нетвердо ступая. Я почти не поверил своим глазам, когда увидел в натуральную величину дынное дерево — карику папайя — с мощными кистями желтых цветов, и почти беспомощно опустился на

землю у шоколадных деревьев с крупными огурцевидными плодами на стволах и толстых ветвях...

Я снова был в Африке, не только «был», но и стремился туда опять, и, слушая рассказы научного сотрудника о деревьях какао, вспоминал о письме, которое мы получили от малийского историка Мамаду Диопа, о посылке, которая шла к нам из далекого Бамако, и мне не терпелось поскорее получить посылку, поскорее приступить к хроноскопии, чтобы внести и свою — пусть предельно скромную — лепту в изучение исторического прошлого Черного континента...

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой читатель познакомится с письмом африканского историка Мамаду Диопа, а также узнает о дипломатических способностях философа Пети, о находках археологов-аквалангистов и о посещении тисо-самшитовой рощи; знакомству с профессором Брагинцевым и встрече с загадочным стариком также уделено несколько десятков строк.

Очевидно, нет особой необходимости приводить письмо Мамаду Диопа полностью, но теперь, после мысленного возвращения в Африку, я не могу не рассказать о нем. Должен признаться, что нам приятно было получить конверт с яркими марками, изображавшими нигерийских рыб, на котором латинскими буквами были выведены фамилии — Вербинин и Березкин... Значит, о хроноскопе уже знали на африканском континенте, и в душе мы порадовались «успехам» своего детища.

Смысл же письма сводился к следующему.

При земляных работах в районе городка Дженне землекопы совершенно случайно нашли сделанную из золота фигурку человека... Почему-то ни один из землекопов не польстился на драгоценность — они отдали ее коменданту города Дженне. Комендант отправил статуэтку в окружной центр, в город Мопти, а оттуда ее переслали в столицу республики Мали — Бамако.

Там, в Бамако, золотая статуэтка попала в руки молодого историка Мамаду Диопа, и находка чрезвычайно взволновала его. Статуэтка не походила ни на один из

известных образцов африканской скульптуры, и Мамаду Диоп сразу же уверовал, что ему предстоит совершить открытие колоссального значения. Ведь почти так же сравнительно недавно открыли знаменитую культуру Зимбабве в Южной Африке — все началось с находки золотых вещей на священном холме.

Мамаду Диоп не стал терять времени даром. С несколькими своими друзьями, погрузив в машину лопаты и кисти — орудия археологов, он помчался в Мопти, а оттуда — в Дженне, чтобы заняться раскопками. К сожалению, они не дали никакого результата. Ничего больше не нашли и дженнейцы, продолжавшие брать из карьера глину для изготовления кирпичей.

Как ни велико было разочарование Мамаду Диопа, он все-таки решил раскрыть тайну золотой статуэтки и обратился за помощью к европейским специалистам. Их заключение оказалось неожиданным: специалисты единодушно решили, что статуэтка, за которой они признали весьма высокие художественные достоинства, изготовлена итальянскими ювелирами, скорее всего в Венеции, и не позднее конца шестнадцатого века!

Никто, разумеется, не мог объяснить Мамаду Диопу, как венецианская статуэтка попала в глиняный карьер у городка Дженне, расположенного в глубине Африки, за полторы тысячи километров от побережья. И тогда молодой историк послал в Советскую ассоциацию дружбы с народами Африки письмо, адресованное мне и Березкину, с просьбой помочь раскрыть тайну находки.

Мы ответили согласием, хотя у нас и возникали сомнения. Во-первых, мы понимали, что легко можем потерпеть фиаско. Впрочем, хроноскоп уже достаточно хорошо зарекомендовал себя, и опасаться за его «репутацию» не приходилось. Во-вторых, не было никакой уверенности, что то время, когда статуэтка попала в Дженне, хотя бы приблизительно совпадает со временем ее изготовления. Скорее всего, ее недавно потерял кто-нибудь из французов, и в этом, наиболее вероятном случае, нам предстояло тратить энергию на самую заурядную историю... И все-таки оставалось одно «а вдруг?» А вдруг статуэтка попала из Венеции в Дженне несколько веков назад, когда, как считают историки, не было никаких контактов между европейцами и суданцами?.. Это уже чревато важным открытием, и мы пошли на риск.

Перед отъездом на юг мы с Березкиным договорились, что он даст мне телеграмму, если посылка Мамаду Диопа придет до конца моего отпуска. Я понимал, что ожидать телеграмму еще рановато, но вечером, едва войдя в калитку, сразу же спросил, нет ли мне телеграммы или письма.

— Не было телеграммы,— сказал хозяин дома.— Кладоискатель был. Тихий пришел. Вздыхал, сидел. Недавно домой пошел.

На следующее утро философ Петя заявился ни свет, ни заря. Оказывается, он пришел пригласить нас принять участие в подводной экскурсии: ему хотелось, чтобы и мы увидели море «изнутри», прикоснулись к останкам купеческого корабля, затонувшего несколько веков назад.

Ну, не дипломат ли Петя?.. Дальний прицел его не вызывал у нас никаких сомнений, но соблазн совершить небольшую экскурсню на дно морское и посмотреть находки археологов пересилил мое профессиональное чувство осторожности (я-то знал, что становлюсь моральным «должником» Пети-кладоискателя).

Ныне, после того как вошли в моду ласты и маски, мало кого поразит описание заурядного погружения, и поэтому я опускаю его. Кстати, н море у берегов Кавказа менее интересно, чем у берегов Крыма, например, «красоте» необходим прочный скальный фундамент, а не рыхлый песок или галька... Зато корма корабля, выступающая из ила н песка в голубоватом подводном полусумраке,— это на самом деле волнующее зрелище; волнующее потому, наверное, что в душе каждого нз нас до седых волос дремлет мальчишка-кладоискатель...

Во всяком случае, на берег я вышел отнюдь не таким ортодоксальным противником кладоискательства, каким был до погружения. Хитрец Петя действовал наверняка...

Он и теперь продолжал ловко расставлять сети — повел нас к палатке, где хранились поднятые со дна моря сокровища, н там, не выдержав, сразу же потащил к амфоре с «планом» злополучного замка.

Я подозреваю, что не очень точно пользуюсь термином «амфора». Мне, конечно, известно, что амфора — это глиняная ваза с узким горлом, но существуют у специалистов какие-то более тонкие градации... Чтобы не возникло недоразумений, прошу не судить меня строго: ам-

фора или не амфора, но глиняный, покрытый глазурью весьма объемистый сосуд стоял передо мной.

По прежнему — хаирханскому — опыту Петя знал, что сейчас мне лучше не мешать, и держался со своими товарищами в сторонке, ждал, когда я начну задавать вопросы. А я, позабыв о Петиных хитростях, рассматривал амфору с чисто профессиональным интересом — хроноскопист заглушил во мне всяческие сомнения.

Амфора сохранилась прекрасно, и не верилось, что она несколько веков пролежала на дне морском в трюме затонувшего корабля. По-моему, амфора явно не принадлежала к числу керамических шедевров. Она, скорее всего, предназначалась для хозяйственных целей, хотя и была разрисована. Подглазурная роспись не показалась мне сложной. Помимо того, что Петя назвал «планом замка» (а некий чертеж там имелся), художник изобразил на амфоре двух людей. Один из них сидел в кресле, как бы откинувшись на его невидимую спинку, а второй, стоя во весь рост, протягивал к нему руки, и от рук его летел к сидящему непонятный знак, похожий на восьмерку, перечеркнутую в самом узком месте.

Если мысленно продолжить путь перечеркнутой восьмерки по окружности амфоры, то легко заметить, что, перескочив через фигуру сидящего человека, восьмерка покатится по однострочной надписи и, разогнавшись по ней, попадет на территорию «замка», где остановится у четырех плотно составленных кружочков... Я обратил внимание прежде всего на этот сюжет, потому что если и таился какой-либо смысл в разрисовке амфоры, то доискиваться до него надо было, анализируя именно эту серию рисунков. Орнамент же в нижней и в верхней части амфоры никакой смысловой нагрузки не нес.

Я повернулся к Пете, ожидая его разъяснений.

— Надпись уже прочитана,— торопливо сказал Петя.— Она сделана на картули эна шрифтом мхедрули не позднее семнадцатого столетия. Во всяком случае, до введения книгопечатания. Перевод: «Вернись, и все скажу тебе»...

— Понятно,— сказал я.— Картули эна?...

— Грузинский язык, а мхедрули — новогрузинский шрифт, принятый еще в одиннадцатом веке.— Петя прямо-таки торжествовал, разъясняя мне столь важные подробности.

— Теперь еще понятней,— сказал я.

— А перечеркнутая восьмерка — фирменный знак очень крупного торгового дома Хачапуридзе, который в средние века держал в своих руках почти всю торговлю на кавказском побережье. Хачапуридзе вышли из крестьян, но очень скоро стали азнаури, дворянами, что ли, запросто общались с тавади — крупнейшими феодалами, ссужали деньги царским дворам...

Петя выпалил все разом, но, заметив, что я слушаю его с некоторой недоверчивостью, сказал:

— Это не я придумал. Тут историк из Тбилиси отдыхает — совсем беленький старичок — от него мы про все и узнали. Он-то уж не мог ошибиться!

— Что вы нашли в вазе?

— Венецианское стекло. Бусы в основном...

— А кружочками, по-вашему, обозначено место, где зарыт клад? — спросил я Петю.

— Конечно! Тогда все зарывали свои сокровища. Время-то какое неспокойное — и междоусобицы, и турки нападали... А вы в тисо-самшитовой роще были?

— Нет. А вы? — спросил я Петю.

— Был.

— Крепость осматривали?

— Да.

— Клад не нашли?

— Нет.

— Отлично,— сказал я, сообразив, что посещение тисо-самшитовой рощи выльется в обычную прогулку.— Чтобы не откладывать, завтра же и отправимся туда.

— Хроноскоп бы...— робко напомнил Петя.

Я осуждающе посмотрел на него, и Петя тяжко вздохнул.

— Но если я докажу? Если я изучу документы?

— Тогда и поговорим.

Погода, к сожалению, внесла свои исправления в наши ближайшие планы. Еще до первых облаков мы заметили, что древесные лягушки громче и чаще, чем обычно, стучат сегодня своими деревянными молоточками. Стоял штиль, но на море поднялась волна. После захода солнца некоторое время виднелись звезды, потом небо затянуло, и где-то заполночь пошел дождь.

Стук крупных капель разбудил меня. Я не без удо-

вольствии вслушивался в монотонно-отчетливую речь дождя, неспешно думал о своем, но для отпускника на юге дождь — нежеланный гость. Нас он, увы, заставил отложить поездку в тисо-самшитовую рощу.

Весь следующий день дождь то утихал, то принимался идти снова, выбивая дробь по шиферной кровле, по виноградным листьям. Пребывая в каком-то полудремотном состоянии, я предавался воспоминаниям, надоедал всем разговорами об Африке и Хаирхане и немножко обижался, что друзья мои никак не могут запомнить имени африканского царя Шамба Болонгонго, правившего племенем бушонго... Царь этот жил и правил около четырех с половиной столетий тому назад. Я прочитал о нем перед поездкой в Африку, и Болонгонго покорил мое сердце.

Помните историю, рассказанную в «Сломанных стрелах»? Мы пришли тогда к выводу, что пиктограф, выбитый на стене пещеры,— договор между вождями, запрещающий пользоваться стрелами в бою. Так, во всяком случае, я писал, оставляя за читателями право на собственное мнение.

А страничка из истории племени бушонго, до сих пор живущего в Центральной Африке в бассейне реки Санкуру, убедила меня в правильности моих раздумий. Шамба Болонгонго, ставший царем около 1600 года, начал свое правление с запрета пользоваться во время войн даже дротиками... Так незримая нить протянулась от тайги и степей Центральной Азии к саванне и лесам Центральной Африки, лишний раз подтверждая, что всем народам в равной степени свойственно стремление к добру. (О царе Болонгонго можно прочитать в книге «Новое открытие древней Африки» английского историка Дэвидсона.)

Едва установилась хорошая погода, Петя вновь появился в нашем дворе. Напомнив про обещание посетить тисо-самшитовую рощу, он сообщил, что вечером в Хосту приезжает его руководитель профессор Брагинцев. Петя откровенно радовался его приезду.

Утром, когда мы пришли в лагерь археологов-аквалангистов, Брагинцев рассматривал поднятую со дна моря амфору. Тонкие, с длинными крепкими ногтями руки его нежно и любовно ощупывали стенки амфоры, выстукивали их, и руки преподавателя эстетики показались мне руками хирурга.

Мы познакомились и попросили не обращать на нас внимания. Извинившись, Брагинцев еще минут восемь-десять изучал вазу: находка археологов заинтересовала его.

Сравнивая облик Пети и Брагинцева, я, естественно, делал скидку на разницу в возрасте. Будь они и одногодками, они все равно были бы разительно непохожи. В отличие от милого наивно восторженного, всегда небрежно одетого маленького некрасивого Пети, старый профессор был по-спортивному подтянут, собран, элегантен и красив. Подчеркивая красоту Брагинцева, я вовсе не имею в виду какие-нибудь там «лучистые» глаза, античные черты лица, выразительный рот и тому подобное. О красоте Брагинцева нельзя составить себе представления ни по отдельным штрихам, ни с помощью подробного описания. Он просто умел красиво двигаться, красиво носить легкий серый пиджак, красиво говорить и улыбаться, отнюдь не задаваясь такой целью... Источником этой красоты могло быть только духовное совершенство, гармония, достигнутые огромной внутренней работой, длившейся десятилетиями, постоянной тренировкой ума. Подобной красоты, выше которой я ничего не знаю, удается достичь немногим, но когда встречаешь такого избранника, то тебе и в голову не приходит обращать внимание на цвет его глаз или волос...

Брагинцев, о чем-то задумавшись, ходил по берегу моря, а Петя следил за ним влюбленными глазами. Я вспомнил, что Брагинцев будто бы поддерживает Петю в его стремлении найти клад, и не поверил восторженному философу. Такой человек, как Брагинцев, не мог бросать слов на ветер, не мог утверждать того, в чем хоть чуть-чуть сомневался.

— Мотив росписи на амфоре мне знаком,— неожиданно сказал Брагинцев, останавливаясь неподалеку от нас перед Петей.— Да, я не ошибаюсь. В «Эрмитаже» есть ваза, повторяющая сюжет амфоры.

— Глиняная? — почему-то спросил Петя.

— Венецианское стекло. Конец шестнадцатого столетия.

— Значит, амфора совсем не оригинальна? — Петя, конечно, связал слова Брагинцева со своими надеждами найти клад, а я не удержался и сказал Брагинцеву о недавних мыслях.

Брагинцев едва заметно улыбнулся.

— Петя склонен к преувеличениям. Но теоретически в древней заброшенной крепости всегда возможны неожиданные находки.

— Сегодня же мы еще раз все осмотрим,— сказал Петя.— Хорошо бы и вы поехали с нами.

Брагинцев снова улыбнулся:

— Не хочется. Не хочется лазить по скалам, по колючим кустам. Старею, Петя.

— А вам не придется лазить. Мы же по дороге пойдем, а с нее даже сходить не разрешают.

— Ну, какая там дорога...

— Отличная дорога. Пешеходная, конечно, но отличная. Прямо до крепости, а оттуда — по долине Хосты обратно.

Брагинцев взглянул на Петю и на секунду задумался.

— Дорога все меняет. Я согласен.

Мы действительно побывали в тисо-самшитовой роще, и поход наш оказался и любопытным, и забавным.

Я позволю себе сначала сказать о личном, об эмоциональной стороне, что ли. Удивительное место, эта тисо-самшитовая роща. Стоял жаркий душный день с палящим солнцем, а у меня все время было такое ощущение, что идем мы по позднеосеннему лесу. Не знаю, что больше способствовало самообману — хвоя ли тисов, желтоватые ли «бороды» лишайников, спускавшихся с деревьев, или заросли лавровишни, блестящая листва которой под лучами солнца казалась посеребренной инеем; вероятно, все вместе. Но впечатление получилось неожиданным.

По-моему, Брагинцева поездка тоже не разочаровала. Он держался со свойственной ему непринужденностью, шутил, поглаживая стволы тисов, ясеней, бережно прикасался к колючей иглице или прохладному папоротнику-листовику, а у гигантской липы с дуплом в самом комле он остановился и долго смотрел, запрокинув голову, на ее раскидистую вершину...

Пока мы любовались деревцами самшита, рощами бука, напоминавшими мне буковины Карпат, инеевой расцветкой лавровишни,— короче, пока мы лицезрели прелести природы, Петя неустанно фантазировал о кладе.

Мы шли к развалинам крепости, слушая очередной рассказ Пети о сокровищах и шедеврах искусства, скры-

тых от людей в тайниках, когда навстречу нам вышел очень старенький, с красноватыми склеротическими глазами старичок.

Услышав про клад, старичок меланхолично заметил, что Петя опоздал.

— Давненько тот клад...— Старичок сложил губы дудочкой, попытался свистнуть, но свиста не получилось.— Утек давненько. И след канул.

Петя застыл на месте, и Брагинцев тоже повернулся к старику.

— Ну да еще,— глубокомысленно изрек Петя.— Ничуть не утек!

— А вот и да! — равнодушные красноватые глаза старика вспыхнули острой злобой.— Утек, и следов нету.

— Вы-то... откуда... знаете? — цепенея, спросил Петя.

— Оттуда и знаю, что сам за ними охотился.

— За кладами?

— За бандитами, за теми... Двое их было, грабителей. Да выскользнули. Меж пальцев утекли.— Старик круто повернулся и, приволакивая ноги, заспешил вниз по каменистой тропе.

Слова старика вызвали общее короткое замешательство. Петя стал бледен, как известковые скалы вокруг нас, на лице Брагинцева застыла мягкая задумчивая полуулыбка, а я захохотал, глядя то на убегающего старого кладоискателя, то на окаменевшего молодого.

— Не надо смеяться,— сказал Петя.

Я понял свою бестактность и принялся доказывать, что нельзя всерьез принимать слова странного старика.

— А глаза,— сказал Петя.— Вы видели его глаза?.. Он до сих пор ненавидит тех грабителей.

— Маньяк. Навязчивая идея у человека. Зачем же на него равняться? — продолжал я, а Брагинцев ласково потрепал рукой белобрысую Петину голову.

Петя не стал спорить, он молча зашагал в противоположную от старика сторону, к крепости, и вскоре мы увидели то немногое, что сохранилось от нее: стены, сложенные из крупных плит известняка, и полуразрушенную угловую башню, возвышающуюся над долиной реки Хосты...

На развалинах крепости собралось довольно много народу. Глядя на сосредоточенного Петю, который, ни на

кого не обращая внимания, деловито обходил свои «владения», что-то прикидывая в уме, на задумчивого Брагинцева, я задавал себе только один вопрос: кому потребовалось выстроить крепость в столь неудобном месте?

В самом деле, по долине Хосты едва ли когда-нибудь проходила караванная тропа: склоны долины почти отвесно обрывались к реке. Даже для пешеходов, в чем мы убедились на обратном пути, пришлось проложить искусственную тропу, кое-где навесив ее, как овриниг на Памире, прямо над водой... Караванные пути обходили, конечно, этот район, ничего не знали историки и о крупных горных селениях, жители которых нуждались бы в защите крепостных стен (иначе в «Путеводителе» содержались бы более подробные сведения о крепости)...

А крепость когда-то кто-то построил, и не зря, надо полагать...

— Чтобы клад спрятать,— сказал Петя, когда я поделился с ним своими сомнениями.— Именно клад. Сокровища вообще,— для большей убедительности добавил он.

Я выслушал Петю с серьезным видом, не улыбнулся, но про себя подумал, что у Пети явно появился «пунктик» — клад — и на близкие к нему темы разговаривать с Петей бесполезно. Ну кому придет в голову строить крепость только для того, чтобы зарыть в ее стенах клад?

У выхода из тисо-самшитовой рощи Петя спросил служащих заповедника о старике.

— Ходит,— сказали Пете.— Давно ходит. Лет десять, пожалуй. Как вернулся из заключения, так и наведывается чуть не каждый день. То ли свихнувшийся он немножко, то ли, правда, вор у вора дубинку украл. Если и было что-нибудь такое, то очень давно. До революции, наверное...

— Из-за чего он в тюрьму попал? — спросил Брагинцев.

— Всякое говорят. За темные дела, в общем.

Петю заинтересовало другое.

— А в документах официально зафиксировано исчезновение клада? — вопрос Пети прозвучал строго, почти сурово.

— Помилуйте! — изумился служащий заповедника.— Если старик прав и клад действительно похитили какие-то бандиты, то откуда же взяться официальным документам?

— А обследование места захоронения клада на месте? — не слишком складно, но столь же сурово сформулировал свой вопрос Петя.

— Н-не знаю,— Петина суровость озадачила служащего заповедника.— Ничего подобного не слышал.

— В таком случае я не верю, что клад похищен,— сказал Петя. Он подумал и уже не столь категорично добавил: — Есть надежда, что он еще не похищен.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой мы получаем посылку от Мамаду Диопа, знакомимся с ее содержанием и переживаем, по некоторым причинам, разочарование; в этой же главе сообщаются кое-какие дополнительные подробности, касающиеся истории статуэтки после ее находки.

Как я и предполагал, посылка от Мамаду Диопа пришла уже после нашего возвращения в Москву. Ненастным, с мокрым снегом ноябрьским днем мы с Березкиным получили в Ассоциации дружбы с народами Африки изящно упакованный ящик сравнительно небольших размеров.

Есть что-то по-человечески трогательное в той простоте и обыденности, с которой свершается все долгожданное. Недавно я пережил подобное ощущение, подлетая к Африке. Долгие годы, с детства, мечтал я о поездке туда, и наступил момент, когда я вдруг понял, что лишь облачная пелена отделяет сейчас от меня Черный континент... Пелена рассеялась, и открылись зеленая равнина и крутой берег, упирающийся в Атлантический океан... Вот и все.

И еще одно «вот и все»: золотая статуэтка из Дженне, о которой мы столько говорили и думали, стояла перед нами на письменном столе в моей новой квартире. На нее смотрели мы с Березкиным, смотрели африканские идолы и маски, украшавшие мой кабинет. И если африканские идолы явно усматривали в статуэтке чужака, то мы с Березкиным угадывали в ней нечто родственное, близкое: даже без специального заключения знатоков легко было сообразить, что статуэтка сделана европейцами и изображает европейца.

Радость первого свидания — увы — оказалась недолгой.

— По-моему, ничего интересного,— заключил Березкин.— Заурядный религиозный мотив.

Впрочем, прежде чем рассуждать, следует хотя бы коротко описать статуэтку.

Итак, представьте себе человека, левая (с отломленной кистью) рука которого опущена, а правая, чуть согнутая в локте, поднята к небу; тело человека — тонкое, стройное, мускулистое, отчасти, правда, деформированное,— напряжено, вытянуто, а голова запрокинута назад и глаза устремлены в зенит. Что-то еще связывает человека с Землей, но уже ничто не дорого ему, все оставлено и забыто; он рвется к небу, он уже принадлежит небу — богу, то есть, если вспомнить, что сделана статуэтка в конце шестнадцатого века...

Ни Березкин, ни я не смогли найти иного истолкования, и оно, признаться, огорчило нас.

Кроме статуэтки, в посылке находился еще небольшой пакетик с металлическими обломками. Некоторые кусочки были золотые, а некоторые — сплав золота с серебром, причем процент золота в них неодинаков.

Металлическим обломкам мы поначалу не придали особого значения.

— Миссионер какой-нибудь затащил статуэтку в Африку, а мы теперь разбирайся,— хмуро, себе под нос, пробурчал Березкин.— Увлекательнейшее занятие!

Обычно мы избегали взаимных упреков, но сейчас я знал, что — пусть не напрямую — Березкин бранит меня, бранит за увлечение Африкой, которое сыграло не последнюю роль в нашем решении взяться за хроноскопию статуэтки.

— Ничего не поделаешь,— сказал я.— Мамаду Диоп ждет ответа.

Может показаться странным, что мы оставили письмо напоследок. Но я не ожидал найти в нем ничего, кроме общих «сопроводительных» слов: о всех подробностях Мамаду Диоп рассказал нам в первом письме.

Я ошибся. Письмо содержало нечто неожиданное. Мамаду Диоп сообщал, что, возвращаясь из Италии, где консультировался со специалистами, он проездом остановился в Касабланке, в отеле «Трансатлантик», что расположен в европейских кварталах неподалеку от араб-

ской части города — медины. В одни из свободных вечеров он нанес визит марокканскому историку и поэту аль Фаси, с которым познакомился по переписке года два назад. Историки провели несколько часов за обоюдно интересным разговором, потом на стол были поданы остро приправленные мясные блюда, мятный чай, которым полагается их запивать, и Мамаду Диоп отведал даже местного вина, хотя коран запрещает верующим пить вино.

В отель он возвращался в отличном настроении. Как только он переступил порог гостиницы, привратник сразу же сообщил, что произошло несчастье, и попросил пройти к управляющему.

Привратник, правда, несколько преувеличил: несчастье — и непоправимое — могло произойти, но не произошло.

По словам управляющего, вскоре после того как Мамаду Диоп ушел из гостиницы, в номер его проник злоумышленник, разрезал чемодан и похитил золотую статуэтку. Похититель вынес статуэтку из отеля и направился с ней в сторону медины, надеясь затеряться на ее тесных улочках, когда его настигла погоня: коридорный вошел вслед за преступником в номер Мамаду Диопа, увидел взрезанный чемодан и поднял тревогу... Злоумышленника задержали и доставили в полицию.

На следующий день Мамаду Диоп получил от полицейского чиновника свое сокровище обратно и узнал, что злоумышленник продолжает утверждать, будто пытался похитить золотую вещь из чисто корыстных побуждений... Но еще через день он признался, что действовал по приказу некоего Розенберга. Полиция кинулась разыскивать Розенберга и выяснила, что накануне вечером он покинул пределы Марокко. Мотивы, побуждавшие Розенберга охотиться за статуэткой, злоумышленнику, как будто, известны не были. О самом Розенберге он знал лишь, что это весьма богатый человек, живущий где-то в Соединенных штатах Америки...

«Представляете, во что могли обойтись мне несколько чашек мятного чая?» — спрашивал Мамаду Диоп.

А Березкин, когда я перевел ему письмо, сказал:

— Поздравляю. Религия плюс детектив. Лучшего сочетания не придумаешь. Ты, конечно, помнишь, что для подобных расследований мы и создавали хроноскоп...

А потом еще заявится с вазой Петя-кладоискатель, и ему ты тоже уступишь, я тебя знаю...

— Мамаду Диоп просит нас не забывать о загадочном происшествии и тщательно хранить статуэтку.

— Замечательно! Буду работать в институте с двустволкой в кармане!

— Мамаду Диоп просит извинить его за эту просьбу. Он пишет, что в Мали воровство неизвестно, и у них в стране очень трудно даже потерять вещь: нашедший обязательно передаст ее деревенскому старосте, тот перешлет ее в округ и так далее... Кстати, это объясняет, почему статуэтка находится в Москве, а не затерялась вновь в одной из хижин землекопов,— добавил я от себя.— Мамаду Диоп не верит, что в Москве может повториться касабланская история, и поэтому он еще раз просит извинить его за предупреждение...

— Москва все-таки не международный порт, где всякое охвостье подвизается,— сказал Березкин...— Смотри, неизвестно воровство... Не приукрашивает ли?

— Нет, наверно.

Березкин задумался, пристально глядя на запрокинутую голову золотой статуэтки.

— А про металлические обломки Мамаду Диоп что-нибудь пишет?

— Пишет, что они найдены там же, рядом со статуэткой...

— Ладно, отхроноскопируем ему эту штучку. Из уважения к тем честным рукам, что переслали ее сюда,— Березкин подмигнул мне и улыбнулся.— И потом, знаешь, удивительное лицо у этого золотого человечка. Сочетание вдохновения с мудростью, порыва — с фанатичной убежденностью... Я не фантазирую?

— Нет, не фантазируешь.

— А то, гляди, отобью у тебя хлеб... Верили же когда-то люди так слепо...

— Это не слепая вера,— возразил я.

— С такой силой,— поправился Березкин, и спросил: — Малийцы ислам исповедуют?

— Ислам, но много среди них и анимистов,— я показал на идолов.

— Да, этот миссионер растяпой оказался. И каким еще растяпой! Потерять такой шедевр! Н-да... — Березкин укоризненно покачал головой.

Я лучше, чем мой друг, ориентировался в истории географических открытий и понимал, что Березкин несколько упрощает события.

— Видишь ли, европейские миссионеры появились в этих районах Африки лет через триста с лишним после того, как статуэтка была изготовлена венецианским ювелиром,— сказал я.— Первым европейцем, проникшим на территорию современного Мали, был шотландский врач Мунго Парк, и произошло это в 1796 году... Участие какого-нибудь миссионера в приключениях статуэтки не исключается, конечно. Мы же с тобой сразу заподозрили, что она недавно попала в Мали. Ну, а если давно, если сразу после изготовления?..

— Тот самый случай, когда от слов пора переходить к делу,— сказал Березкин.

— Вот именно. Мы знаем, что родина статуэтки Венеция, что сделана она в конце шестнадцатого столетия, а найдена у города Дженне в середине двадцатого. Стало быть, нам предстоит путешествие по двум материкам сквозь три с половиной века...

— Если бы не религиозный мотив! — все-таки, не удержавшись, вздохнул Березкин.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой хроноскоп «приступает к исполнению служебных обязанностей», но отнюдь не приближает нас к пониманию истории статуэтки, ибо детали, обнаруженные им, оказались слишком мелкими; проблеме «религиозного мотива» тоже уделено место в этой главе.

— Ты африканист, тебе и решать, с чего начнем хроноскопию,— заявил Березкин, когда мы пришли в институт, где обычно находился хроноскоп.— Думай. На сей раз — я простой исполнитель.

Я, конечно, не ждал распоряжения Березкина и успел подумать, но не нашел ничего лучшего, как предложить общую хроноскопию.

— Оригинально,— сказал Березкин, но спорить не стал и сформулировал задание.

Ответ хроноскопа пришел моментально: мы увидели

на экране струи песка, бьющие и обтекающие смутно различимую продолговатую фигуру.

Я, не отрываясь, смотрел на экран, на котором разыгрывалась песчаная буря, но чувствовал, что сидящий рядом Березкин улыбается все шире и шире. Наконец, он не выдержал и расхохотался.

— Браво! Теперь все ясно.

Сегодня Березкин относился к хроноскопии полушутливо, и я строго сказал ему:

— Самум!

— Ну конечно. Остались следы песчинок на металле. Нам-то какая польза от этого?

— Самумов не бывает в Венеции, и едва ли они случаются в районе Дженне. Я смотрел геоботаническую карту. Там травянистая лесная саванна суданского типа.

— Хорошо, пусть будет Сахара. И что?

Я не ответил. В самом деле — «и что»?.. Но несерьезность Березкина начинала меня раздражать.

— Ну-ну,— Березкин легонько похлопал меня по плечу.— Ты же сам говоришь, что больше всего ценишь в людях деликатность и чувство юмора...

— Вот именно, деликатность,— сказал я.

— Вот именно, чувство юмора,— сказал Березкин.— Мы безвременно увянем с тобой, если будем вести хроноскопию с постным настроением и вытянутыми физиономиями... А что, если выяснить, как отломилась кисть левой руки?

— Правильно,— сказал я.— Нужно выяснить. Формулируй задание.

Хроноскоп не замедлил с ответом: мы увидели, как нечто тяжелое опустилось на руку, расплющило ее и обломило кисть (а что сломанная рука расплющена у окончания, было отлично видно невооруженным глазом).

Березкин повторил задание, стремясь уточнить, каким предметом расплющило и сломало руку, и на экране появилось нечто округлой формы, с силой наносящее удар по руке.

— Может быть все, что угодно,— сказал я.— Вплоть до обыкновенного камня.

Березкин не согласился со мной.

— У овала были заточены края,— возразил он.— На камень это не похоже...

— Кувалда?

Березкин пожал плечами.

— А были у них кувалды?

— Были и есть кузнецы, причем профессия кузнецов раньше относилась к числу самых почетных. Нередко в гильдию кузнецов входил даже император, и должность премьер-министра часто предоставлялась членам кузнечного цеха...

— Ты, я вижу, стал настоящим африканистом... Но трудно допустить, что кувалду ни с того ни с сего вдруг обрушили на руку статуэтки. У меня такое ощущение, что она была сломана случайно, стихийными силами.

Березкин прошелся по комнате, а потом достал из ящика пакетик с металлическими обломками.

— Надо бы узнать, имеют ли они прямое отношение к статуэтке,— сказал Березкин, еще час назад обещавший быть только «исполнителем».— По-моему, золотые кусочки — остатки сломанной руки.

Хроноскоп подтвердил предположение. Но кусочки из сплава оказались твердым орешком даже для нашего аппарата. На экране возникали лишь неясные изогнутые линии, которые не складывались в целое и потому не поддавались истолкованию. Березкин замучился с ними и, в конце концов, сдался.

— Может быть, завтра подыщем «ключ»,— сказал я Березкину, стараясь успокоить его.

— Боюсь, что это не тот случай. Едва ли мы подберем «ключ». Материала не хватает, к сожалению.

— Но есть возможность выяснить, одним и тем же предметом разбиты темные куски и рука или разными.

— Ты прав.

Березкин поставил перед хроноскопом задачу определить это по характеру вмятин и деформаций, и ответ пришел положительный: да, переломил руку и разбил непонятную вещь один и тот же овал...

— Похоже, что кусочки из сплава имели непосредственное отношение к статуэтке...

— Но какое?

Теперь наступила моя очередь маршировать по комнате, и я предавался столь плодотворному занятию долго и методично... Один чудак подсчитал, что в среднем в течение дня человек делает двадцать тысяч шагов. Я не знаю верхнего предела, но среднюю цифру в дни напряженной работы мы с Березкиным перекрывали, очевидно,

вдвое или втрое, не выходя из кабинета... Вообще говоря, такое вышагивание иной раз помогает выровнять ход мыслей, дисциплинировать его, что ли. У меня же, к сожалению, мысли перескакивали с одного предмета на другой, не очень-то считаясь с последовательностью и логичностью, и если на чем-либо задерживались, то преимущественно на мелочах. Так, я сообразил, что, называя темные кусочки сплавом золота с серебром, мы допускаем неточность, ибо сплав этот имеет зеленовато-желтый или бледно-желтый цвет... В наших же кусочках металла золото и серебро были каким-то хитрым способом смешаны, а не сплавлены... Делиться своим выводом с Березкиным я не стал и сказал о другом:

— Ты полагаешь, что руку статуэтки разбили некие стихийные силы. Если действительно «стихийные», то следы их должны остаться и на самой статуэтке...

— Глупеем мы с тобой,— улыбнулся Березкин.— Я просто обязан был сообразить это час назад, а ты — после первых трех шагов.

— Да здравствует самокритика,— сказал я.— Действуй!

Последовательно уточняя задания, Березкин добился отличного результата: на экране замелькали непонятные овалы, ударявшие по статуэтке, причем первые их удары были сильнее, а последующие все слабее и слабее, пока совсем не прекратились.

— И ничего не прояснилось,— сказал я.— Что за овалы...

— А я знаю, что за овалы,— сказал Березкин.— Лошадиные копыта. Ей-богу, статуэтка побывала под ногами лошади.

— Лошадей,— поправил я, схватывая мысль Березкина.— Статуэтка оказалась на пути конного отряда или табуна. И это не противоречит географическим фактам. В Гвинее, например, лошадей не разводят из-за мухи цеце, а в Мали цеце нет, и коневодство известно там с древнейших времен.

Березкин, не тратя лишних слов, сформулировал новое задание, и хроноскоп «согласился» с нашей догадкой: на экране появились скачущие лошади.

— Глядишь, по крупицам и наберется чего-нибудь,— сказал Березкин.— Правда, уж очень мизерны пока крупицы. Ты говоришь, что коневодство в Судане известно

давно? Значит, хронологию по копытам не уточним. Жаль.

— Копыта не объясняют, и почему уцелела поднятая правая рука.

— Случайность. Иного не придумаешь.

— А ну, проверь, есть ли на ней следы копыт?

Хроноскоп ответил отрицательно.

Лишь после того, как Березкин перешел к анализу корпуса, на экране опять замелькали лошадиные копыта.

— Любопытно, конечно, но едва ли это что-нибудь прояснит,— сказал Березкин.— Ослабление силы ударов показывает, что статуэтку быстро затоптали в землю. Это и спасло руку.

Уже вечерело, и должен признаться, что мы порядком устали. Я склонился к тому, чтобы прекратить на сегодня хроноскопию, но Березкин, проявив бóльшую выдержку, решил, как он выразился, «покончить с поднятой рукой».

Я как будто еще не говорил, что поднятая рука имела две особенности: кисть ее была запрокинута, а пальцы слегка раздвинуты, причем мизинец отставлен особенно далеко. По положению кисти мы догадались, что на ладони лежал какой-то округлый предмет. Хроноскопия же дала два непредвиденных результата.

Во-первых, хроноскоп показал, что предмет, лежавший на ладони, не мог удержаться на одной руке. Мы провели нехитрый графический анализ и по изгибу руки убедились, что шар имел сравнительно большие размеры и действительно покоился на двух основаниях.

Во-вторых,— и это уже не было неожиданностью,— хроноскоп убедительно показал, что некогда к поднятой вверх руке вплотную прижималась рука еще одной статуэтки, и мизинцы их рук были сцеплены. На двух этих руках и лежал шар...

Значит, когда-то статуэтка входила в некую скульптурную группу.

— Твое мнение? — спросил Березкин, исподлобья посматривая на меня.

— Какое может быть мнение?—я пожал плечами.— Примем к сведению факты, вот и все.

— Но если вспомнить о религиозном мотиве? Ты совсем забыл о нем. Короче говоря, меня интересует шар. Согласуется ли он с версией о религиозном предназначении фигуры?

— Не противоречит, во всяком случае. Я видел в Касабланке кафедральный католический собор, башни которого увенчаны шарами, а в шары, символизирующие Землю, как мечи, воткнуты кресты. Да и соборы в Конакри или на острове Горе у Дакара увенчаны такими же символами. Я легко могу себе представить, что руки статуэток поддерживали земной шар, проткнутый католическим крестом...

— Значит, не противоречит,— вздохнул Березкин.— Жаль. А теперь — конец. Ничего больше знать не хочу. Ни-че-го!

Березкин устало провел тыльной стороной руки по лбу и вискам и закрыл хроноскоп.

Когда мы вышли на улицу, по-прежнему шел крупный мокрый снег. Березкин посмотрел себе под ноги, посмотрел вокруг и поймал на ладонь снежинку.

— Удивительно,— пробормотал он.— А мне казалось, что я в Африке...

ГЛАВА ПЯТАЯ,

в которой рассказывается о самуме, пережитом мною... во сне, а также о догадке, поднявшей меня среди ночи и заставившей срочно звонить Березкину; какую роль сыграла эта догадка в распутывании истории золотой статуэтки, читатель узнает, если прочтет мои записки до конца; кроме того, в этой главе сообщается кое-что о философе Пете.

Часть пути от института до дома мы с Березкиным прошли пешком, несмотря на плохую погоду. Я вообще предпочитаю пеший способ передвижения, но в данном случае нам хотелось проветриться, подышать свежим воздухом.

Прогулка, к сожалению, не избавила меня от ощущения усталости, и дома я охотно принял предложение сына сразиться в «щелкунчики». Теперь у нас была большая квартира, простор, а мы к этому простору все никак не могли привыкнуть и большую часть времени проводили на кухне — по габаритам она примерно соответствовала нашему прежнему жилью, и там все было привычно, все под руками...

На шашечной доске шел горячий бой, «белые» упорно сопротивлялись «черным», когда в моем кабинете зазвонил телефон.

— Тебя,— сказала жена.

Звонил Петя. Он звонил мне довольно часто, рассказывал о всяких делах, и вообще, как принято выражаться, «держал в курсе своих дел».

Не зажигая света, я сел в кресло и приготовился слушать. Дверь на балкон была открыта, сильно поддувало, но мне лень было встать и закрыть ее.

Петя с места в карьер зачастил, и я сразу понял, что у него воз новостей.

Так и оказалось. Во-первых, Петя сообщил, что дата гибели корабля у кавказского побережья установлена, наконец, с точностью до одного года — Петя назвал 1593 год. Собственно, установить это было нетрудно. В затонувшем корабле археологи нашли серебряные дукаты, или цехины, как называли их в Венеции, и по монетам определили дату.

Во-вторых, больше не вызывала сомнений и национальная принадлежность корабля. Помимо цехинов с изображением Святого Марка, покровителя Венеции, помимо бус и бисера, археологи подняли со дна моря серебряную пластинку, так называемую «капитуляцию» на имя венецианского купца Паоло Джолитти, и Петя тотчас разъяснил следующее.

Как известно, в конце шестнадцатого столетия на берегах Черного да и Средиземного моря господствовали османовские турки, лет за сто пятьдесят до того разгромившие Византийскую империю. Начиная со второй четверти шестнадцатого века, турецкие султаны выдавали богатым купцам некоторых независимых стран капитуляции, то есть исходившие лично от султана разрешения на преимущественное право торговли; капитуляции гарантировали купцам экстерриториальность, низкие пошлины, освобождали от налогов. В числе стран, пользовавшихся султанской милостью, была, в перерывах между войнами, и Венеция, некогда крупнейший торговый город-республика.

Я замерз, крикнул сыну, чтобы он закрыл дверь на балкон, а Петя, не сбавляя темпов, продолжал выкладывать новости.

Честно говоря, я хоть и слушал терпеливо, но все, что

он рассказывал, скользило как-то по поверхности, не вызывая в моей душе ответного отклика. Африка, Африка и золотая статуэтка из Дженне — вот что держало меня в плену. Ну а Петя, Петя по-прежнему оставался в плену у призрачного хостинского клада и больше ничего не хотел знать.

— Понимаете теперь, в чем дело? — спрашивал он меня.— Торговый дом Хачапуридзе был теснейшим образом связан с торговым домом Джолитти! Вот почему в амфоре с клеймом Хачапуридзе лежали венецианские бусы... А завтра,— сказал Петя,— я уезжаю в Ленинград. Хочу посмотреть венецианскую вазу, на которой повторена роспись амфоры.

Последние слова немножко насторожили меня — я заподозрил, что сейчас вновь начнутся разговоры о хроноскопе,— но Петя пожелал мне спокойной ночи, избавив на сей раз от сложных объяснений.

Сын, не соглашаясь лечь спать, требовал, чтобы я закончил игру в «щелкунчики», а у меня слипались глаза, и я проиграл к его великому удовольствию.

Заснул я мгновенно, как только голова коснулась подушки, но, как часто бывает у меня в дни напряженной работы, мозг, к сожалению, не «выключился»... Проснулся я среди ночи с отчетливым ощущением, что пережил песчаную бурю; я задыхался, и рот мой был так стянут жаждой, что больно было шевелить языком и двигать губами... Я дотянулся до ночного столика, глотнул воды и теперь уже наяву заново пережил самум... Я услышал мелодичную «песню песков» — грозную песню, ибо она предвещает самум, я пережил жуткую безмолвную паузу, и увидел, как закурились вершины барханов — то пыль и мелкий песок заструились по ветру, но там, где я лежал, в ложбине, было еще тихо. Буровато-красная мгла поплыла у меня перед глазами, а потом небо стало свинцово-черным, и тучи песка поглотили меня... Я лежал лицом вниз, накрывшись с головой шерстяными одеялами, и где-то рядом со мной лежали верблюды, зарывшись мордами в песок. Вокруг выло, ревело, мне не хватало воздуха, и сердце судорожно билось в груди...

Самум пронесся, небо очистилось, и я перевел дыхание...

Вообще-то мне пришлось однажды близко познакомиться с пылевой бурей. Но то случилось в Хакассии,

холодным ноябрьским днем, и ничуть не походило на подлинный самум. Ничего чудодейственного в моем видении, однако, не было: теперь, окончательно проснувшись, я припомнил, что увидел самум таким, каким описал его в книге «По белу свету» наш путешественник Елисеев.

Самум кончился, тучи рассеялись, но осталось в душе ощущение легкой настороженности, ожидания чего-то важного. Я постарался логически прояснить его, понять, и вдруг одним прыжком соскочил с кровати и бросился к телефону... В трубке утомительно и нудно гудело, меня трясло от нетерпения и злости на Березкина, который там, на другом конце провода, не желал просыпаться... Я не знаю точно, сколько продолжалось это гудение, знаю только, что долго, и наконец трубку сняли.

— Триста лет! — закричал я.— Триста лет назад завезли статуэтку в Дженне! Слышишь?

Теперь у меня в ушах звенела тишина — на другом конце провода царило абсолютное молчание.

— Да проснись! — снова закричал я.— Старая калоша, ты понимаешь, что я говорю?

— Вы кому звоните, гражданин? — спросил меня кто-то непроспавшимся басом.

— Да тебе, тебе!

Едва прокричав это, я сообразил, что голос моего собеседника ничуть не похож на голос Березкина.

Я не поинтересовался мнением незнакомца о моей персоне. Нажав на рычаг, я снова набрал номер и заметался по кабинету, не отрывая трубку от уха.

— Да,— через минуту услышал я голос Березкина, и выпалил ему все, что успел уже рассказать незнакомому товарищу.

— Мог бы и завтра позвонить,— сказал Березкин.

«Мог бы!» Нет, не мог, потому что я пережил самум, потому что у меня еще суматошно колотилось сердце и я был потрясен собственным прозрением.

— И с чего ты взял это? — спросил Березкин, видимо, уразумевший смысл сказанного.

— Общая хроноскопия! — закричал я.— Помнишь общую хроноскопию? Ты еще смеялся!

— Помню,— сказал Березкин.

— Так вот, не смейся никогда заранее! Торговые пути через Сахару, с севера на юг, шли только в средневе-

ковье... А европейцы проникали в Судан с запада, плыли сначала по Сенегалу, а потом по Нигеру... Раз самум, значит, везли статуэтку еще тогда, в шестнадцатом веке, и везли арабы, к твоему сведению... Понимаешь? Статуэтка попала к арабам, и они переправили ее в Дженне.

— Понял,— сказал Березкин.— А теперь успокаивайся и ложись спать. Утром приеду к тебе.

Я боялся, что возбуждение не позволит мне заснуть, но, высказавшись, быстро заснул и спал до утра без всяких сновидений.

Поднявшись задолго до приезда Березкина, я успел на свежую голову еще раз оценить свои ночные кошмары и прозрения.

Да, в главном я не ошибался. География путей сообщения — есть такое скучное выражение — резко изменилась в северной части Африки за последние три столетия. Транссахарские караванные тропы уступили пальму первенства западным дорогам, из которых главная — во всяком случае, наиболее важная для нас,— начиналась от города и порта Сен-Луи, что стоит в устье Сенегала. Я был в этом городе, переходил широкий мутный Сенегал по знаменитому мосту Федерб, размышлял о той роли, которую сыграл Сен-Луи в истории завоевания европейцами Западной Африки... Но сейчас я думал о другом, я еще и еще раз проверял себя, размышляя о самуме, следы которого сохранились на золотой статуэтке. Мог ли он разразиться где-нибудь на западной трассе? Наивно было бы отрицать возможность пылевой бури в сухой период года, и все-таки она не могла сравниться по силе с самумом и едва ли оставила бы столь явственные следы песка на золотом теле нашей статуэтки.

Я хорошо представлял себе саванну сахельского типа, преобладавшую в Сенегале, помнил о песчаных «проплешинах» у городков Тиваувань или Луга... Сахель — это саванна с растущей пучками травой и раскидистыми акациями; а проплешины — они дело рук человеческих, это земли, погубленные арахисом, который французские предприниматели, ничем не удобряя почву, из года в год сажали на одном и том же месте.

Нет, золотому человеку пришлось перенести настоящий самум, сахарский, такой, как описан Елисеевым, или еще пострашнее.

Березкин, приехавший часов в десять, молча выслу-

шал мои дополнительные соображения и со всем согласился.

— География — по твоей части,— сказал он.— Тут я — пас. Но если хочешь, можно дополнительно уточнить силу бури. Не в абсолютных показателях, конечно...

— Понимаю, и мы сделаем это. А потом напишем Мамаду Диопу. Хроноскоп не открыл всех секретов статуэтки, но зато навел нас на правильный путь. Я посоветую Диопу просмотреть изданные или рукописные книги арабских ученых и путешественников того времени. Пусть он обратится к архивариусам древних арабских городов, купцы которых поддерживали в средние века деловые связи с обитателями африканских саванн. Кстати, туркам не удалось захватить Марокко, и в конце шестнадцатого века именно оттуда уходили в Судан караваны, снаряженные арабскими купцами...

— Аль Фаси,— вспомнил Березкин.— Тот самый, у которого Мамаду Диоп пил мятный чай. Он может оказать неоценимые услуги.

— Да. Я тоже подумал о нем.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой мы отправляем письмо Мамаду Диопу, а потом выдерживаем — вернее, не выдерживаем — бурный натиск Пети и деликатный — Брагинцева; под их коллективным нажимом мы посещаем... Музей изобразительных искусств на Волхонке; к чему привело это посещение, сказано в конце главы...

Письмо Мамаду Диопу я написал на следующий день после проверки песчаной бури, так сказать, «на силу» (подтвердился самум). Но ушло из Москвы оно несколько позже — задержали товарищи, переводившие письмо с русского на французский. Там же, где переводилось письмо,— в Советской ассоциации дружбы с народами Африки — я узнал, что на весну запланирована поездка в Сенегал и Мали, и, не советуясь с Березкиным, попросил включить нас в состав группы. Березкин к моей просьбе отнесся весьма благосклонно: теперь ему тоже хотелось побывать в Африке, хотелось, как и мне, увидеть город, у стен которого нашли золотую статуэтку.

Говорят, что ждать и догонять хуже всего. Догонять нам было некого, а вот ждать предстояло долго — и поездки в Африку, и письма от Мамаду Диопа, и каких-нибудь результатов его изысканий.

Ждать для нас, впрочем, не означало сидеть сложа руки: дела всякого рода всплывали постоянно, хотя нас перестал беспокоить Рогачев. Это случилось после того, как мы отказались использовать хроноскоп для расследования административной неурядицы, некогда происшедшей в институте. Я думал, что Рогачев перестанет со мной здороваться, но он все-таки кивает при встрече.

И потом, не забывайте о Пете Скворушкине. Из Ленинграда он вернулся раздосадованный тем, что венецианскую вазу, о которой говорил на Кавказе Брагинцев, отправили вместе с передвижной выставкой из Эрмитажа в Музей изобразительных искусств, то есть из Ленинграда в Москву. И Петя, таким образом, зря проездил, а он не желал терять ни одного дня.

Нас Петя намеревался затащить прямо на вернисаж, но мифический хостинский клад мало волновал нас с Березкиным. Однако дня через два позвонил Брагинцев и от своего имени попросил посмотреть венецианскую вазу. Я понимал, что звонок, так сказать, инспирирован неугомонным Петей, но отклонить просьбу Брагинцева счел неудобным и согласился.

Брагинцев и Петя ждали нас в палисаднике, у серых колонн, и сразу же провели в зал, где была выставлена ваза.

— Вот, смотрите,— полушепотом сказал Петя.— Разве не удивительное совпадение?

Филигранного стекла, зеленоватая, с введенными внутрь белыми нитями и темными декоративными трещинками-кракле в верхней и нижней части, ваза действительно повторяла сюжет амфоры, поднятой со дна моря. Опытная рука мастера с острова Мурано выписала молочными нитями и стоящего во весь рост человека, и сидящего напротив него, и летящую к нему перечеркнутую восьмерку, и строку, и «план» замка...

— И надпись тоже на картули эна, шрифт мхедрули? — чуть улыбнувшись, спросил я.

— Не совсем,— ответил за Петю Брагинцев.— Венецианский мастер не знал грузинского алфавита, не понимал смысла фразы и допустил искажения.

— Значит, он механически перенес на стекло и написанную заказчиком фразу, и придуманный им сюжет?

— Это наиболее вероятное предположение.

— А заказчиком был кто-то из торгового дома Хачапуридзе...

— А посредником кто-то из торгового дома Джолитти.

Мы с Брагинцевым посмотрели друг на друга и улыбнулись.

— Вот видите, как все складно получается! — с восторгом сказал Петя.— А я уже навел справки...

— О взаимоотношениях торговых домов? — перебил я.

— Нет, о прежнем хозяине вазы. Раньше она принадлежала грузинскому царю Вахтангу Шестому, эмигрировавшему в Москву при Петре Первом. Наверное, его потомки преподнесли вазу какому-нибудь нашему царю или царице, и после революции она оказалась в Эрмитаже.

— Вахтанг Шестой,— повторил я.— Это после его эмиграции разрослась грузинская колония в Москве. Малые Грузины, Большие Грузины...

— Да, да! — радостно подтвердил Петя.— А Багратион — его прямой потомок!

— На Кавказе вы говорили,— повернулся я к Брагинцеву,— что ваза датируется концом шестнадцатого столетия?

— У специалистов это не вызывает никакого сомнения. Ко времени царствования Петра Первого в России производство венецианского стекла пришло в упадок. Но разрыв во времени не должен вас смущать.

— Он и не смущает меня. Ваза могла сколь угодно долго находиться у предков Вахтанга. Но скажите, почему вас заинтересовало совпадение сюжетов? Я понимаю Петю — Пете нужен клад...

— Клад всем нужен,— сказал Петя.

— Я прочитал вашу книгу о хроноскопии и понял, что хроноскоп мог бы определить, есть ли схожесть в написании строки на амфоре и на вазе,— почему-то Брагинцев предпочел не отвечать прямо на мой вопрос.— Ведь и в том, и в другом случае мастера переносили на глину или стекло рукописную строку.

— Это несложно,— сказал молчавший до сих пор Березкин.— Пустяковое дело...

— Не могли бы вы быть настолько любезны...

— Могли бы,— сказал Березкин.— Но как заполучить вазу в институт?

— Я надеюсь, что вечером, после закрытия музея, директор разрешит вынести ее.

Березкин недоверчиво хмыкнул.

— Если вы берете это на себя...

— Да, конечно.

— Значит, вы подвергнете хроноскопии мою амфору? — еще не веря своим ушам спросил Петя.

— Придется.

— Но не одну же строчку! — Петя темпераментно взмахнул руками.— И план крепости тоже!

— Там видно будет,— уклончиво ответил Березкин, но я про себя решил, что теперь нам придется уступить Пете.

— Нет, обещайте мне!

— Обещаем,— сказал я.— Раз уж вы притащите амфору в институт...

Петя хлопнул в ладоши и заявил, что немедленно отправится к археологам.

Мы не стали его удерживать, и самим нам уже нечего было делать у вазы. Брагинцев решил, не откладывая, зайти к директору, его хорошему знакомому, а мы с Березкиным прошлись по «итальянскому дворику», по египетскому залу, поднялись на второй этаж к древнегреческим атлетам, к которым я ходил в детстве, чтобы сравнить свою мальчишескую мускулатуру с мускулатурой «кулачного бойца» или «дискобола». Они так и остались для меня недосягаемым идеалом.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой мы занимаемся хроноскопией венецианской вазы и поднятой со дна моря амфоры; как станет ясно из последующего изложения, дело вовсе не ограничилось анализом двух надписей, сделанных на картули эна шрифтом мхедрули.

Из Музея изобразительных искусств мы с Березкиным поехали ко мне домой.

У меня было странное состояние. Все, что происходило в музее, было оправдано, логически объяснимо... Но

осталось ощущение, будто кто-то все время стоял у нас за спиной и небескорыстно интересовался нашими расследованиями, следил за нами. Я помнил каждое слово, каждый жест и Брагинцева, и Пети, знал, что, никто из них не повинен в этом чувстве. И все-таки...

— Тебе не кажется, что нас с собой проверяют или испытывают, уж не знаю, как точнее выразиться? — вдруг спросил Березкин, устраиваясь рядом со мной на заднем сидении такси.

По складу характера я более мнителен, чем мой друг, и совпадение наших чувств меня еще более озадачило.

— Кого ты подозреваешь?

— В том-то и дело, что заподозрить некого. Глупо об этом говорить, но и о Брагинцеве, и о Пете проще простого навести справки.

Я догадывался, что Березкин стремится оправдаться в непонятном самоощущении, и все же меня покоробили слова о справках.

— Ты же знаешь, что мне совершенно не свойственна подозрительность,— сказал Березкин, угадавший ход моих мыслей.— Не суди меня строго. Было бы ужасно обидеть подозрением честного человека!

— Если бы не письмо Мамаду Диопа с рассказом о таинственном Розенберге, возникло ли бы у нас такое чувство? — спросил я Березкина.

— Едва ли...

— Вот именно. Ей-богу, надо послать к черту всякие глупости. Тем более, что ни амфора, ни венецианская ваза не имеют никакого отношения к статуэтке из Дженне.

Вечер мы провели великолепно, хорошо отдохнули, рассеялись, и когда в двенадцатом часу семейство Березкиных отправилось домой, от прежних наших сомнений, как говорится, не осталось и следа.

Зная характер Пети, я с утра позвонил Березкину в институт и узнал, что Петя явился, уже поскандалил с вахтером, не пропускавшим его с весьма объемистой амфорой, и теперь сидит, сложив руки на животе, перед закрытым хроноскопом.

Березкин, решительный во всем, что касалось хроноскопии, предупредил Петю, что ничего не будет делать до тех пор, пока Брагинцев не доставит в институт вазу. Но Петя, дипломатично помолчав минут тридцать-сорок,

повел наступление, уговаривая Березкина для начала выяснить, план или не план крепости нанесен на амфору.

К тому времени, когда я приехал в институт, Петя одержал полную победу, и Березкин с некоторым смущением сообщил мне, что на амфоре как будто бы действительно изображен некий план крепости.

Способность хроноскопа устанавливать и прояснять такого рода подробности казалась мне сомнительной, но Петя прямо-таки захлебывался от восторга, и я решил не вмешиваться в их взаимоотношения с Березкиным.

Вечером приехал Брагинцев, и венецианская ваза поступила в наше полное распоряжение.

Увидев Брагинцева, я понял причину нашего странного вчерашнего ощущения: все, видимо, объяснялось тем, что Брагинцев так и не рассказал нам, для чего потребовался ему сравнительный анализ строчек, выписанных на амфоре и вазе. Догадка успокоила меня. Настоящий исследователь, человек сдержанный в словах, Брагинцев, конечно, просто не хотел упреждать события и ждал, что подскажет ему хроноскоп.

Итак, нам предстояло установить идентичность или, наоборот, неидентичность почерков на амфоре и вазе.

Брагинцев уже говорил нам, что надпись на картули эна, сделанная шрифтом мхедрули, графически искажена мастером с острова Мурано. Но для хроноскопа, как и предвидел Березкин, было достаточно частных особенностей в написании букв, которые сохранились и в том и в другом варианте. Если верить хроноскопу, а мы — простите за повторение — ему верили, то надписи на стекле и глине делались по одному и тому же рукописному образцу.

— Устраивает вас такой вывод? — спросил Березкин Брагинцева.

— Вполне,— ответил тот.

— Если вас еще что-нибудь интересует...

— Честно говоря, мне хотелось бы проверить собственное истолкование взаимоотношений человечков на вазе и амфоре.

— Взаимоотношений?

— Мне кажется, что это отец и сын. Сын уехал. Допустим, в Венецию, чтобы обучиться торговому делу, а отец остался на Кавказе. Сын задержался дольше положен-

ного ему срока, и любящий отец, помимо писем, прибег вот к такой форме увещевания... Это не слишком глупо звучит?

— Отнюдь,— сказал я.

А Петя, восторженно смотревший на своего учителя, вдруг прозрел:

— Потому и написано: «Вернись, и все скажу тебе»! Отец хотел передать блудному сыну тайну зарытых сокровищ! — вскричал Петя.— Вы убедились теперь, что я на правильном пути?!

— Петя, милый, вы все-таки не наследник Хачапуридзе. Ведите себя сдержаннеи,— сказал Брагинцев резко.

Березкин перебрал несколько формулировок и получил ответ. Сын ли с отцом изображены на амфоре и вазе, хроноскоп выяснить не смог, но по характеру изображения он определил, что стоящий человек старше сидящего. Стало быть, версия Брагинцева получила дополнительное подтверждение.

— Удовлетворены?

— Почти. А может ли хроноскоп расшифровать смысл перечеркнутой восьмерки?

Задание показалось мне слишком неопределенным для хроноскопа, но аппарат справился с ним моментально: на экране появилась... пчела. Да, пчела, или, во всяком случае, перепончатокрылое насекомое, в высшей степени похожее на самую обычную пчелу...

Брагинцев расхохотался... Я даже не подозревал, что он способен так заразительно и весело смеяться.

— Ваш хроноскоп изумителен,— сказал он сквозь смех.— Просто изумителен. Кстати, пчела — символ, который вполне мог устроить главу купеческого дома: соты наполняются по капельке, как и купеческая казна. Те самые соты, что изображены на плане!

— Боюсь быть навязчивым,— сказал я Брагинцеву,— но мне и Березкину хотелось бы знать, что привело вас к нам, почему вдруг вам понадобился сравнительный анализ двух столь разных сосудов?

— Видите ли, торговый дом Хачапуридзе загадочно окончил свое существование в самом конце шестнадцатого столетия. Я еще плохо представляю себе возможности хроноскопа, но подумал, не обнаружит ли он причину?

— Вы интересовались историей дома Хачапуридзе? — поразился Петя.— Вы?

— Немножко,— сказал Брагинцев.— Собственно, интересовался не я, а мой хороший знакомый — историк Месхишвили. Помните «беленького старичка» в Хосте, который прочитал надпись на амфоре и рассказал о Хачапуридзе? Это великолепный знаток средневековой Грузии, но даже ему непонятен крах процветающего торгового дома.

— Значит, вы хотели помочь Месхишвили?

— Да. Но, судя по результатам, едва ли что-нибудь получится. Впрочем, мне известен еще один сосуд с аналогичным сюжетом.

— Он у вас дома?

— Нет, он в Кремле, в фондах Оружейной палаты.

— И его можно заполучить?

— Конечно, и для этого не нужно идти в Кремль. Я принесу его в институт. Человеческий глаз все-таки не сравнится с хроноскопом.

Брагинцев и Петя ушли, унеся с собой венецианскую вазу.

Некоторое время после их ухода мы сидели молча.

— Итак, еще одно действующее лицо,— вздохнул Березкин.— Месхишвили.

— По-моему, Брагинцев чего-то недоговаривает...

— Возможно, но я чувствую, что мы ввязываемся еще в одну запутанную историю, а вести параллельно два сложных расследования... Ни к чему это, совсем ни к чему.

Потом Березкин подошел к Петиной амфоре, оставленной у нас, и потрогал пальцами перечеркнутую восьмерку.

— «Человеческий глаз все-таки не сравнится с хроноскопом»,— повторил он слова, сказанные Брагинцевым.— А их и не надо сравнивать. Каждому свое. Итак, любящий отец напоминает сыну о собранных им богатствах, посылая символическую пчелу. Есть своя логика в таком объяснении, но вся беда в том, что эта пчела не смогла бы отлететь и на два шага от улья.

— Почему? — удивился я.

Березкин посмотрел на меня с сожалением.

— Я думаю, ты заметил. У нее же несимметричные крылья. И на амфоре, и на вазе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой мы, ожидая ответа от Мамаду Диопа, продолжаем расшифровку сюжета, запечатленного на амфоре, венецианской вазе и еще на одной — серебряной вазе; в этой же главе хроноскоп проводит расследования, которые хотя и приоткрывают некоторые тайны серебряной вазы, но заканчиваются трудно объяснимым курьезом.

Я чувствую по складу повествования, что местами невольно бросаю на Брагинцева тень, хотя ничего более нелепого невозможно вообразить. Я пересмотрел предыдущие страницы, кое-что смягчил, а кое-что даже вычеркнул, но не уверен, что достиг желаемого результата. Во всяком случае, прошу не переносить недостатки рассказа на человека, о котором рассказывается, тем более, что человек этот очень симпатичен и мне, и Березкину.

Едва переступив порог рабочего кабинета Березкина, Брагинцев — он держал в руках сверток — сказал, что стыдится своего собственного эгоизма.

— Я же знаю, что вы заняты расследованием африканской истории, сознаю, что у вас масса дел и навязываюсь со своими вазами, с каким-то торговым домом Хачапуридзе...

— Очень хорошо, что навязываетесь,— сказал Березкин, интонационно взяв в кавычки последнее слово.— Расследование африканской истории нам пришлось временно прервать, а вазы ваши как будто тоже обещают любопытное. В свертке у вас третья ваза?

— Да, про которую я говорил.

Брагинцев разорвал плотную бумагу, скомкал ее и бросил в мусорную корзину.

— Снова Венеция,— сказал он.— Снова конец шестнадцатого века.

Почему-то я внутренне вздрогнул при этих словах. Что за наваждение? И статуэтка из Дженне, и вазы в Москве, и амфора с затонувшего корабля... Трудно было допустить какую-либо связь между, скажем, серебряной вазой из Оружейной палаты и статуэткой из Дженне. И все-таки...

— Как видите, в данном случае художник восполь-

зовался для сюжетного изображения чернью, или ниелло, как говорят в Италии,— сказал Брагинцев.— Черневые изображения были широко распространены в ту пору.

С нашей же — хроноскопистов — точки зрения ваза была примечательна прежде всего многочисленными деформациями и даже пробоинами, таившими, наверное, немало интересного.

— Итак, продолжим сравнительный анализ почерков? — спросил Березкин Брагинцева и после его утвердительного ответа сформулировал задание.

Мы приготовились к положительному результату, и не ошиблись: хроноскоп вновь подтвердил, что образцом служила одна и та же рукописная строка.

— Ну, не наваждение ли? — сказал Березкин моими словами.

— Нет, отчего же,— улыбнулся Брагинцев.— Звенья одной цепи. И не забывайте, что в конце шестнадцатого столетия Хачапуридзе уже перестали заказывать вазы в Венеции...

— Продолжим хроноскопию,— сказал я Березкину.— Некогда вазу сильно помяло. Как ее выпрямляли?

— А зачем тебе это знать? — спросил Березкин.

— Пока не могу ничего объяснить. Но раз уж мы взялись за хроноскопию...

Березкин сформулировал задание, и мы увидели на экране сильные руки с длинными тонкими пальцами, выпрямляющие вмятины.

Я подошел к хроноскопу и еще раз осмотрел весьма массивную вазу. Да, только очень сильный человек мог руками распрямить металл, придать серебряной вазе прежнюю форму.

— Повтори, пожалуйста, задание,— попросил я Березкина,— но сделай акцент на руках.

— Зачем вам понадобились руки? — спросил Брагинцев.— Гораздо интереснее происхождение пробоин.

— Все интересно,— сказал я.— А мелочей в хроноскопии нет. Ничем нельзя пренебрегать.

Очертания вазы на экране как бы размылись, затушевались, но зато руки проступили отчетливо — руки хирурга с длинными крепкими ногтями. Я прекрасно сознаю, что мое определение — «руки хирурга» — шаблонно, но мне важнее точность, чем оригинальность сравне-

ния, хотя кое в чем я и грешу: ногти, пожалуй, у хирурга покороче. В общем же стереотипность характеристики должна лишь помочь составить правильное представление о том, что мы увидели.

Я смотрел на руки, выпрямляющие стенки серебряного сосуда, и мне все определеннее казалось, что я уже видел эти руки. Березкин выключил хроноскоп. Пытаясь припомнить, где я мог видеть руки, я перебирал в памяти прежние сеансы хроноскопии, начиная с тех, о которых рассказано в очерке «Долина Четырех Крестов», но — тщетно!

— Вас интересуют пробоины? — спросил Березкин Брагинцева.— Что ж, займемся пробоинами. Одна из них похожа на след от удара рубящим предметом, саблей скорее всего... А вторая, круглая... Гм! Кто-то сначала выстрелил по вазе, вернее, по ее хозяину, из мушкета, а потом дело дошло до рукопашной. Некогда ваш сосуд попал в нехорошую историю!

Березкин не ошибся. Он не навязывал хроноскопу своего мнения, задания формулировал совершенно объективно, но ответы получил именно те, которые предсказал: мы увидели и маленький круглый предмет — пулю — пробивающий вазу, и саблю, стремительно падающую на сосуд.

— А теперь посмотрим общую хроноскопию,— предложил я.

Общая хроноскопия всегда чревата неожиданностями, и мне лично она доставляет особое удовольствие как раз тем, что заранее невозможно предвидеть ее результат. И вот дополнительный пример тому: на экране появилась ваза, летящая вниз по крутому каменистому склону; ваза падала долго, а потом ударилась о камень и отскочила в сторону...

— Кажется, тут прямая связь с предыдущими кадрами,— сказал Брагинцев.

— Со временем из вас получится отличный хроноскопист,— улыбнулся Березкин.— Конечно, прямая связь. Хозяин вазы, а точнее, караван, шедший по горной тропе, подвергся нападению. Стрельба, рубка. Вьюк рассыпался в свалке, и пробитая пулей и саблей ваза полетела под откос.

Березкин уточнил задание и несколько раз повторил его, но на экране не произошло почти никаких изме-

нений — только скалы приобрели желтовато-белый оттенок.

— Да, на склоне ничего не росло,— сказал Березкин.— Или ваза случайно миновала стволы деревьев. А скалы, судя по цвету, были такими же, как в долине Хосты.

— Известняк,— уточнил я.

— Известняк,— словно машинально повторил Брагинцев.— Вот так она и летела. Потом ее подобрали и выпрямили...

— Последовательность событий надо еще проверить,— возразил я.— Давайте-ка выясним, действительно ли вазу сначала пробили пулей и саблей, а потом уж она покатилась...

— Пустяковое дело,— сказал Березкин.— Но уверен, что хроноскоп подтвердит правильность нашего предположения.

И действительно, хроноскоп подтвердил, что сначала ваза пострадала от оружия, а потом — от скал. Труднее оказалось выяснить, когда ее распрямляли — сразу же после падения или много позднее. Березкину не удалось добиться четкого ответа, но по косвенным признакам мы заключили, что распрямляли вазу сравнительно недавно.

— Что будем делать дальше? — спросил Березкин, глядя на Брагинцева.

— Не знаю,— ответил тот.— Думаю, что со временем мне удастся сформулировать дополнительные вопросы. А пока — все как будто.

Березкин, подойдя к хроноскопу, долго стоял перед ним, о чем-то размышляя. Потом, ничего не говоря нам, он дал хроноскопу задание, и на экране замелькали какие-то непонятные значки... Березкину пришлось повторить и уточнить задание, и тогда значки выстроились в ряд, и мы узнали ту самую надпись на картули эна, которую видели на всех трех сосудах... Надпись действительно была той же самой и в то же время чем-то отличалась от каждой из трех.

— Хроноскоп убрал искажения, допущенные мастерами, и создал осредненный вариант, близкий, по-моему, к подлинной рукописной строке,— сказал Березкин.

— Не понимаю, для чего тебе это понадобилось.

— Хочется что-нибудь узнать о Хачапуридзе.

— По почерку?

— Не беспокойся, я читал в Большой Советской Энциклопедии, что графология — лженаучная теория,— усмехнулся Березкин.— Но состояние человека, какие-то доминирующие черты его характера хроноскоп же определял. Вспомни «Долину Четырех Крестов».

Мы с Березкиным, поначалу незаметно для самих себя, стали различать эпизоды хроноскопии по названиям моих очерков-отчетов, и теперь это уже вошло в привычку.

— Я ничего не отрицаю. Дерзай.

Березкин сформулировал задание, и тут произошел один из курьезов, которыми отнюдь не бедна наша практика: словно услышав слова Березкина о Долине Четырех Крестов, хроноскоп показал нам... Зальцмана. Экранированный Зальцман сделал несколько шагов, раскрыл тетрадь и, нервничая, словно кого-то опасаясь, сделал в ней запись.

Я тотчас сообразил, что хроноскоп выбрал в своей «памяти» эпизод у поварни, когда Зальцман прятал дневник начальника экспедиции. Но с чего бы вдруг?

— Уж не твои ли это штучки? — спросил я Березкина.

— Ничего не понимаю,— ответил тот.— Я же не лунатик, я точно сформулировал задание!

Березкин выключил хроноскоп, выждал несколько минут и повторил задание.

Экран вспыхнул мгновенно, и... Зальцман, сделав несколько шагов, раскрыл тетрадь! А потом зеленые волны как бы стерли фигуру Зальцмана с экрана, и его место занял другой человек с жестким, почти жестоким лицом.

— Черкешин! — воскликнули мы в один голос и посмотрели друг на друга.

Березкин быстро выключил хроноскоп.

— Ничего подобного никогда не было,— удивленно сказал он.— Это мне не нравится.

— Всплывают, как в человеческом мозгу, воспоминания, что ли? — неуверенно спросил я.

— Хроноскоп в миллион раз дисциплинированней, чем мозг. Был, во всяком случае.

Березкин повернулся к Брагинцеву, но тот, угадав, что мой друг собирается извиниться перед ним за неожиданно прерванную хроноскопию, опередил его.

— Все понимаю,— сказал он.— Хроноскопом нельзя

рисковать. Очень досадно, что из-за моей вазы аппарат вышел из строя.

— Вовсе не нужно казниться,— возразил Березкин.— Ваза — несложный объект для хроноскопии. Придется отрегулировать приборы. Это — наши будни. Но хроноскопия, к сожалению, отложится на неопределенное время.

— Значит, вазу можно забрать? — спросил Брагинцев.

— Да, лучше мы возьмем ее еще раз, если потребуется дополнительный анализ.

Брагинцев взял вазу и поискал глазами бумагу, в которую она была завернута.

— Кажется, я ухитрился разорвать бумагу,— сказал он.

— Сложно, но выход из положения можно найти,— улыбнулся я, подавая Брагинцеву лист чистой плотной бумаги.

— Кстати, где же Петя? — оглядывая рабочий кабинет, спросил Березкин, словно только теперь заметивший, что нет нашего глубокоуважаемого философа.

— Петя твердо решил найти клад,— почему-то грустно усмехнулся Брагинцев.— И поэтому он отправился на вокзал брать билет на Тбилиси. В Тбилиси он нанесет визит Месхишвили, дабы выпытать у того все о Хачапуридзе...

— Хачапуридзе! Много мы о нем сегодня узнали! А ваш ученик — целеустремленный юноша,— думая уже о чем-то своем, равнодушно сказал Березкин.

Когда Брагинцев ушел, я спросил Березкина, заметил ли он инвентарный номер на вазе.

Березкин, хотя он и был погружен в свои раздумья, тотчас откликнулся:

— Конечно. МС-316/98. Должен тебе признаться, что ваза меня заинтересовала. Не нравится мне история, которая с ней произошла.

— Мне тоже не нравится. Да и торговый дом Хачапуридзе почему-то не вызывает почтения.

Березкин подошел к хроноскопу, постоял перед ним, но потом решительно заявил:

— Прибором займусь завтра. На свежую голову. Сегодня не могу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

в которой Березкин проводит в мое отсутствие тщательную проверку хроноскопа и убеждается в его исправности; некоторые контрольные сеансы хроноскопии, как выяснилось, заслуживают того, чтобы о них было специально рассказано.

На следующий день Березкин, с обычной его прямотой, сказал мне по телефону, что мое присутствие в институте вовсе не обязательно.

— Пока я сам во всем не разберусь, ты мне только мешать будешь,— заявил он.— Кстати, я же знаю, что у тебя накопилось множество всяких дел.

Незавершенных дел действительно накопилось много, и я решил воспользоваться вынужденной паузой в расследовании. Хроноскопия невольно «теснила» некоторые иные мои интересы и симпатии, но отнюдь не сводила их к нулю. Систематичность в работе, выработанная с годами, позволяла мне продолжать литературную деятельность, писать статьи и книги по теории естествознания; лишь от длительных экспедиционных поездок пришлось отказаться (их заменили частые выезды с хроноскопом).

Короче говоря, у меня имелись основания ценить выпадающие на мою долю свободные дни и недели. Теперь же, благо работоспособность моя восстановилась, я надеялся провести их в высшей степени плодотворно.

Отключив телефон и запершись на несколько дней дома, я дописал статью для «Известий Всесоюзного географического общества», набросал несколько заметок для популярных изданий, прочитал корректуру своей книги, а затем отбыл в Ленинград, где отлично поработал в библиотеке Географического общества.

Вернувшись в Москву, я узнал, что Березкин уже несколько раз звонил и просил заехать к нему безотлагательно.

Я застал своего друга в настроении, которое не назвал бы безоблачным. Он сам признался в этом и добавил:

— Ничего не могу тебе объяснить. То ли немножко устал, то ли неопределенность раздражает. Да, скорее всего неопределенность. Такое ощущение, что забрались мы далеко, а толку — на грош. И кажется, что не выпутаться нам из всех этих историй. Я говорил тебе, что ваза

меня заинтересовала. Но можно ли из нее еще что-нибудь выжать? Я не уверен. Если не появятся дополнительные материалы для хроноскопии — считай, что время потрачено зря.

Я знал, что моему другу подчас свойственны приступы пессимизма. Но обычно случалось так, что один из нас сдавал в тот момент, когда другой, как говорится, находился на подъеме. Поскольку я занимался совершенно иными делами, то раздумья о неудачах хроноскопии отнюдь не вымотали меня. Наоборот, я привез из Ленинграда изрядный запас бодрости, а как вести себя с захандрившим Березкиным, мне было отлично известно.

— Удалось тебе исправить хроноскоп? — спросил я.

— И тут ерунда какая-то,— сказал Березкин.— Провозился с хроноскопом несколько дней и убедился, что он в полной исправности.

— А пробовал ставить те же самые вопросы?

— Конечно. Вдоволь налюбовался и на Зальцмана, и на Черкешина.

— В таком порядке они и появились — сначала Зальцман, за ним — Черкешин?

— Случалось и наоборот. А какое это имеет значение?

Я задумался — интуиция подсказывала мне, что даже такой мелочью не следует пренебрегать.

— Покажи-ка мне контрольные сеансы хроноскопии,— попросил я.

— А! Контрольные! — улыбнулся Березкин.— Знаешь, что я совершенно случайно открыл?

Березкин выдержал торжественную паузу и сказал:

— Рука об руку с золотым человеком стоял — кто бы ты думал? — черный человек! Аф-ри-ка-нец!

— Не может быть,— тихо сказал я, пораженный неожиданным сообщением.— Или... Или это нечто фантастическое. Ты уверен, что не ошибаешься?

— Да что с тобой? — удивился Березкин.— Что ты так разволновался? Ничего же сложного, и ошибка практически исключается. На золотой руке сохранились следы черни или потемневшего от времени серебра, и заключение хроноскопа вполне логично.

— Но тогда летит твой пресловутый религиозный мотив и все запутывается еще больше!

Березкин ждал разъяснений.

— Как ты не поймешь! Будь статуэтки новыми, в них

можно было бы заподозрить любую агитку — и религиозную, и политическую. Вообще — плакатный мотив, имеющий в разных странах разное значение. Но в конце шестнадцатого столетия у европейцев не было в центральных районах Черной Африки ни колоний, ни религиозных миссий!

— Так,— сказал Березкин.

— Те же мореплаватели-полупираты, что захватывали островки или устья рек на африканском побережье, заботились прежде всего о работорговле. Какие уж там сплетенные руки! Вся политика сводилась к грабежам и обманам.

— И Венеция тут ни при чем,— дополняя меня,— сказал Березкин. Во-первых, венецианцы в основном ориентировались на Восток. А во-вторых, какому пирату пришла бы в голову мысль заказать в Венеции нечто подобное нашим статуэткам?! Ну и загвоздка!

Березкин несколько раз пробежался по кабинету и остановился передо мной.

— Знаешь, теперь я убежден, что за белой и черной статуэтками скрываются люди высокого ума и высокой души... Ты должен написать Мамаду Диопу, и написать, не откладывая.

— Написать несложно, но о чем?

— О том самом! О том, что в конце шестнадцатого столетия от Венеции к Дженне протянулась незримая нить взаимного уважения и доверия! Ее протянули друг другу два человека, в чем-то очень близких, хотя мы еще не знаем, в чем именно!

Березкин говорил с несвойственной ему темпераментностью, но закончил совсем по-деловому:

— Видишь ли, мое предположение — пусть не окончательно доказанное,— сузит для Мамаду Диопа сферу поисков, а сие, как ты понимаешь, немаловажно... А теперь — смотри!

Березкин быстро подошел к хроноскопу, включил его и принялся, торопясь, «прокручивать» для меня контрольные кадры, чтобы поскорее показать запечатленную в «памяти» хроноскопа маленькую скульптурную группу.

Я не очень внимательно вглядывался в кадры, но когда на экране мелькнули тонкие сильные руки — уже знакомые нам руки с крепкими длинными ногтями,— я вздрогнул.

— Что это значит? — спросил я Березкина.

— А, ерунда! — сказал все еще возбужденный Березкин.— Я взял для контрольного сеанса смятую оберточную бумагу из мусорной корзины...

Березкин осекся и повернулся ко мне.

— В бумагу была завернута серебряная ваза...

— А порвал и скомкал бумагу Брагинцев. Значит, на экране его руки, и мы их видели раньше.

— Да, когда он распрямлял вазу, каким-то образом попавшую к нему.

— Странным образом попавшую,— сказал я.— Иначе — к чему таинственность, недоговорки?

Березкин, не выключая хроноскопа, задумался.

— А я все прозевал,— сказал он.— И смысл союза венецианца с дженнейцем, и руки...

— Ты же проверял хроноскоп.

— Все равно, невнимательность непростительна. Что касается действительной или мнимой таинственности... Можно кое-что проверить.

— А знаешь, мне не хочется проверять.

— Но Брагинцев зайдет через несколько дней.

— Мне не хочется, чтобы он приходил.

— Кажется, мы опять нарушаем одну из своих основных заповедей,— тихо произнес Березкин.— Оскорбляем человека подозрением.

Теперь допустил промах я. Досадный промах, потому что уже не один год стараемся мы вывести в собственных душах родимые пятна прошлого.

— Да,— сказал я.— Еще ровным счетом ничего не известно. Все остается по-прежнему, и наши двери открыты для Брагинцева. Покажи, пожалуйста, Мыслителей. Белого и черного.

— Мыслителей — переспросил Березкин.— Это звучит неплохо!

Он переключил хроноскоп, и на экране возникли четкие силуэты двух человеческих фигур. Сплетенные руки людей держали земной шар, головы их были запрокинуты, а глаза устремлены к небу.

Қ небу, но не к богу. Теперь ни я, ни Березкин не сомневались в этом.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

в которой рассказывается о некоторых исторических изысканиях, сделанных по книгам, и приводятся доказательства тому, что в шестнадцатом веке в ряде европейских стран определенно существовал интерес к загадочной Черной Африке; в этой же главе объясняется странное поведение хроноскопа при анализе рукописной строки и говорится кое-что о Брагинцеве.

В первые дни после появления рук Брагинцева на экране — появления, столь неожиданного для нас,— мы с Березкиным чувствовали себя не наилучшим образом.

Мне трудно передать даже свои собственные ощущения, но если их искусственно упростить и обобщить, то можно сказать примерно следующее.

Главное, видимо, заключалось в том, что, признав в статуэтках Мыслителей, устремленных к небу, и понимая, что воплощен в них высокий замысел, мы с особо обостренной неприязнью сознавали, что тут же, рядом, находится нечто мелкое, а может быть, и корыстное... Было бы несправедливо связывать это ощущение мелкого и корыстного только с Брагинцевым, которого мы не могли и не хотели ни в чем подозревать. Но столь же несправедливо было бы отрицать, что толчком для невеселых раздумий послужил памятный нам контрольный сеанс хроноскопии.... Впрочем, под «мелким» я подразумеваю и собственные изъяны в сознании, в отношении к людям, а самокритика такого рода вовсе не доставляет удовольствия.

Добавьте к этому мысли о том, что мы зря приняли участие в кладоискательстве, что исследовали мы объекты, не достойные хроноскопии, и тем самым изменили провозглашенным ранее принципам.

Поймите, наконец, и чисто профессиональные сомнения: мы впервые, если не считать сугубо опытных сеансов, столкнулись при хроноскопии с живым человеком, причем с человеком, которого мы как будто уже неплохо знали.

Лишь постепенно, если так позволительно выразиться, выделились два направления, приведшие в определенный порядок наши мысли и чувства. Они сложно переплетались, эти «направления», в нашем сознании, но и спутать их было невозможно. Во-первых, нас все больше увлекала загадка Мыслителей. Во-вторых, мы верили в высокую

символику Мыслителей, и тем более почему-то унизительно было подозревать в нехорошем человека, живущего рядом.

Мы решили, что обязаны оправдать Брагинцева — оправдать нашими профессиональными методами, с помощью хроноскопа, который вдруг бросил на него тень.

К сожалению, ясность задачи еще не гарантирует ее быстрого выполнения.

Это тем более справедливо, что открытие второго Мыслителя поставило перед нами немало новых загадок. Религиозный мотив, предполагавшийся ранее, все упрощал; во всяком случае, не требуя специального объяснения, он избавлял нас от необходимости размышлять, как и почему мог возникнуть такой сюжет.

Иное дело — происхождение антирелигиозного по своей сути сюжета, в котором христианин объединился в порыве к небу с мусульманином или даже анимистом, причем объединился в то время, когда европейцы и африканцы не имели непосредственных контактов!

Тут было над чем поломать голову!

Но прежде чем «ломать голову», следовало просмотреть литературу. Этот наилегчайший путь я и избрал для начала.

Впрочем, чтобы представить себе историческую обстановку, достаточно было пролистать учебник.

Конец шестнадцатого столетия — конец эпохи Возрождения в Италии. Позади — жизнь и деятельность титанов, утверждавших высокие идеи гуманизма, прославлявших человека, титанов, мыслью и делом раздвинувших границы мира... Идеи гуманизма еще не угасли, еще есть люди, борющиеся за них, но уже развернула наступление церковь, поддержанная испанцами, захватившими почти всю страну. Уже давно созданы иезуитские трибуналы, давно преследуются передовые мыслители и пылают костры, на которых сжигают сторонников «жизнерадостного свободомыслия» (это выражение Энгельса)...

Кто же дерзнул в таких условиях бросить вызов инквизиторам, опиравшимся не только на духовную, но и на политическую власть? Кто оказался выше религиозных и расовых предрассудков?

Можно утверждать лишь одно: это был человек великой мысли и великого характера, человек, не знавший страха перед инквизицией.

Как видите, вывод мой не потребовал большого напряжения ума; он, как говорится, взят с поверхности, но другого пока не дано.

А случайно ли, что именно в Венеции возник столь неожиданно смелый сюжет?

Вот на этот вопрос я могу ответить с большей определенностью.

В конце шестнадцатого века на всей территории нынешней Италии независимость сохраняли лишь Папская область, герцогство Савойское и... Венеция. В политическом плане, стало быть, она иаходилась в несколько лучшем положении, чем все остальные города — как торговые, так и неторговые. Я не знаю еще, имеется ли тут прямая связь с историей, иас занимающей, ио, по тому времени, обстановка в Венеции была наиблагоприятнейшей.

Мне удалось обнаружить и еще одно, более конкретное, а может быть, и более замечательное совпадение.

В середине шестнадцатого столетия Джованни-Баттиста Рамузио — секретарь венецианского Совета Десяти, правившего городом,— выпустил в свет под своей редакцией книги одного и того же человека, имевшего, однако, три имени. Сначала этого человека звали Хасан ибн Мухаммед аль-Базаз аль-Фаси. Потом — Джованни Леони. И, наконец, еще позднее, Европа иазвала его Лев Африканский.

Это был человек удивительной судьбы. Он родился в Испании, но родители его из-за религиозных преследований вынуждены были бежать в Марокко. Он получил блестящее образование в Карауинском университете, что иаходится в городе Фес. Потом он совершил путешествие по странам арабского востока и по Судану, посетил города Дженне и Тимбукту... Затем судьба занесла его в Стамбул, и там его странствия были прерваны: он отправился морем в Тунис и попал в плен к христианским пиратам. Среди пиратов нашлись умные люди, которые поняли, что в руки к ннм попал человек выдающийся. Пираты не отправили его на невольничий рынок — они приподнесли его в... подарок папе римскому. Папа крестил Хасана ибн Мухаммеда аль-Базаза аль-Фаси и нарек его Джоваиии Леони.

Джованни Леони получил свободу и получил пенсию. На свободе, по поручению папы, он описал свои путеше-

ствия по Судану, рассказал о городах, которые посетил, о богатствах и обычаях суданцев.

Джованни Леони закончил свои дни в Северной Африке.

Вскоре после его смерти в Венеции появилась книга, на которой значилось его третье имя...

Почему в Венеции?

Я не знаю, каким образом секретная рукопись (а сведения о странах, с которыми можно было выгодно торговать, считались секретными, и папа вовсе не из праздного любопытства заказал книгу Льву Африканскому) попала из Рима в Венецию, где довольно долго лежала под замком.

Но что именно венецианцы приобрели один из ее экземпляров и потом опубликовали его, вполне объяснимо. Наряду с медью и солью, мечами и щитами караваны арабских купцов везли в Дженне, в Тимбукту и... венецианский бисер. Косвенно, через посредников, но Венеция все-таки была связана с Суданом, и купцов, конечно, интересовали сведения о тех землях, сведения, кстати, скрывавшиеся и арабскими купцами.

Всего, что я рассказал, недостаточно, разумеется, для конкретных заключений. И все-таки очевидно, что скульптурная группа была создана именно в Венеции не случайно. Творец Мыслителей не только жил интересами своего торгового и относительно независимого города — он еще имел у себя в доме книги Льва Африканского.

Березкина, по складу его характера, обычно мало волновали рассуждения, лишенные научной точности. Но мое сообщение он выслушал с неподдельным интересом, и я объясняю это не только общей нашей увлеченностью Мыслителями, но и продолжающимися неудачами с хроноскопией: повторные сеансы, относящиеся к Брагинцеву, вновь закончились курьезом.

— Я тебе сейчас все покажу,— сказал Березкин.— Но с хроноскопом по-прежнему творится что-то непонятное. Я опять вдоволь насмотрелся на Зальцмана.

Березкин уже говорил мне об этом, но последние три дня он провел как затворник, почти не выходя из института, и последних результатов его работы я не знал.

— Такое ощущение, что вот-вот все прояснится,— сказал Березкин.— Но... короче говоря, давай поколдуем вместе. Вдвоем у нас лучше получается.

Березкин начал с контрольного сеанса, имевшего столь неожиданно сложные последствия.

— Любопытно, что мы узнали руки Брагинцева лишь на экране,— сказал Березкин.— Вот тебе урок на будущее. Конечно, при хроноскопии неизбежны отклонения от образца, но все же случай поучительный. Итак, можешь посмотреть на экранизированные руки Брагинцева.

Березкин включил хроноскоп, и мы довольно долго смотрели на «экранизированные руки». Если вы помните, мы ставили себе целью оправдать Брагинцева в собственных глазах, но этот эпизод, как будто, исключал такую возможность, и я попросил Березкина продемонстрировать следующие кадры.

Теперь — Березкин уточнил и расширил задание — на экране появились не только руки, но и владелец рук, человек, не имеющий, впрочем, портретного сходства с Брагинцевым.

— Я не стал уточнять внешность,— сказал Березкин.— По-моему, это ни к чему. Пусть будет условный образ.

Я кивнул, наблюдая за событиями на экране. А там происходило то, о чем мне уже рассказывал Березкин: человек с руками Брагинцева смял и разорвал бумагу, а потом зеленые волны смыли его с экрана, и я увидел Зальцмана, вышагивающего с тетрадкой в руках...

— Вот так,— сказал Березкин.— И ничегошеньки не могу поделать.

Он выключил хроноскоп, и мы несколько минут сидели молча.

— А Черкешин? — спросил я.— Черкешин не появляется?

— Черкешин не появляется, и я придаю этому большое значение,— ответил Березкин.— Давай-ка пораскинем мозгами. По-моему, это единственная зацепка.

— Единственная зацепка,— машинально повторил я.— Послушай, а как сформулировано задание?

— На истолкование поведения и характера.

— И при анализе рукописной строки формулировка была такая же. Но там появлялся Черкешин, и порою прежде Зальцмана...

— Стой! — резко сказал Березкин.— Вот оно! Кажется, я все понял. Хроноскоп упорно показывает Зальцмана волнующимся и боящимся, что его выследят... Не

возник ли в «памяти» хроноскопа штамп для иллюстрации именно этого состояния?

— Минутку! Мы с тобой не волнуемся и никого не боимся...

— Все понял.

Березкин встал, схватил подвернувшуюся под руку линейку и разломал ее на несколько частей.

Хроноскоп получил задание, и мы увидели человека, ломающего линейку. Но Зальцман—Зальцман не появился, хотя Березкин настойчиво вновь и вновь повторял задание.

— Теперь ты,— сказал Березкин и кинул мне тетрадку.

Я разорвал и скомкал ее, и то же самое проделал безликий человек на экране. А Зальцман не появился.

— Прямо-таки гора с плеч,— вздохнул Березкин, опускаясь в кресло.— А Черкешин — штамп, иллюстрирующий жестокость и твердость, назови как хочешь. У Брагинцева эти черты характера отсутствуют, в чем нет никаких сомнений, а у Хачапуридзе они были выражены весьма основательно!

— Но почему они оба боялись? — тихо спросил я, полностью принимая версию Березкина.— О Хачапуридзе мы едва ли что-нибудь узнаем. Но Брагинцев...

— Ты хочешь сказать, что этот факт — не в его пользу?

Менее всего мне хотелось говорить что-либо подобное, и я только пожал плечами.

Березкин надолго умолк, а потом встал и решительно подошел к хроноскопу.

— Знаешь, что мне пришло в голову?.. Мы сами придумали историю с Брагинцевым. Хроноскоп явно ошибается, характеризуя руки Брагинцева как сильные и крепкие. Подумаешь, человек смял бумагу! Тоже мне, критерий! Этак и младенца за Геркулеса выдать можно.

— Проверяй,— сказал я.

Березкин сформулировал задание, и на экране хроноскопа появились руки, выпрямляющие вазу... Потом рядом с ними другие руки разорвали бумагу и скомкали ее.. Руки были очень похожи, но утверждать, что хроноскоп показывает одни и те же руки, я бы не решился. Впрочем, нельзя было забывать о десятилетиях, разделявших оба события, и я напомнил об этом Березкину.

— Последнее слово — хроноскопу,— сказал Березкин.— Пусть сравнит их и даст ответ.

И хроноскоп дал ответ тотчас, но не тот, на который мы надеялись в глубине души: он подтвердил, что выпрямляли вазу и рвали бумагу одни и те же руки.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,

в которой вернувшийся из Тбилиси Петя потчует нас рассказами о торговом доме Хачапуридзе, а также упоминает о помощнике историка Месхишвили, таинственно исчезнувшем несколько десятилетий тому назад, в этой же главе содержатся некоторые рассуждения о транссахарских путешествиях.

Несколько дней мы с Березкиным не подходили к хроноскопу и вообще старались ни о чем не думать. Вы, наверное, замечали, что всякие попытки о чем-либо не думать приводят, как правило, к обратному результату. Мы с Березкиным — не исключение, но нас спасала Африка, спасала история Белого и Черного Мыслителей. Новые материалы окончательно избавили бы и меня и Березкина от размышлений о Брагинцеве. Но материалы пока не предвиделись и, чтобы отвлечься, мы переключились на литературные изыскания. Я не назвал бы их беспредметными: ведь мы знали, что Белый Мыслитель совершил путешествие через Сахару, пережил самум, и дополнить его историю какими-то отдельными штрихами можно было по книгам, хотя это и не лучший вариант.

Я знакомился с описаниями путешествий через Сахару в средние века, когда мне поздно вечером позвонил Петя, очевидно, только что вернувшийся из Тбилиси.

— Хачапуридзе был убит в своем доме, и всех его наследников тоже, вероятно, перерезали или отравили,— услышал я в телефонную трубку.— Потом наступило молчание.— Здравствуйте, это Петя. Брагинцев неточно выразился, сказав, что неизвестна причина краха торгового дома Хачапуридзе. Просто всех убили. А вот почему?.. Этого даже Месхишвили не знает. Ведь всякие вельможи предпочитали получать деньги от купцов, а не убивать их...

— Очень рад, что вы не зря съездили,— сказал я.— А как же с кладом?

— Клада нет,— вздохнул Петя.— И до весны не будет. Вернее, до лета. Пора за дипломную работу садиться.

Брагинцев мне даже в Тбилиси письмо прислал. Да я и сам понимаю. И зачеты еще не все сданы.

Петя сообщил о дипломной работе и зачетах не без грусти в голосе, но потом снова оживился.

— Вся беда в том, что Месхишвили занимается гораздо более широкими историческими проблемами, чем судьба торгового дома. Это замечательный старичок — добрый, отзывчивый, весельчак к тому же. Но Хачапуридзе для него — деталь, частность, пример, иллюстрирующий какие-то там общие социально-экономические положения. Но еще не все потеряно, потому что у Месхишвили был ученик, специально изучавший архивы дома Хачапуридзе, какой-то Розенберг...

— Кто?..

— Я же говорю, какой-то Розенберг. Если мне удастся разыскать его...

— Что значит — разыскать?

— Месхишвили уже лет сорок о нем ничего не слышал...

— Та-та-та! Это, пожалуй, потруднее, чем найти клад,— сказал я, мысленно повторяя про себя фамилию Розенберг и вспоминая письмо Мамаду Диопа. Неужели простое совпадение?.. Впрочем, Розенберг — распространенная фамилия.

— Но есть и другой путь,— сказал Петя.

— Розенберг! — перебил я.— А что вы еще о нем знаете?

— Ничего. Месхишвили до сих пор жалеет, что он загадочно исчез. Говорит, что это был талантливейший ориенталист. Погиб, наверное, в гражданскую войну.

— Любопытно. А что за другой путь?

— Месхишвили сказал, что в Москве, в архиве Вахтанга Шестого, есть документы, относящиеся к торговому дому Хачапуридзе.

— Н-да. И все-таки вам лучше заняться дипломной работой, Петя,— сказал я.— Поверьте мне. И зачетами тоже.

— Придется,— вздохнул Петя.— Но архив Вахтанга я все-таки просмотрю. Там есть опись документов на русском языке, а отдельные странички кто-нибудь переведет...

Вторичное появление Розенберга на нашем горизонте не произвело впечатления на Березкина.

— Опять гадание на кофейной гуще,— сказал он.—

Давай не спеша заниматься Африкой, а на всяких Хачапуридзе или Розенбергах поставим крест...

— Я бы только обратил твое внимание на два момента. Во-первых, теперь нам ясно, что у Хачапуридзе имелись основания волноваться. И не зря он упрашивал сына поскорее вернуться — он хотел передать ему какие-то секретные сведения. Значит, хроноскоп сработал точно... Во-вторых, один из Розенбергов имеет все-таки некоторое отношение к Африке — он пытался похитить Белого Мыслителя в Касабланке...

— Согласен, что один из Розенбергов имеет отношение к Африке. Но не к шестнадцатому столетию,— упрямо сказал Березкин.— И хватит с нас путаницы. Не морочь ни себе, ни мне голову. Отправляйся-ка, хоть мысленно, в Сахару.

Мне далеко не сразу удалось переключиться на мысленное путешествие через Сахару, но размышления о последнем письме Мамаду Диопа, о Касабланке невольно вызвали у меня воспоминания и о других портовых городах Марокко, которые мне довелось посетить,— о Рабате, Сале, например.

Я думаю, что венецианские, или генуэзские, или марсельские купцы, торгуя в средние века с Марокко, пользовались главным образом ее средиземноморскими портами, но совсем не исключено, что заходили они и в атлантические — в Сале, в Рабат... Первый из них был основан еще карфагенскими мореплавателями, а второй, много позже, берберийскими военачальниками из династии Альмохадов. К тому времени, которое нас интересует, эти города уже были близнецами: их разделяла лишь неширокая река Бу-Регрег...

Вторично — уже в собственном воображении — поднялся я на башню Хасан, что царит над Сале и Рабатом. С ее верхней площадки открывается великолепный вид на развалины крепости Шелла, на долину реки, на оба города — они необыкновенно красивы сверху, особенно их белокаменные европейские кварталы с пальмами на тротуарах, возникшие уже в нашем веке... Впрочем, европейские кварталы мне не нужны. Я хочу увидеть Рабат и Сале такими, какими были они в конце шестнадцатого столетия, когда неведомый мне купец привез из Венеции в Марокко — все равно в какой ее порт — Белого Мыслителя.

Задача моя не так трудна, как может показаться: древний облик городов и страны можно восстановить по многочисленным еще в Марокко приметам старины.

Паруснику, подходившему к устью реки Бу-Регрег, прежде всего открывалась могучая крепость Қазба, возвышающаяся на крутом обрыве к океану. Стражники, не отходя от пушек, внимательно следили за приближающимся кораблем, и весть о его прибытии передавалась в порт... Все крупные приморские города Южной Европы имели в портах североафриканского побережья своих консулов, и, надо полагать, венецианский консул встретил корабль, идущий под флагом его родного города.

Я глубоко убежден, что среди купцов, находившихся на венецианском корабле, был и купец-араб — только он мог доставить Белого Мыслителя в Дженне. (Предположение же, что его могли перепродавать из рук в руки настолько неприятно мне, что я заранее отказываюсь от него).

Итак, купец сошел на берег. Ему не требовалось подниматься на верхнюю площадку башни Хасана для того, чтобы бросить с высоты птичьего полета взгляд на свою страну — он слишком хорошо знал ее.

Поэтому араб-купец равнодушно миновал невольничий рынок, что раскинулся у самой башни (к колоннам недостроенного дворца там приковывали черных и белых рабов), и исчез в узких пыльных, прокаленных солнцем улицах города, заполненных мелкими торговцами, солдатами, нищими, муллами, среди которых робко пробирались женщины в густых паранджах, сделанных из конского волоса...

Наш купец, конечно, посетил знакомых марокканских купцов, с которыми имел давние деловые связи, и они степенно беседовали — не торопясь выкладывать все, что знают,— сидя на дорогих коврах, сотканных руками маленьких девочек. (Я сам видел в крепости Қазба, утратившей ныне всякое военное значение, ковродельческий кооператив, в котором работают девочки, начиная с трехлетнего возраста: их маленькие гибкие пальчики тоньше и лучше, чем пальцы взрослых, наносят цветные узоры на белую канву ковра)... Только что прибывший купец — а мы допускаем, что конечной целью его был город Дженне,— разумеется, интересовался, не слышно ли чего-нибудь о подготовке караванов в Судан, в Дженне или Тим-

букту, и получил от компаньонов исчерпывающие сведения...

Транссахарские караваны, очевидно, комплектовались во внутренних районах страны, и купец наш отправился в Фес, столицу и крупнейший торговый и культурный центр Марокко. В шестнадцатом веке Фес уже вступал в период упадка, но это был еще огромный город с населением в несколько сот тысяч, с мощными крепостными стенами, с шумными многолюдными рынками, знаменитым старинным университетом — некогда в нем учился будущий Лев Африканский.

Заплатив пошлину, наш купец миновал городские ворота и вновь смешался с толпой,— думаю, он стремился поскорее укрыться в надежном доме, адрес которого ему дали в порту друзья.

Мне трудно определить степень опасности, которой подвергался наш купец, но, во всяком случае, она существовала: Коран категорически запрещает скульптуру, живопись с изображением человека или животных; всякие попытки изобразить себе подобных расцениваются как соперничество с Аллахом и сурово караются фанатиками-мусульманами.

Купец же — не забудем этого! — скрывал под своими широкими одеждами Белого Мыслителя. Кстати, много повидавшие на своем веку купцы отличались в те времена подчас более широкими и вольными взглядами на религию, чем прочие смертные.

Я не знаю, сколько времени провел купец в Фесе, долго ли бродил по его пыльным базарам, где продают верблюдов, овец, лошадей, оружие, керамику, одежду, выделанную кожу, медную посуду, ковры, где звенят медными колокольцами до черноты обожженные солнцем водоносы с козьими бурдюками, где знахари собирают вокруг себя толпы больных и увечных, где чинно сидят вдоль глиняных заборов писцы, а сказители-медлахи ткут узор замысловатых арабских сказок...

Я не знаю, долго ли любовался отвыкший от подобных зрелищ купец на торжественные выезды из дворца султана, окруженного ярко разодетой черной гвардией (в гвардию набирали из южных районов страны)... Думаю, что, не считая чисто коммерческой деятельности, больше всего времени отняли у нашего купца визиты к крупнейшим географам, астрономам, математикам, юри-

стам Карауинского университета. Ныне там преподаются только теология и мусульманское право — религия задушила науку. Но в те годы Карауинский университет еще группировал вокруг себя блестящую плеяду ученых и писателей. Человеку, внутренне отказавшемуся от вражды с инакомыслящими, человеку, хранившему Белого Мыслителя, устремленного к небу, было о чем поговорить с ними.

А потом — потом его призвал долг, и он выступил из Феса или Маракеша с караваном, и пошел в юго-восточном направлении. Впрочем, направление караванных троп зависело от расположения колодцев, и оно отнюдь не было прямолинейным.

Первые дни показались путникам относительно легкими — еще все зеленело вокруг, часто попадались источники... Но чем дальше, тем реже встречались оазисы и колодцы. Верблюды везли теперь не только тюки с товарами, но и кожаные бурдюки с водой, обшитые грубой тканью, чтобы уберечь их от ветра и песка.

Неделю за неделей отмеряли версты верблюды, и отмеряли версты пешие путники — лишь очень богатый человек мог позволить себе ехать на верблюде, когда так ценны вода и пища.

В оазисе Текказа, где некогда добывалась каменная соль, которую в Судане выменивали на золото и рабов, караван встал на длительный отдых — предстоял бросок через самую страшную часть пустыни.

Десять ночей шел караван — днем передвигаться в тех местах почти невозможно,— и пришел к оазису Тасалара.

Вновь отдых, и снова — в путь.

Но прежде чем идти дальше, караванщики приняли меры предосторожности. Они наняли за несколько десятков золотых миткалей такшифа — гонца из племени массуфа,— чтобы он отправился в селения, лежащие уже за Сахарой в саванне, и повел навстречу каравану верблюдов с водой.

Ни зной, ни самумы, ни дьяволы, якобы населяющие пустыню, не смогли помешать каравану,— а вместе с ним и Белому Мыслителю — выйти на Нигерийскую равнину, в саванну, показавшуюся путникам раем после песков Сахары.

Недели через две после того как я разузнал все, о чем коротко рассказал в этой главе, пришло письмо от Ма-

маду Диопа. Он писал, что получил ответ от Мохаммеда аль-Фаси (аль-Фаси — распространенная «благородная» фамилия в Марокко и некоторых других странах). Историк из Рабата сообщил ему, что считает недолгим и нетрудным делом выяснить, кто из крупных арабских ученых совершал в конце шестнадцатого века путешествие в Дженне.

«Их было сравнительно немного,— писал нам Мамаду Диоп,— и аль-Фаси обещал просмотреть их книги и рукописи».

Кроме того, Мамаду Диоп поставил нас в известность, что и сам он намерен в ближайшее время вылететь в Марокко.

Итак, нам вновь предстояло ждать. Я, правда, изложил в письме к Диопу наше мнение о характере скульптурной группы, и попросил его учесть, что речь идет о людях действительно выдающихся, но все эти мелочи не заполнили бы нашего времени, если бы не философ Петя.

Он объявился в самом начале марта, и меня поразил его огорченный и расстроенный вид.

— Зачеты провалили? — спросил я.

— Хуже,— сказал Петя.— Из архива Вахтанга Шестого похищена часть документов, относящихся к торговому дому Хачапуридзе...

— Когда похищена? — растерянно спросил Березкин.

— Давно. В семнадцатом году. Сохранился акт, и в нем значится, что документы пропали после того, как были выданы для научной работы историку Розенбергу. Отмечено так же, что Розенберг иногда приводил с собой помощника, фамилия которого осталась неизвестной, к сожалению.

— Вы неистощимый кладезь новостей, Петя,— только и сказал я.

— Не хочу таких новостей! — возразил Петя.— Помните склеротического старичка, которого мы встретили в тисо-самшитовой роще? Он потом еще приходил к нам в лагерь.

Мы, конечно, помнили о нем.

— Наверное, не соврал он. Наверное, клад уже похищен,— и Петя загрустил.

Но наш философ был воспитан в оптимистических традициях.

— А может быть, злоумышленник только шел раньше

меня тем же путем, и клад до сих пор лежит на своем месте!

— И ждет вас,— мрачно сказал Березкин.

— И ждет меня,— откликнулся Петя.— Унывать никогда не надо. Находчивость и еще раз находчивость! Вот я, например, не готовился к зачету, а сдал его. Спросите, как сумел? Находчивость выручила.. Локтев — славный дядька, но есть у него «пунктик»: любит он, когда у него значение иностранных слов спрашивают... Повыписывал я из книжек эти самые слова, сел на консультации за первый стол, прямо перед Локтевым, и давай его по бумажке гонять... Через час он моим лучшим другом стал: «Вижу, говорит, что основательно ты подготовился». На зачете он почти и не спрашивал меня! У нас с Березкиным не было уверенности, что подобные студенческие штучки помогут Пете найти клад. Но хорошо уже и то, что Петино настроение после исповеди исправилось.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,

в которой мы предпринимаем кое-что, прояснившее попытку окончательно распутать историю с так называемым хостинским кладом, и с этой же целью беремся за хроноскопию документов из архива грузинского царя Вахтанга Шестого.

Я давненько не видел Березкина в столь возбужденном состоянии.

— Знаешь, я все-таки хочу довести эту нехорошую историю до конца,— сказал мне Березкин.— Ей-богу, теперь я уже не отступлюсь. Не люблю, когда меня считают дураком и когда мне морочат голову — тоже не люблю. Видишь, как откровенно я признаюсь тебе в моих слабостях!

Категоричность Березкина немного удивила меня, и я сказал ему об этом.

— Какая там категоричность! Сейчас ты перестанешь сомневаться.

Березкин набрал номер справочной и спросил телефон дирекции Оружейной палаты. Тотчас, не кладя трубку, он позвонил в дирекцию, представился и спросил, не может ли он получить справку о серебряной вазе, которая значится под индексом МС-316/98.

— Вы недавно брали ее для хроноскопии? — осведомился женский голос.— В таком случае, нет ничего проще. Эта ваза из Хостинского клада...

— Благодарю вас,— сказал Березкин.— Пока это все, что нас интересует.

Березкин повесил трубку.

— Итак, ты по-прежнему сомневаешься?

Не отвечая, я позвонил Пете и сказал ему, что мы хотели бы подвергнуть хроноскопии документы, относящиеся к торговому дому Хачапуридзе. Кстати, если Петя захватит составленный им план Хостинской крепости, то план не помешает нам.

— Видимо, это одно из редчайших совпадений,— улыбнулся Березкин,— но фантазер Петя оказался-таки прав, что план на амфоре имеет отношение к Хостинской крепости. Толчок его фантазии дал еще в Москве Брагинцев, но само по себе совпадение забавно. Мы, скептики, никогда не осмелились бы на столь безапелляционное утверждение.

Петя приехал быстро, но с одним планом: вынести документы из архива ему не разрешили.

— Отправляйся ты,— предложил мне Березкин.— Расскажи им про хроноскоп. Иногда помогает.

Мне не пришлось рассказывать сотрудникам архива о хроноскопе — они знали о его существовании, и директор, ограничившись моей распиской, разрешил взять на два дня нужные нам документы.

К тому времени, когда я вернулся в институт, Березкин успел забраковать план крепости, составленный Петей. Я уже упоминал, что от Хостинской крепости сохранились, в сущности, рожки да ножки, и Петя с планом перемудрил — выдал желаемое за действительное. Но Березкин вновь удивил меня: он рассуждал о плане с такой уверенностью, как будто подлинный чертеж его лежал тут же, в ящике письменного стола.

Я не стал при Пете выяснять, что дало Березкину право на категоричность суждений, и передал ему архивные документы.

Петя, который уже хорошо ориентировался в листах, заполненных непонятными нам значками (шрифт мхедрули!), тотчас раскрыл «дело» в том месте, откуда были похищены бумаги.

— Вырезаны бритвой,— сказал Березкин после корот-

кого осмотра.— Но какая твердая и опытная рука — ни одного пореза на следующем листе!

Хроноскоп лишь подтвердил заключение Березкина, а мы уже догадывались, чья это рука, и получили тому новое доказательство. Березкин подверг общей хроноскопии листы, примыкавшие к вырезанному, и хроноскоп обнаружил на них следы рук — все тех же самых рук...

— Будет с нас,— сказал Березкин и отключил хроноскоп.

— Почему? — удивился Петя.

— А! Займемся чем-нибудь другим.

— В «деле» есть такой же план, как на вазах, и пчела тоже есть,— сказал Петя.

— Дойдем и до плана, и до пчелы. А вот этот почерк мне знаком. Посмотрим, что говорится о документе в описи...

— Личное письмо Давида Хачапуридзе,— быстро сказал Петя.— Того, которого убили.

— Охотно верю,— кивнул Березкин.

Он дал задание хроноскопу, и хроноскоп подтвердил тождество осредненной рукописной строки с почерком Давида Хачапуридзе.

— Так, еще два кончика сошлись,— удовлетворенно сказал Березкин.— А теперь показывайте план и пресловутую «пчелу».

Петя нашел нужный лист, а Березкин, небрежно бросив взгляд на него, тотчас отправился к хроноскопу.

— Ставишь на истолкование? — спросил я.

— Никакого истолкования уже не требуется,— ответил Березкин.— Достаточно общей хроноскопии.

Я по-прежнему не совсем понимал Березкина, но решил все расспросы отложить до вечера. Да и хроноскоп требовал внимания: на экране сразу же появился человек, аккуратно обводящий тонко очиненным карандашом сначала план, потом «пчелу»...

Петя тихо застонал, наблюдая молчаливую сцену, а Березкин вел себя так, словно ему заранее все было известно.

— Ничего не поделаешь,— сказал Березкин Пете.— Я тоже — за оптимизм. Но в данном случае...

— Что — в данном случае?

— Смотрите сами.

— А я не теряю надежды,— прошептал Петя.

Березкин выключил хроноскоп.

— Можио сегодия же вериуть документы в архив,— сказал ои.— Больше мы ничего из них ие выудим. Судя по описи, похищен документ, содержавший какие-то зашифрованные сведения о кладе. Но шифровка безвозвратно утеряна для иас.

Не согласившись с Березкииым, я еще раз просмотрел опись документов, и обратнл внимание на несколько денежных расписок, оставленных Хачапуридзе, как сказано в описи, черкесами. Найдя расписки, я обнаружил в нх нижией части, под строкамн, написанными обычиым грузииским шрифтом, грубо выведеииые закорючки и отпечатки пальцев.

— Хроноскопия ие кончена,— сказал я Березкину.— По-моему, расписки даны людьми, отнюдь не поднаторевшими в скорописи.

— Это же и так видно!

— Не спорь и сформулируй задание.

Березкин выполиил мою просьбу, н на экране появилась огромная рука, в пальцах которой еле держалось — чуть подрагивало — гусиное перо (это уже мое уточнение, ибо на экране обозначился лишь тонкий заостренный предмет).

— Землепашец или воин,— сказал Березкин.— Удовлетворен?

— Нет. Мне иужна хроноскопия отпечатков пальцев.

— Не понимаю, куда ты клоиишь.

— Все очень просто. К документам прикладывали обычно большой палец правой руки, а на большом пальце воина тетива на всю жизнь оставляла мозоль...

— Праздное любопытство неизменио приводит меня в восторг,— сказал Березкин, но задание сформулировал так, как я его попросил.

Хроноскоп подтвердил, что отпечатки пальцев под денежными документами из «дела» Хачапуридзе оставили люди с твердыми загрубевшими мозолями на больших пальцах.

— Согласен, это расписки воинов. Но какое они имеют отношение к кладу? — спросил Березкин.

— Вероятией всего — никакого. Но не тебя же убеждать, что при хроноскопии иет мелочей. А если мы сегодня же вернем «дело» в архив, то просить его второй раз будет просто неудобно.

— И все? — жалобно спросил Петя.— И больше ничего ие будем делать?

— Пока — ничего,— сказал Березкин.— А у вас есть конкретные предложения?

— Нет предложений...

— Тогда — все на сегодня. Но это ие значит, что нам не потребуется ваша помощь.

Петя, ободрениый последиими словами Березкина, откланялся, и мы остались одни.

— Жду разъяснений,— сказал я Березкину.

— Видишь ли, иеожиданно все свелось к пустяку. Я давно заметил, что при различных масштабах плана на всех трех вазах очень точно выдерживаются углы и пропорции. Последиее относится и к «пчеле», которая лишь определеииым образом вписывается в план крепости.

Березкин достал из письменного стола иесколько расчерченных белых листов и показал их мне.

— Можешь сам убедиться,— сказал он.

«Пчела» действительно целиком умещалась в пределах плана лишь в одном строго определеином положеиии, причем точка пересечеиия перечеркивающей линии с «талией» пчелы приходилась на иебольшое свободное пространство между четырьмя плотио составлениыми кружочками.

— Если мы, точно соблюдая углы и пропорции, впишем воображаемую восьмерку в территорию Хостинской крепости, то вот тут,— Березкин ткнул карандашом в ту точку, в которой скрещивались виткн восьмерки,— найдем клад. Точнее, найдем место, где раньше хранились сокровища.

— Ты абсолютно уверен, что оии изъяты?

— Абсолютно. Смешно, ио я потому и разгадал загадку клада, что очень обозлился. Неужели, думаю, я глупее тех, двоих?!

— Математика тебе помогла,— сказал я.

— И математика помогла,— согласился Березкин.— И еще раз поможет, когда мы снимем плаи крепости и впишем в иего огромную нелетающую «пчелу».

Я удивленно взгляиул иа Березкииа.

— Что ты так смотришь?.. Через неделю хроноскоп будет перенесен иа вертолет, и мы отправимся в Хосту. Клада нет, но осталась его история. А я тебе уже говорил, что хочу прочитать ее до конца. Есть возражения?

Я улыбнулся в ответ.

— То-то! — сказал Березкин.— Человеческий опыт — вот подлинное сокровище. Даже если он негативный.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ,

в которой Березкин заканчивает монтаж хроноскопа на вертолете и мы отправляемся из Москвы на Черноморское побережье Кавказа; основная часть главы посвящена рассказу о розысках бывшего клада, а в конце главы повествуется о тени, взволновавшей нас.

Вы, наверное помните, что когда впервые возник разговор о хостинском кладе, философу Пете пришлось преодолевать сопротивление не только мое и Березкина, но еще и наших друзей. С Яшей и Евой мы виделись почти каждое воскресенье, вместе бродили на лыжах по заснеженным лесам Подмосковья, и они знали все подробности, касающиеся розысков клада.

Должен признаться, что логико-математические выкладки Березкина, неопровержимо доказывающие существование хостинского клада, произвели на всех нас значительно большее впечатление, чем можно заключить по предыдущей главе.

Я, например, настолько разволновался, что купил нам с женой билеты в бассейн «Москва» на вечерний сеанс восьмого марта, не сообразив вовремя, что этот вечер положено проводить несколько иначе. Жена сначала расхохоталась, потом рассердилась, но, в конечном итоге, мы великолепно поплавали в почти пустом бассейне,— была ночь, холод, пар, скрывающий берега, и шел крупный лохматый снег, который мы ловили губами!

Яша и Ева, особенно Яша, выслушав меня, решительно взяли сторону Брагинцева.

— Нет,— сказал Яша.— Понимаешь, не может быть, чтоб такой человек, как Брагинцев, опустился до мелких хищений.

— Ничего себе — мелкие хищения! Целый клад...

— Не в этом смысле,— на лице Яши появилось растерянное выражение.— Ну, что такое клад?.. Ну, нашел его, а потом? Не сидеть же на нем, как собака на сене. Куда-то его отдать надо, по-моему... В музей... Да, в музей, например.

— Кое-что просочилось в музеи. Та же серебряная ваза.

— Я понимаю,— сказал Яша.— Нет, просто надо с бо́льшим доверием отнестись к самому Брагинцеву. Поговорите с ним откровенно, на худой конец.

— Конечно,— сказала Ева.— Это гораздо проще, чем лететь в Хосту. Сначала нужно выяснить все, что можно, в Москве, и тогда уж лететь.

Я тоже — за железную логику. Глядя, как мой сын, каким-то чудом не растеряв лыжи и палки, катится с крутой горы (разговор происходил в овраге у станции Раздоры), я пытался сообразить, есть ли реальный способ воздействовать на Березкина.

— Надо колени сгибать, когда с горы едешь,— сказал я сыну после того как он выбрался из сугроба.— Кто ж на прямых ногах с гор катается?

Сына я еще мог поучать, а вот Березкина...

Мы давно уже договорились с ним не препятствовать тому направлению поисков, которого по тем или иным причинам упорно придерживался один из нас. Иначе говоря, мы исповедовали своеобразный принцип независимости или свободы в методах хроноскопии, хотя крайне редко апеллировали к нему. В данном же случае я знал, что Березкину необходимо обязательно самому, без всяких подсказок, до конца распутать историю с Хостинским кладом, что какой-либо иной способ раскрытия ее может отрицательно сказаться даже на будущей нашей работе (тут уже вступали в силу трудно объяснимые законы психологии творчества).

Для меня «проблема» личных взаимоотношений с Березкиным отчасти усложнялась тем, что предстояло уговорить его отложить демонтаж хроноскопа дня на два, на три, и повторно просмотреть все кадры, относящиеся к Белому Мыслителю. Кадров было не очень много, как вы, наверное, помните, и на сколько-нибудь крупное переосмысление их я не рассчитывал. Но, продолжая свои историко-литературные изыскания, я пришел к выводу, что мы осмыслили не все детали, и некоторые кадры могут дать нам дополнительный материал. Для меня главной все-таки оставалась история Белого Мыслителя.

Против последнего тезиса Березкин ничего не возразил, да ничего и не мог возразить, но принялся нудно

ворчать, уверяя, что мы лишь зря потратим время. Однако он согласился отложить демонтаж хроноскопа на два дня.

— Но не больше, чем на два дня,— не удержался он.

Березкин откровенно скучал, «прокручивая» для меня старые кадры. Он опять разворчался, когда я в третий или четвертый раз заставил его вернуться к кадрам, запечатлевшим удары лошадиных копыт по телу Белого Мыслителя.

— Я должен хотя бы понять, к чему ты стремишься,— сказал Березкин.— Прости, но что тебе до лошадиных копыт?

— Если хочешь знать, чем я занимаюсь, слушай. Я с искренним удовольствием предаюсь анализу, в котором беспомощна математика, но зато сильна география.

— А если точнее?

— А точнее, то, не поручась за год или даже столетие, я могу утверждать, что Белый Мыслитель попал под лошадиные копыта во второй половине мая.

— Не будешь ли ты любезен назвать число?

— Я не шучу, между прочим. И я преувеличил, сказав, что не могу поручиться за столетие. Дата известна мне с точностью до двух-трех лет. Итак, май месяц начала девяностых годов шестнадцатого века.

— Это меня устраивает,— сказал Березкин.— А долго ли нужно тебя просить, чтобы ты все толком разъяснил?

— Совсем не нужно просить. Город Дженне находится в зоне затопления реки Бани и в сезон дождей превращается в крохотный островок, сообщение с которым возможно лишь по воде... В сезон дождей и совершались почти все перевозки товаров между Дженне и Тимбукту, и в сезон дождей прибыл в Дженне наш араб с Белым Мыслителем, завершив путешествие водным путем по Нигеру и Бани... Если бы крушение произошло на реке и Белый Мыслитель утонул, конские копыта не смогли бы отпечататься на нем. Но если бы конная лава прошлась по нему в разгар сухого сезона, когда земля в саванне каменеет, деформации на теле Мыслителя оказались бы значительно сильнее. В том-то и дело, что события пришлись на начало сезона дождей, когда земля уже размокла, а реки еще не разлились.

— У меня к тебе просьба,— сказал Березкин.— Когда будешь писать отчет, опусти, пожалуйста, мои во-

просы. И пойми, что забочусь я исключительно о твоем престиже: ты же знаешь, что во всех средней руки литературных произведениях, имеющих отношение к науке, присутствует глупый мальчик, которому умный дядя объясняет, для чего служат столы и стулья... Критика справедливо обвинит тебя в шаблоне, а я не смогу выступить в твою защиту.

— Видишь ли, поскольку роль мальчика мы с тобой исполняем попеременно...

— Хорошо, мое дело — предупредить. Но почему — начало сезона дождей, а не конец, когда вода уже спала, а земля не высохла?

— Я объясню тебе. В конце шестнадцатого столетия и Дженне и Тимбукту входили во владения государства Сонгаи, или Гао. Как и в предыдущих государствах, возникавших на территории Западного Судана,— в Гане, Мали, например,— в Сонгаи царил почти идеальный порядок. Страна не знала открытого разбоя, открытых грабежей, если не считать таковыми междоусобицы. Страна не знала воровства. И в этой стране конные отряды не затаптывали просто так мирных людей в землю — все путешественники подчеркивают безопасность суданских дорог.

— Но затоптали же...

— Да. Но человек, несший Белого Мыслителя и прикрывший его своим телом, погиб под копытами коней, на которых мчались испанцы и марокканцы...

— Война? — коротко спросил Березкин.

— Вот именно. И закончилась она разгромом Сонгаи. Дженне, Тимбукту были разграблены и никогда потом уже не достигали прежнего процветания.

— Я готов принять твою точку зрения. Но почему все-таки начало сезона дождей?

— Да по той простой причине, что крупные военные операции совершались в сухое время года. Чтобы захватить Дженне, нужно было дождаться, пока исчезнет вода — основное препятствие на пути к городу. Потом переходы, потом осада, штурм... Во время штурма или сразу после него и погиб человек, которому прислали из Венеции Белого Мыслителя.

— Странно, что ты не называешь его имени,— как бы по инерции съязвил Березкин.— Ты говоришь, он прикрыл Мыслителя своим телом?

— Я не утверждаю, что он сделал это умышленио. Могло получнться случайно. Скачущая толпа сшибла его с иог и, падая, он прикрыл Мыслителя. И он больше не поднялся, потому что иначе унес бы Мыслителя. Воды реки Бани, вновь подступившие к разграбленному городу, иадолго скрыли Мыслителя от человеческих глаз, погреблн его в толще ила, и только поэтому он не стал добычей солдатни. А догадаться, что в момент падения Мыслнтеля прикрыл своим телом человек, его несший, можио было...

— Не читая книг Дэвидсона и Сюре Каналя, у которых ты черпаешь свою премудрость,— быстро сказал Березкин.— Но — сдаюсь. Профессионально мы тут сплоховали. Попробуем исправиться.

Мы «исправились». Хроиоскоп, получивший более точное задание, подтвердил, что голова и поднятая рука Мыслителя были прнкрыты чем-то упругим и мягким. И мы — увы — знали, чем.

— Насколько я понимаю,— сказал Березкии,— ты считаешь, что араб, доставивший Мыслителя в Дженне, и человек, попавший вместе с ним под копыта лошадей,— разные лица?

— Да, мы же сразу решили, что араб вез Мыслителя какому-то дженнейскому ученому. Первый наш вариант по-прежнему кажется мне наиболее вероятным, хотя он и не доказан окончательно.

— Если не ошнбаюсь, это первая смерть, которую мы более или менее определенно констатируем,— грустно сказал Березкин.

— Хачапуридзе...

— А — Хачапуридзе! — Березкин махнул рукой.— Я говорю о Мыслителях. Что-то ждет нас?

Я молчал, да Березкин и не нуждался в моем ответе.

— А теперь я приступаю к демонтажу хроноскопа,— сказал он.— Можешь не произносить возвышенных слов. Мыслителн — главное, но хостинскую историю я распутаю.

Наступил день — он пришелся на двадцатое марта,— когда Березкин заявил мне, что вертолет с хроноскопом готов к вылету в Адлер.

Березкин при мне позвонил Пете и попросил его прнехать в инстнтут.

Между ними произошел следующнй диалог.

— Петя,— сказал Березкин,— если хотите, то можете завтра же вылететь с нами в Адлер.

— В Адлер?

— Да. А оттуда — в Хосту.

— Вы уверены, что мы найдем клад?

— Я уверен, что мы не найдем его, и вы должны свыкнуться с этой мыслью. Но мне нужно проверить свою рабочую гипотезу, и, если она правильна, мы найдем то место, где был спрятан клад.

— Я полечу,— сказал Петя, чуть побледнев, отчего веснушки на его лице стали заметнее.

— Отлично, но вам придется выполнить одно непременное условие. Вы никому не скажете, что полетите с нами. Поверьте, мы вовсе не увлекаемся засекречиванием. Просто у нас с Вербининым есть правило, от которого мы стараемся не отступать: до окончания расследования — никаких лишних разговоров. Как только проверим мою гипотезу или доведем расследование до логического конца, обет молчания будет с вас снят, и вы получите полное право рассказывать о нашем полете где угодно и кому угодно. Вероятно, вас будут с интересом слушать до тех пор,— улыбнулся Березкин,— пока Вербинин не опубликует свои записки.

— Я принимаю все ваши условия! — торжественно сказал Петя.

— Тем лучше. Вы натолкнули нас на историю с Хостинским кладом, и мы с Вербининым посчитали нечестным завершать расследование без вашего участия. Значит, до завтра!

Я специально не интересовался, как Петя получил отпуск в университете, да еще в столь короткий срок. Скорее всего, он, как говорят люди помоложе нас с Березкиным, «смылся», никого не предупредив: дипломная работа освобождала его от ежедневного посещения университета, и он воспользовался благоприятными обстоятельствами.

Я уже собирался выходить из дому, чтобы ехать в аэропорт, когда раздался звонок и в квартиру вошел почтальон.

«Международная телеграмма»,— прочитал я на бланке. Вот ее текст:

«Белый Мыслитель принадлежал Джеине поэту историку астроному Умару Тоголо составителю астрономиче-

ских тригонометрических таблиц убитому испанцами 1593. Подробности письмом.

Мамаду Диоп».

На более быстрое и точное подтверждение моих догадок я не смел и рассчитывать.

— Поздравляю,— сказал Березкин,— быстро пробежав глазами телеграмму.— Выводы — во время полета.

Летели мы, естественно, значительно медленнее, чем на ИЛ-18, успели обо всем поговорить, и горы Кавказа увидели не через два с половиной часа, а через двое суток, ибо еще ночевали в пути. На вершинах гор лежал снег, а склоны их были бурыми, потому что листья на деревьях еще не распустились; море, окаймленное светлыми пляжами, голубело; и голубели — но гораздо нежнее — поля, засаженные кочанной капустой, которая растет на побережье круглый год.

Когда мы вылезли из вертолета, шел мелкий теплый дождь, пахло цветами и теплой сырой землей. В ресторане к мясным блюдам нам подали гарнир — траву кинзи и редиску, но не красно-фиолетовые корнеплоды, а нежно-зеленую ботву, которая имела почти тот же вкус. Потом мы прошлись по городу. Было странно видеть его пустые пляжи, пустые улицы. В винных ларьках скучали продавцы. Эвкалипты сбрасывали старую кору. На пальмах зрели оранжевые гроздья плодов.

А на следующий день, утром, вертолет, на борту которого находился и директор заповедника, уже повис над бывшей Хостинской крепостью.

Сверху отчетливей проступал общий план крепости, но очертить его по остаткам стен нам все-таки не удалось.

Тогда Березкин сделал необходимые замеры, произвел несложные для него математические расчеты, и буквально на местности, отмечая деревья или скалы, очертил прежние границы замка.

— Так,— сказал Березкин удовлетворительно.— Половина дела сделана.

— Уже? — изумился ничего не понимавший Петя.

— Уже,— машинально повторил Березкин, и занялся новыми расчетами.

Потом вертолет вновь взмыл вверх, и Березкин все время находился в кабине пилота.

Вертолет застыл над скалами, густо заросшими лавровишней, и медленно опустился.

— Здесь, сказал Березкин.— Здесь или нигде.

Я подметил в глазах Пети-кладоискателя почти суеверный ужас: он смотрел на Березкина, как на колдуна или мага-волшебника.

— Откуда вы знаете? — прошептал Петя.

— Потом, потом,— сказал Березкин.— «Здесь»,— еще не значит, что под первым же камнем. Если бы тайник не был вновь замаскирован, то старичок давно бы раскопал его.

А старичок с красноватыми склеротическими глазами оказался легок на помине. Он вдруг выскочил, тяжело дыша, из-за зеленоватых стволов тиса и остановился в нерешительности в нескольких шагах от вертолета.

— А! Тебя помню,— вскричал старичок и ткнул пальцем в сторону Пети.— Других не помню, а тебя запомнил. Брильянтов захотелось? Золотишка?.. Туда же... За теми двумя! Вон сколько понаехало!

— Вы можете остаться,— спокойно сказал ему Березкин,— но при условии, что не будете мешать нашей работе. Именно работе, потому что мы вовсе не собираемся искать клад.

Старичок — на нем был потрепанный брезентовый плащ до земли,— не отвечая, сел на камень и уперся измазанными глиной башмаками в тонкий ствол молоденького бука.

Березкин сформулировал задание — хроноскопу предстояло ответить, где завалы естественные, а где камни набросаны руками человека,— и медленно пошел сквозь заросли лавровишни с «электронным глазом» в руках. Я сидел перед экраном, а через окно видел Березкина. Он продвигался осторожно, боясь поскользнуться на разбухшей от постоянных зимних дождей глине, непрочно державшейся на скалах; Петя шел рядом с ним, чуть пониже, как бы страхуя Березкина с его сверхчувствительным прибором, и чем-то они напоминали мне саперов с миноискателем.

А на экране медленно оползали известковые каменные глыбы,— очень медленно, хотя хроноскоп ускорял темп естественного сползания в несколько тысяч раз.

Так продолжалось пять минут, десять, пятнадцать...

Внезапно картина резко изменилась: камни на экране рухнули, а потом быстро замелькали в воздухе и, падая, тяжело ударялись друг о друга...

— Стоп! — крикнул я.

Березкин сменил меня у экрана и повторил кадры.

— Все,— сказал он, появляясь у трапа.— Теперь придется поработать руками.

Снова принялся моросить мелкий дождь, но мы сбросили с себя все лишние вещи.

— Петя! — с шутливой торжественностью сказал Березкин.— Предоставляю вам право отбросить первый камень!

По-моему, Петя находился в состоянии полной прострации или, выражаясь менее деликатно, был близок к невменяемости. Он послушно отбросил первый камень и стал ждать дальнейших распоряжений.

— За работу, за работу,— сказал Березкин уже без всякой торжественности.

Чем дальше продвигалась работа, тем ближе подходил к нам старичок с красноватыми глазами; раза три он доставал из внутреннего кармана бутылочку и прихлебывал из нее. Когда на расчищенном участке обнаружилось темное пятно металлической двери, старичок охнул, сбросил на землю брезентовик и присоединился к нам.

За полчаса мы удалили искусственно наваленные обломки скал и мелкозем, перед нами оказалась массивная кованая дверь, ведущая, очевидно, в подземелье. Засовы уже были кем-то спилены — теми, наверное, по следам кого мы шли,— и с помощью двух рычагов нам удалось открыть дверь.

— Будем все-таки соблюдать осторожность,— сказал Березкин.— Я думаю, что наши предшественники уже ликвидировали всякие там ловушки и прочие прелести, но осторожность никогда не помешает.

Сильный свет фонарей озарил подземную галерею, выложенную такими же крупными плитами известняка, как и стены самой Хостинской крепости. В галерее было сухо и чисто, словно перед тем, как закрыть, ее подмели.

Старичок — разволновавшийся, с красными пятнами на щеках — попытался проникнуть в галерею первым, но Березкин преградил ему дорогу.

— Я уже просил вас не мешать,— сказал он.— Пока мы не закончим исследований, никто не войдет в подземелье. Видите, и директор заповедника, и наши товарищи — все терпеливо ждут.

Вопреки предположению Березкина, в подземелье не оказалось никаких ловушек. Мы обнаружили еще одну дверь со спиленными засовами и открыли ее. Следующий коридор вывел нас в большую комнату со сводчатым потолком, в которой, судя по всему, и хранились сокровища.

Тщательно — слишком тщательно для людей, уверенных, что они ничего не найдут,— обшаривали мы фонарями комнату... Прогнившие лоскуты кожаных мешков, разбитые деревянные сундуки — вот к чему свелись наши находки.

Выходя из подземелья, мы словно наткнулись на пылающие жгучим любопытством глаза Пети, старичка, пилотов, директора...

— Пусто,— сказал Березкин, и, наклонив свою тяжелую голову, пошел к вертолету.

— Только лоскуты от мешков и сломанные сундуки,— уточнил я и тоже прошел к вертолету.— Да вы еще все сами увидите!

Березкин выбивал ногтями по капоту хроноскопа негромкую дробь.

— С чего начнем? — спросил он и, не дожидаясь ответа, сказал: — Просто так, для самого себя, хочу посмотреть руки. Понимаешь?

Сформулировав задание, Березкин вернулся в подземелье с «электронным глазом», а я остался у экрана. Через несколько минут на экране появились руки, принадлежавшие смутно различимой человеческой фигуре; руки держали узкий длинный предмет, похожий на напильник; потом точными сильными движениями — профессиональными, я бы сказал, движениями,— руки принялись перепиливать засовы...

Я не рискну утверждать, что узнал руки, да и нельзя было требовать высокой точности от хроноскопа — ведь следы самих рук не остались на засовах.

Но вскоре картина изменилась. Березкин, очевидно, прошел дальше и приступил к хроноскопии кожаных лоскутов.

Теперь я узнал руки — те самые руки, что выпрямляли

вазу, комкали бумагу: они разрывали прогнившую кожу мешков. А потом поблизости от них появились другие руки — круглые и мягкие, и тоже стали рвать мешки, хотя им это было явно не под силу.

Экран погас. Широкая фигура Березкина заслонила светлый дверной проем.

Посмотрев кадры, Березкин лишь удовлетворенно кивнул.

— Переходим к общей хроноскопии,— сказал он мне, и вновь исчез.

В дверях на секунду появилась любопытствующая физиономия Пети, но тотчас скрылась — Пете было поручено охранять вход в подземелье, и он подвижнически выполнял возложенные на него обязанности.

Хроноскопия стен долгое время не давала ничего интересного, глаза мои начали уставать, как вдруг на экране возникла темная вытянутая тень. Еще не успев как следует разобрать, в чем дело, я выключил хроноскоп. Там, в подземелье, погас огонек на «электронном глазе» и Березкин тотчас вернулся.

— Посмотри сам,— сказал я.

Березкин повторил кадр, и теперь мы вдвоем смотрели на тонкую темную тень.

— Наверное, отпечаток предмета, долгое время простоявшего у стены. Следи внимательно, я даю задание.

Березкин ушел, и вскоре тень на экране приняла очертания миниатюрной человеческой фигуры. Правая опущенная рука человека держала какое-то кольцо, а левая, чуть согнутая в локте, была поднята к небу...

Я не вскрикнул только потому, что язык не повиновался мне. Все, что угодно, могли предположить мы. Все, что угодно... Но тень нашего Мыслителя в хостинском подземелье?!

Березкин вернулся, не дождаясь, пока я выключу хроноскоп.

Он взглянул на экран и, побледнев, перевел глаза на меня.

— Ничего не понимаю. Как зеркальное отражение.

Этого я в первый момент не уловил. Значит, мы увидели тень не нашего Мыслителя, а второго, Черного, о существовании которого только догадывались.

Березкину потребовалось все его самообладание, чтобы сказать:

— Все-таки закончим хроноскопию стен.

Березкин поскользнулся, спускаясь по трапу, и, едва не подвернув ногу, спрыгнул на землю.

Не умея собраться с мыслями, я сидел перед погасшим экраном. Экран вспыхнул, но хроноскопия стен уже не дала ничего сколько-нибудь примечательного.

В общей сложности хроноскопия заняла у нас не так уж много времени, но у Березкина, когда он вышел из подземелья, был такой вид, словно он провел там безвыходно несколько дней.

— Теперь всем можно,— сказал Березкин, обращаясь и к Пете, и к пилотам, и к старичку, и к директору.— Все можете войти. Мы закончили работу.

Выполнявший обязанности стража Петя оказался ближе всех к входу и первым юркнул в подземелье.

И первым же вышел оттуда. Оптимист по натуре, Петя, наверное, до последнего момента не терял надежды хоть что-нибудь найти в бывшем хранилище сокровищ.

— Все подчистую выкрали,— зло сказал он,— и глаза его вспыхнули, как у старика тогда, при первой встрече.— Подчистую! — повторил он.

А старик вышел последним. Его отсутствующий взгляд равнодушно скользнул по мне, по Березкину и задержался на вертолете. Споткнувшись, старичок сделал несколько неверных шагов и сел на камень, уперев измазанные глиной башмаки в ствол молодого бука. Потом старичок достал из внутреннего кармана бутылочку, посмотрел, есть ли в ней что-нибудь. Там ничего не было. Тогда старичок бросил бутылочку, сжал кулаки и беззвучно заплакал.

Директор заповедника, принявший в свое ведение подземную галерею, плотно прикрыл дверь и для чего-то опечатал ее.

Мы попрощались с ним.

Когда вертолет набирал высоту, я заметил, как старичок нагнулся, поднял бутылочку и снова спрятал ее во внутренний карман.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,

в которой, вопреки нашим собственным предположениям, не происходит никакого объяснения с Брагинцевым; в этой же главе рассказывается об удивительной встрече, а также подтверждается — не без помощи друзей — правильность нашего же основного принципа жизненного поведения.

Вертолет возвращался в Адлер не напрямик, а следуя за изломанной линией побережья. Я смотрел сверху на осушенную полосу прибрежной равнины, на лесистые мыски и, вероятно, потому, что настроение у меня было посредственным, вспоминал, что более ста лет назад на мысе Адлер погиб в перестрелке с горцами сосланный на Кавказ писатель-декабрист Бестужев-Марлинский, разлученный с друзьями и родными, разруганный критикой...

Березкин играл с Петей в шахматы, но партию они докончить не успели — мы опустились на адлеровский аэродром.

Вечером Березкин подробно ответил на Петины вопросы, но имя Брагинцева мы ни разу не упомянули.

На следующий день Петя вылетел в Тбилиси, чтобы рассказать Масхишвили о последних событиях, а мы — в Москву.

Березкин молчал, равнодушно глядя в окно, мне тоже не хотелось разговаривать.

Собственно, занимал нас только один вопрос: кому достался Черный Мыслитель при дележе добычи — Розенбергу или Брагинцеву.

Я склонялся к предположению, что Мыслитель — у Розенберга. И вот почему.

Во-первых мы теперь знали, что союз Розенберга и Брагинцева не был союзом равных. Розенберг не вызывал у нас ни малейшей симпатии, но в то же время он был человеком науки, притом кабинетным ученым, и Брагинцев явно потребовался ему лишь для физического исполнения замысла...

Во-вторых, его попытка похитить Белого Мыслителя — а мы уже не сомневались, что в Касабланке действовал тот же Розенберг, что и в Хосте, и в Тбилиси,— его попытка свидетельствовала о том, что, узнав по фото-

графиям в журналах статуэтку, он решил добыть ее и восстановить таким образом скульптурную группу...

И все-таки сохранилась крохотная надежда, что по каким-то причинам Черный Мыслитель достался Брагинцеву.

Вот этот единственный вопрос, у кого находится статуэтка, мы и решили задать Брагинцеву по возвращении в Москву, оставив все остальное на его совести.

В Москву мы прилетели днем, и я с аэродрома позвонил домой.

— Ни в коем случае не разговаривайте с Брагинцевым до встречи с Яшей,— сказала мне жена вместо приветствия.— Предупреди Березкина.

— В таком случае, свяжись с Яшей, и пусть он приезжает к нам,— ответил я, ничего не понимая.— Мы с Березкиным сейчас выезжаем.

Березкина мое предупреждение не привело в восторг.

— Что еще за фокусы? — не очень-то любезно осведомился он.— Я не собираюсь придавать делу широкую огласку, но...

— Не стоит торопиться с выводами,— сказал я.— Скоро все разъяснится.

У нас дома мы уже застали и Яшу с Евой и жену Березкина.

— Ну-с, кто первым будет докладывать? — спросил Березкин, устало опускаясь в кресло.

— Я,— сказал Яша.

— Замечательно, мы пока отдохнем.

Слова Березкина едва ли могли вдохновить оратора, и мне пришлось произнести несколько нейтральных слов.

— Нет, я понимаю,— сказал Яша.— Вы пережили диаметрально противоположное тому, что пережил я, и настроение у нас, соответственно, разное...

— Еще какое разное! — сказала Ева.

— У меня не было при себе хроноскопа, но я воспользовался удостоверением журналиста и узнал кое-что любопытное. Видите ли, серебряную вазу из Хостинского клада передал в Оружейную палату сам Брагинцев еще в тысяча девятьсот двадцать шестом году...

Березкин приподнял тяжелую голову и уставился на Яшу.

— В том же году он передал в музеи страны еще

около пятидесяти предметов на баснословную сумму. Короче говоря, Брагинцев был миллионером, но почему-то отдал свой миллион государству. Вот почему отдал, не скажу. Я с ним не разговаривал. Мы же не знакомы, и вообще неудобно.

И Березкин, и я молчали гораздо дольше, чем позволяло приличие даже среди родных и друзей.

— Брагинцев передал миллион государству,— медленно произнес Березкин,— а мы с Вербининым только что истратили кругленькую сумму — пусть не миллионную. Зря прогоняли вертолет в Хосту и обратно.

Березкин подошел к телефону и набрал номер Брагинцева.

Много раз мысленно репетировал я этот труднейший разговор, а теперь испытывал прямо-таки восторг при мысли, что все мои репетиции пошли прахом!

— Здравствуйте,— сказал Березкин в трубку.— Мы с Вербининым закончили расследование истории Хостинского клада. Мы узнали все или почти все. И наделали немало глупостей. Проще было сразу поговорить с вами, что нам и советовали друзья. Я считаю своим долгом извиниться перед вами за подозрения, которые возникали у нас с Вербининым... Но остался один вопрос, которого мы сами решить не можем. У кого находится Черный Мыслитель — у вас или у Розенберга?

Мне казалось, что я вижу, как молчит на другом конце провода Брагинцев — молчит тяжело, недоумевая и пытаясь угадать ход наших раздумий.

Березкин, выслушав ответ, повесил трубку.

— Минут через сорок Брагинцев будет здесь.

Березкин сел на прежнее место в кресло и отчетливо, я бы даже сказал — с выражением, произнес только одно слово:

— И-ди-о-ты!

А я машинально кивнул, соглашаясь с оценкой.

— Нет, что вы, ребята,— возразил Яша.— Это же со всяким могло случиться. И вообще нельзя всего предвидеть. Дело же поправимое...

— Помнишь, ты как-то рассуждал о самохроноскопии? — тихо, не поднимая глаз, сказал мне Березкин.— О том, чтоб любой день нашей жизни в любой момент можно было подвергнуть хроноскопии? Веселые получатся картинки, я тебе доложу: ошибка на ошибке, сомне-

ния, неуверенность в выводах. И вот еще такое, как с Брагинцевым... Единственное, что определенно: опасения наши оправдались, выпустили-таки мы джина.

Когда прошло полчаса, я достал из шкафа Белого Мыслителя и поставил его на письменный стол.

Через несколько минут раздался звонок.

Брагинцев был в легком, несмотря на холодную погоду, сером пальто. Снежинки на его открытой седой голове свернулись в серебристые капли. В руках он держал сверток.

Брагинцев произносил обычные слова приветствия, когда взгляд его,— а дверь в мой кабинет была распахнута,— упал на Белого Мыслителя. Брагинцев вздрогнул так, словно сквозь тело его прошел электрический ток. Он не заметил протянутой ему руки, он отстранил меня и шагнул в сторону кабинета.

— Что это? — с трудом двигая сведенными губами, спросил он.

— Мыслитель из Дженне.

— Тот самый... Вы говорили... Мне очень хотелось посмотреть, но я стеснялся попросить...

Брагинцев сделал неверное движение — то ли пальто ему мешало, то ли хотел передать нам сверток,— но вдруг, заспешив, порвал веревки на свертке, развернул бумагу и тогда... Тогда оцепенели мы.

В руках у Брагинцева был Черный Мыслитель, угаданный хроноскопом.

Хроноскопия не раз устраивала нам встречи с чудом, но все же до последней секунды я не верил, что свершится это чудо, что Черный Мыслитель вновь встретится с Белым...

Что можно еще добавить? Нередко писатели, особенно работающие в приключенческом жанре, пытаясь передать волнение, вдруг охватившее их героев, пишут либо о дрожащих руках, либо о постукивании стакана о зубы...

Мне не хотелось бы следовать шаблону, но разве я забуду когда-нибудь, как дрожали обычно крепкие сильные руки Брагинцева в тот момент, когда он соединял руки Мыслителей, вновь встретившихся через три с половиной столетия?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,

в которой говорится несколько слов о Черном Мыслителе, а также приводится его краткое описание; в этой же главе дается окончательная разгадка тайны Хостинского клада и сообщается кое-что о молодом Брагинцеве.

Вы догадываетесь, наверное, что после столь великолепного завершения расследований нам все-таки пришлось объясниться с Брагинцевым.

Березкин, который обычно передоверяет мне устные и письменные выступления, на сей раз сам изложил Брагинцеву все перипетии хроноскопии.

Брагинцев слушал внимательно, спокойно, внешне никак не реагируя на слова Березкина. Даже когда Березкин — а разговор шел напрямую,— сказал, что мы убедились в его профессиональном умении открывать запертые двери, Брагинцев ничуть не возмутился. Наоборот, его интерес к рассказу как будто даже возрос.

— Мне остается только поздравить вас с блестящими результатами,— сказал Брагинцев, когда Березкин закончил свое повествование.— Не очень приятно чувствовать себя объектом хроноскопии, но жить надо так, чтобы нечего было стыдиться... Да я ничего не стыжусь, хотя в прошлом и обладал некоторыми привычками, которые не нравятся уголовному розыску... Вы правы, эти мои навыки и потребовались Розенбергу. И мы отлично осуществили операцию, хотя в последний момент тот самый склеротический старичок — а тогда весьма энергичный и решительный молодой мужчина — едва не повернул историю клада, да и мою собственную, совсем в ином направлении.

Брагинцев умолк и повернулся к Березкину.

— Вы говорили, что Розенберг пытался похитить Белого Мыслителя? По фотографиям, наверное, догадался, в чем дело... Я в общем-то не слишком скаредничал, когда мы делили клад, но из-за Мыслителя... Н-да.

Брагинцев не договорил, махнул рукой.

— Короче говоря, Мыслитель достался мне, и ему, скорее всего, я обязан своим спасением. Кстати, это единственная вещь из Хостинского клада, которую я оставил у себя. Не мог отдать его. Просто не мог. Вы только посмотрите, какое мудрое и вдохновенное лицо! Конечно, он

африканец, но заметьте, что лицо у него не типично африканское, потому что венецианский мастер африканцев не видел, и знал лишь, что они черные. Это, между прочим, подтверждает древнее происхождение статуэток. Да, я отвлекся... Розенберг — а он, надо отдать должное, был в свое время по-настоящему талантливым человеком, умницей и полиглотом,— уехал сразу после революции за границу. Помните, когда склеротический старичок наведался в лагерь археологов, он со злобой говорил, что клад вместе с нами уплыл за море? Старичок, к счастью, знал не все... Розенберг предлагал мне бежать за границу вместе с ним, обещал помощь в устройстве всяких дел и, думаю, сдержал бы слово — он умел оставаться товарищем в сложной обстановке. Я предпочел остаться. Некоторое время мы с Розенбергом даже поддерживали связь — до двадцать шестого года, примерно... Простите за нескромность, но меня Хостинский клад спас, а Розенберга погубил. Он из ученого превратился в коммерсанта, а я... Мне Хостинский клад открыл глаза на прекрасное. Понимаете?.. Почти невозможно рассказать об этом в двух словах, но в один из ничем не примечательных дней драгоценности перестали быть для меня драгоценностями. Они стали произведениями искусства. И тогда началась моя новая жизнь. Учение, занятия историей искусств, философией, увлечение эстетическими теориями... И тогда же я понял: лишь при обостренном чувстве справедливости, лишь при абсолютной честности перед самим собой прежде всего можно разрабатывать учение о прекрасном. Или лучше не браться...

Так что следующий шаг — передача клада в музей — был для меня вполне закономерен. Я не мог один наслаждаться прекрасным, и я отдал все, что имел. Вспоминать о своем прошлом мне не всегда приятно, и этим объясняется «таинственность», которую вы подметили, недоговорки... Конечно, я заботился не только о Месхишвили, когда старался раскрыть загадку дома Хачапуридзе. Меня и самого интересовало происхождение клада. Дело в том, что многие предметы оказались покалеченными саблями, копьями, мушкетными пулями, камнями... Ваш хроноскоп подтвердил это.

— Вы знаете о денежных расписках, оставленных Давиду Хачапуридзе безымянными воинами? — перебил я.— Они сохранились в архиве...

— Архив Хачапуридзе интересовал меня в семнадцатом году с несколько иной точки зрения,— улыбнулся Брагинцев.— А такие расписки есть?

— Мы с Березкиным не только видели, но и подвергали хроноскопии бумаги с отпечатками пальцев.

— Это подтверждает мою гипотезу. Я подозреваю, что нежно любящий отец, Давид Хачапуридзе, столь же нежно любил драгоценности, которыми торговал: раз продав их, он потом стремился вернуть их обратно. И возвращал сокровища он с помощью черкесов-наемников: они нападали в горах на караван, о котором заранее узнавали, грабили его и уходили в Хостинскую крепость. Мой любимый ученик Петя был прав, когда категорически утверждал, что крепость выстроена для хранения сокровищ.

— Вот, по-моему, окончательная разгадка тайны Хостинского клада,— сказал Березкин.— Мне кажется, мы тоже пришли бы к такому же заключению, если бы продолжили хроноскопию. И теперь я догадываюсь, почему Хачапуридзе так плачевно закончил свои дни. Наверное, он увлекся, пожадничал, и наемный отряд его попал на караван, принадлежавший царскому дому. Ведь почему-то бумаги Хачапуридзе попали в архив Вахтанга Шестого. Вероятно, предки Вахтанга и расправились с Хачапуридзе; они же разрушили крепость, но не сумели найти тайник. А сын... Сын Давида Хачапуридзе либо погиб при кораблекрушении, либо так и не узнал тайны зарытых сокровищ.

— Вот видите, сколько загадок мы сразу разгадали,— невесело улыбнулся Брагинцев.— Но осталась одна, видимо, самая сложная. Почему Белый Мыслитель очутился в Дженне, а Черный — в Хосте? И кому принадлежали они в Венеции? И почему начали свои непонятные путешествия в разные части света? Может, вы все уже знаете, и я напрасно гадаю?

Я назвал Брагинцеву имя Умара Тоголо, африканца из Дженне, и дословно пересказал текст телеграммы.

— Вот пока все, что мы знаем. Надеюсь, что письмо Мамаду Диопа прояснит историю Мыслителей до конца.

А Березкин, человек, как я уже неоднократно подчеркивал, практического склада, подошел тем временем к

письменному столу и принялся внимательно разглядывать Черного Мыслителя.

Если вы помните, при общей хроноскопии стен хостинской сокровищницы, мы увидели на экране тень, державшую в опущенной руке кольцо. Хроноскоп по каким-то причинам оказался неточен: в руке у Черного Мыслителя была золотисто-черная восьмерка, как бы опущенная до земли.

— Неужели — эмблема торгового дома?..— начал было Березкин.

— Едва ли,— тотчас возразил Брагинцев.— Такие детали, как черта, надвое рассекающая восьмерку — не мелочь! Кроме того, клеймо Хачапуридзе вырезано на нижней плоскости постамента.

— Цепь тогда...

— По-моему, это единственно правдоподобное толкование,— кивнул Брагинцев.— Цепь или цепи, которые приковывают мыслителей к земле, не дают им взлететь к небу... Наверное, Белый Мыслитель держал такую же восьмерку в левой руке.

Я достал из ящика письменного стола пакетик с металлическими обломками и протянул его Брагинцеву. Он извлек из верхнего кармашка тонкий пинцет, плоскую лупу в черной оправе и склонился над пакетом.

— Обломков недостаточно, чтобы восстановить восьмерку,— сказал Брагинцев.— Но обратите внимание, что обе восьмерки были совершенно одинаковыми, обе — комбинация черного и золотого цвета...

— Одни и те же цепи связывают мыслителей и в Африке, и в Европе,— высказал я предположение.— Всюду одно и то же, и всюду мыслители рвутся к небу.

— Я согласен с вашей догадкой,— сказал Брагинцев.— Но кто же автор этой отчаянно смелой по тем временам идеи? Вы знаете, методом исключения можно выделить пять-шесть ученых-гуманистов, мысливших таким образом...

— Вероятно, но мы с Вербининым склонны дождаться письма Мамаду Диопа,— сказал за меня Березкин.— Не будем запутывать и без того запутанную историю.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ,

и последняя, в которой проясняются все неясные вопросы этого сложного затянувшегося расследования и бросается общий взгляд на затронутые проблемы с высоты африканской мечети в городе Дженне.

Березкин был по-своему прав, так ответив Брагинцеву. Раз письмо уже послано нам, то проще дождаться письма, а потом, если потребуется, начинать какие-либо дополнительные изыскания.

Но рассуждать так, как мы, могли только люди, уже давно приобщившиеся к расследованию загадки Мыслителей и — что тоже немаловажно — уже успевшие устать.

Иное дело — Брагинцев, впервые увидевший проблему во всем объеме. Отнюдь не понуждая нас к этому, сам он, великолепно зная историческую литературу и приняв к сведению результаты хроноскопии, произвел кое-какие сопоставления и быстро пришел к выводу, поразительному по своей простоте (позднее он подтвердился).

Должен сказать, что раскрытие тайны Хостинского клада сблизило нас с Брагинцевым, он как-то сразу вошел в круг наших близких знакомых, чего, к сожалению, не произошло с Петей.

Брагинцев счел нужным рассказать Пете, кто и когда нашел Хостинский клад, и рассказ Брагинцева почему-то произвел на философа тяжелое впечатление.

Петя приехал ко мне, долго сидел и настойчиво возвращался в разговоре к прошлому Брагинцева. В конце концов я сказал ему, что тема эта сама по себе меня мало волнует, а история жизни Брагинцева — замечательная и поучительная история. Почувствовав, что я целиком на стороне Брагинцева, Петя ушел.

Недели через две Брагинцев сказал мне, что его талантливейший ученик стал вести себя как-то странно, а на самого Брагинцева на факультете теперь смотрят чуть ли не как на героя детективного романа, и он вдруг почувствовал себя на факультете неуютно.

— Пустяки это все, впрочем,— сказал Брагинцев, но мне подумалось, что он старается успокоить и себя, и меня.— Хуже, что у Пети с дипломной работой не ладится. По-моему, у него пропал к ней интерес.

Странности в поведении Пети невольно связались в

моем представлении с перипетиями вокруг Хостинского клада, удивили меня, честно говоря, и я решил объясниться с ним.

Объяснения не получилось, потому что Петя зашел ко мне в сопровождении Локтева, над цитатническими наклонностями которого раньше посмеивался. Петя теперь относился к нему иначе — почти восторженно, даже в мелочах спрашивал его совета, и разговор у нас не клеился.

А потом пришло письмо от Мамаду Диопа.

Оно пришло в тот день, когда мне с утра позвонил захлебывающийся от восторга Березкин и прокричал в трубку, что у него родился сын. Оно пришло в тот день, когда моего сына принимали в пионеры. Он ушел со школой на Красную площадь, а мы с женой ждали его дома, и я вспоминал далекий день середины тридцатых годов, когда в пионеры принимали меня, а отец и мать ждали моего возвращения... И потому, что уже давно нет в живых отца, и потому, что сам я уже искренне удивляюсь, когда меня на улице называют «молодым человеком», а сын стоит на торжественной линейке перед Мавзолеем,— по всем этим причинам настроение у меня было и светлое, и грустное. И совсем уж неожиданно оказалось созвучным этому сугубо личному настроению письмо Мамаду Диопа, письмо, позволившее почти реально ощутить величие и бесстрашие человеческой мысли, преемственность подвига, на который сознательно шли и идут мыслители разных стран и народов.

Да, мы узнали имя человека, вдохновившего ювелира на создание скульптурной группы, и узнали имя араба, доставившего Белого Мыслителя из Венеции в Дженне. Мохаммед аль-Фаси и Мамаду Диоп нашли в Рабатской королевской библиотеке рукописи, прояснившие всю историю,— рукописи, кстати, хорошо известные арабистам, но теперь зазвучавшие по-новому.

И если я тотчас не называю имен, то прошу не считать меня последователем тех спортивных радиокомментаторов, которые, начиная репортаж о футбольном состязании со второго тайма, всячески уклоняются от того, чтобы сообщить результат первого. Вся беда в том, что имеются непреложные законы построения литературного рассказа. И хотя я стремлюсь быть в своих записках предельно близким к ходу событий, я все-таки в той или иной

степени организую материал,— поверьте, это необходимо вообще, и необходимо в данном случае.

Письмо Мамаду Диопа подвело итог нашим изысканиям. Но уже через несколько дней после получения письма мы с Березкиным покинули пределы своей страны, миновали Париж и очутились в Африке. А потом наступил момент, когда мы увидели медленно вырастающий на горизонте город Дженне, город, прочно владевший нашими мыслями, и событие это произвело на меня и на Березкина такое глубокое и сильное впечатление, что по-новому озарилась для нас вся история Мыслителей.

Вот почему, нарушая хронологическую последовательность, я временно умалчиваю о содержании письма и прошу вас мысленно перенестись вместе с нами на берега Черного континента.

«На берега» — в точном смысле слова, потому что наблюдения, которыми я хочу сейчас поделиться, поведут нас от побережья в глубь материка.

Итак, мы с вами на улицах Дакара, крупнейшего города Западной Африки. Жарко и сухо. Солнце висит над головой. На центральных улицах — густые деревья, и черная тень от них лежит на мостовой, на тротуарах. Много машин, велосипедистов. На тротуарах, в тени деревьев, сидят торговки с детьми за спиной, спят нищие. В сторону мечети с квадратными минаретами, в сторону крытого рынка, увешанного рекламами французских торговых фирм, тянутся вереницы слепых и калек. Удивительно много их в Дакаре, и вид слепцов с мальчиками-поводырями невольно вызывает в памяти картины нидерландского художника Питера Брейгеля Старшего. Он жил и работал в шестнадцатом веке, в том самом, который интересует нас, и, пожалуй, только слепцы и калеки, собравшиеся в стольный портовый город со всех концов страны, заставляют вспоминать в Дакаре средневековье.

В основном же город современен — современен его прекрасно оборудованный порт, современны застроенные белыми небоскребами центральные кварталы, и фанерными домишками — окраины... Вместо Дакара я мог бы назвать какой-нибудь другой портовый город — Конакри или Рюфиск, например,— они однотипны. Это неподдельная Африка, но Африка последнего столетия, не дающая никакого представления о более отдаленном прошлом, о шестнадцатом веке, в частности.

Теперь отправимся в глубь континеита, километров этак за пятьсот-семьсот. Для посещеиия можно выбрать любой город — и Кинидию, н Маму, и Лабе, н Пита, и Каруссу, и Нзерекоре, н Тнес, но, пожалуй, больше других нам подходнт город Каикан — второй по велнчние город Гвниен, расположеиный на прнтоке Нигера.

Я выбрал Канкан не случайио: он был основаи лет триста с лншннм назад, то есть во время нлн вскоре после ннтересующнх нас событнй, и в архнтектурном плаие почти не претерпел с тех пор нзмеиеннй. Канкаи — город, застроеиный круглыми саманными хнжниамн под островерхнмн соломенными крышами: это по характеру застройки обычная гвниейская деревия, выросшая до размеров города. Так — нз деревень — возиикали города в Россин, да н ие только в России.

Каикаи я вндел во время первой поездки в Афрнку. И потом, читая о средиевековой Западиой Африке, я вндел ее города такимн, каким запомиился мие Каикаи, добавляя мысленно лишь крепостные стеиы, которые повсюду были разрушеиы французамн после захвата городов.

И тут я должен прнзнаться в следующем. Я довольно хорошо представлял себе зрнтельно средневековые, похожие на Каикан, города Афрнкн; представлял себе, что какой-то одии город — столица — превосходил другие по размерам н был лучше укреплен. Я мог вообразнть себе конное вонство, закованиое в медиые панцирн, вооруженное пнками и кривымн мечамн,— воннство, то праздно шатающееся по городскнм улицам, спящее у коиовязей в теин крепостиых стен, то истово рубящееся с другим вонством, подчниенным удельному вождю нли даже маиса — нмператору небольшого соседнего государства... Нетрудно было вообразнть н пехотницев — в средние века оин н в Африке, и в Европе вербовались нз голытьбы, н уже потому не былн столь пышио разодеты... Я мог представить себе, наконец, известиую роскошь нмператорского двора, обнлне рабов (онн подчас заинмалн высокне государственные должиости), наложннц, юношей с мечамн н свнрепых псов, охраиявшнх трои владыки... Но все этн отдельиые н в общем-то верные черты средневекового афрнканского быта не создавалн в моем воображенин едниой картнны, еще ие позволяли зримо представить себе своеобразие н велнчие афрнкаи-

ских государств, понять уровень африканской средневековой цивилизации.

Потребовался еще год жизни, потребовалось еще одно путешествие по Африке и «личное свидание» с городом Дженне, чтобы все стало на свое место, чтобы сам я дорос до понимания величия средневекового Судана.

В центре Дженне — маленького городка из плоских глиняных домиков — стоит огромная, самая большая в Африке мечеть, слепленная из глины. Мечеть производит удивительное и грозное впечатление, и вообще она не похожа ни на что в мире,— похожа только на свои же копии, которые мы потом видели в других городах. Она задавила бы плоский городок своей громадой, она внушала бы страх иноземцам клыкастыми — правда, оплывшими — стенами и прямо-таки противотанковыми надолбами — в полтора человеческих роста! — вокруг здания, если бы...

Вот тут и начинается главное. В первой поездке по Африке в нашей группе был поэт, который потом выпустил книгу стихов под названием «Африка имеет форму сердца»... Это определение на редкость просто, и на редкость точно. А в центре этого сердца — если таковой существует — стоит огромная мечеть, увенчанная тремя ракетами, нацеленными в зенит.

И они, эти ракеты, решают все — они придают неожиданную легкость громоздкому зданию, они начисто устраняют раздумья о воинственных замыслах создателей мечети; они утверждают общую для всех людей мира мечту о штурме небес, мечту, зародившуюся много веков назад и нашедшую неожиданное — архитектурное — воплощение в сердце Африки!

Все это произошло, наверное, потому, что один из самых могущественных императоров Мали, некто Гонго-Муса, завершая паломничество в Мекку, встретил некоего бродячего поэта по имени Андалу эс-Сахели. Чем-то он полюбился наделенному колоссальной властью императору, и тот уговорил поэта отправиться вместе с ним в его владения, в центр Африки. Легкомысленный поэт — легкомысленный потому, что капризы властителей неисповедимы,— согласился. И там, в Мали, император поручил поэту создать особый архитектурный стиль, который отличал бы его, императора, страну от всех прочих

стран... И потому, что император доверился поэту, возник необычный архитектурный стиль, который уже несколько веков известен как «суданский» стиль — он пережил всех императоров, все империи.

Будь я поэтом, я написал бы об Андалу эс-Сахели поэму. Но я исследователь, и задаюсь совсем другой целью — стремлюсь понять, как мог возникнуть в средневековой Африке в четырнадцатом веке стиль, который я бы назвал «устремленным к небу», хотя это и не абсолютно точное выражение.

Я не могу решить этого вопроса — проще всего сослаться на поэтические вольности,— но мечеть в Дженне, созданная по проекту бродячего поэта Андалу эс-Сахели, открыла мне глаза на эпоху, о которой я размышлял последние месяцы.

Вообще, чем дольше живешь, тем чаще убеждаешься, что большие явления никогда не бывают случайными. И теперь я убежден, что есть прямая связь между помыслами поэта Андалу эс-Сахели и астронома Умара Тоголо, составителя удивительно точных астрономических таблиц, сопоставимых, как утверждают специалисты, только со знаменитыми таблицами Тихо Браге.

Все они стремились к небу. И не как фанатики-мусульмане — в том-то и дело! Я уверен, что Умар Тоголо вел свои визуальные наблюдения за движением звезд с крыши мечети, украшенной ракетами Андалу эс-Сахели (они используются как минареты, и каждое утро муэдзины выкрикивают сквозь узкие прорези призывы к молитвам).

И поэт, и астроном были братьями по духу.

Но не только они. Умару Тоголо принадлежали, помимо таблиц, и крамольные теоретические исследования, которые сделали его близким Джордано Бруно...

Вот видите, как просто назвалось то имя, которое все связывает и все объясняет...

Теперь — в сторону литературные приемы.

В 1591 году величайший итальянский ученый и гуманист Бруно, вынужденный жить вдали от родины, получил из Венеции, от некоего патриция Мочениго приглашение на должность учителя философии и мнемоники (так называлась тогда «наука» запоминать).

Бруно принял приглашение — принял потому, что истосковался по родине, по Италии, потому, что Моче-

ниго гарантировал ему полную личную безопасность, потому, наконец, что Венеция — и об этом я уже писал — по тем временам могла считаться вольным городом...

Чем это кончилось — известно всему миру. Но в короткие свободные месяцы, прожитые в Венеции, Джордано Бруно успел встретиться с просвещенным путешественником, арабом ибн Амир Хаджибом, и от него узнал о научных изысканиях негра из Дженне по имени Умар Тоголо.

По-видимому, Джордано Бруно был поражен совпадением их взглядов на мироздание. Они оба утверждали, что земля вращается вокруг Солнца, а Солнце — вокруг неизвестного центрального светила, оба утверждали, что жизнь есть не только на Земле, но и на других планетах, которые во множестве встречаются во Вселенной.

Иначе говоря, они были братьями по разуму, оба думали об одном и том же, и оба одинаково рисковали, потому что и христианство, и мусульманство одинаково свирепо преследовали свободомыслящих.

Для меня бесспорно, что ибн Амир Хаджиб был единомышленником Умара Тоголо и был единомышленником Джордано Бруно. Я даже допускаю — тут я отдаю дань своим специфическим интересам — что, быть может, именно ему принадлежала идея создать символическую скульптурную группу, которую он же потом разделил: оставил Черного Мыслителя Бруно, и повез Белого — в Дженне, к Умару Тоголо.

Очень трудно передать мне драматизм тех событий, о которых я обязан сейчас рассказать. Пожалуй, я просто перечислю их — пусть они говорят сами за себя.

Ибн Амир Хаджиб отплыл из Венеции в Марокко в 1592 году. Он плыл на родину с легким сердцем и просветленным умом. Он радовался предстоящему свиданию с Умаром Тоголо и, конечно, предвкушал долгие вечерние беседы со своим дженнейским другом, с его сподвижниками из числа живущих в городе астрономов, географов, историков... Ибн Амир Хаджиб знал — и, наверное, это не было ему безразличным,— что в беседах будут принимать участие молодые просвещенные дамы, потому что, несмотря на мусульманское вероисповедание, женщины в суданских государствах пользуются полным равноправием, а отношения их с мужчинами естественны и свободны... Ибн Амир Хаджиб знал также,

что — опять же в нарушение буквы Корана — беседы ученых будут приправлены чашей пальмового вина, сдобрены веселой шуткой. Но — в меру. Но — до того часа, пока ни коснутся они главного, сокровенного, тех идей, что так поражают воображеиие современников и вызывают столь неприкрытую ненависть у духовенства.

Ибн Амир Хаджиб мог достаточно хорошо представить себе характер бесед и по той не последней важности причине, что вез Умару Тоголо сочинения Джордано Бруно. Да, в его кожаных сумах хранились тщательно упрятанные сочинения Бруно «О причине, начале и едином», «О бесконечности, Вселенной и мирах», «Пир на пепле»... Долгими густозвездными ночами, когда лишь мерные шаги верблюдов да звон дум-дума — колокольца на последнем в караване верблюде — нарушали тишину,— думал ибн Амир Хаджиб, что придется ему выступать переводчиком в доме своего африканского друга: Бруно писал почти все свои сочинения на незнакомом Умару Тоголо итальянском языке.

Ибн Амир Хаджиб так никогда и не узнал, что в том же 1592 году Джордано Бруно был предательски выдан инквизиции. В то время ибн Амир Хаджиба интересовало и волновало другое: прибыв в Марокко, он узнал, что несколько месяцев назад марокканский султан послал в глубь Африки войско, основное ядро которого образовали испанские ренегаты, принявшие мусульманство. Возглавлял войско некто Джудер-паша, тоже испанец, тоже перебежчик.

Марокканцы и раньше совершали грабительские набеги на страны, лежащие к югу от Сахары, захватывали оазисы, соляные копи, грабили города... Но теперь ходили слухи, что Джудер-паша не успокоится до тех пор, пока не доберется до источников суданского золота, а месторождения его находятся далеко на юге. Значит, надо разгромить государство Сонгаи, надо сокрушить крупнейшие города Судана, и только тогда откроется дорога к золоту... Ибн Амир Хаджиб понимал, что задача эта — не из легких, что манса Сонгаи — человек не робкий и располагает регулярной армией. Но впервые в сторону Судана шло войско, оснащенное огнестрельным оружием, и в Маркко надеялись, что преимущество в вооружении окажется решающим.

Будучи арабом, ибн Амир Хаджиб все же едва ли

разделял восторженное отношение своих соплеменников к походу Джудер-паши,— кроме всего прочего, поход этот не сулил ничего хорошего самому путешественнику. Понимая, что многим рискует, он поспешил в Дженне, к своему ученому другу.

Они встретились прежде, чем испанцы подошли к стенам Дженне. Это засвидетельствовал в описании своего путешествия сам ибн Амир Хаджиб.

А потом в Дженне ворвались головорезы Джудер-паши, и ибн Амир Хаджиб был застрелен на узких улицах глиняного города.

Умар Тоголо своей рукой приписал краткое сообщение о гибели друга к последним строкам его рукописи.

Грабежи и резня заставили Умара Тоголо бежать из Дженне.

Он предпринял эту отчаянную попытку не один, а вместе с сыном, которому, судя по всему, доверил рукопись ибн Амир Хаджиба и свои таблицы. Сам же он нес Белого Мыслителя.

Чем кончился побег, мы уже знаем. Более молодой и ловкий спутник Умара Тоголо избежал лошадиных копыт, но не избежал рабства. Перед тем, как у него отняли все, что он имел, сын Умара Тоголо, по традиции, сделал к его астрономическим таблицам скорбную приписку.

Испанцы растоптали суданскую цивилизацию с той же тупой жестокостью, как и цивилизации инков, ацтеков, майя в Америке. Имелось лишь небольшое различие: в Африке испанцы-мусульмане грабили мусульманскую страну; сами они, как правило, были неграмотны и потому с почтением относились к книгам, написанным арабской вязью, полагая, что это священные книги. Видимо, только по этой причине уцелели некоторые сочинения арабских ученых. Во всяком случае, Мохаммед аль-Фаси и Мамаду Диоп установили, что среди добычи, привезенной Джудер-пашой в Марокко, наряду с тибаром, или неочищенным золотом, наряду с перцем, рогами единорогов, наряду с евнухами, карликами, девственными дочерьми суданского султана, наряду со всем этим в Марокко попали рукописные книги Умара Тоголо, ибн Амир Хаджиба, и даже изданные в Лондоне книги Джордано Бруно.

Походы Джудер-паши против суданских городов про-

должались почти десять лет и закончились к 1600 году.

Сквозь узкую прорезь нацеленного в зенит ракетоподобного минарета мы с Березкиным смотрим на тихий, словно так и не проснувшийся за истекшие три с половиной столетия городок, на карьеры, на огороды, на пустую рыночную площадь с навесами из циновок...

Да, к 1600 году было покончено с судаискими цивилизациями, и, по привычке к сопоставлениям, я стараюсь припомнить, что еще памятного произошло в это же время.

В этом же году на Площади Цветов в Риме сожгли на костре Джордано Бруно.

В этом же году наивный гуманист, царь племени бушонго, требовал, чтобы его подчиненные не пользовались при боевых действиях дротиками.

В этом же году один из первых представителей утопического коммунизма Томмазо Кампанелла в тюрьме, после пыток инквизиции, писал свою книгу «Город Солнца, или Идеальная республика»...

Но главное, что определило рубеж, пришедшийся на два столетия — это, конечно, торжество инквизиции над гуманизмом и просветительством, торжество реакции — и политической, и духовной. Мрачная пора.

Воспоминания о ней могли бы вызвать и мрачные мысли. Но почему-то на раскаленной крыше дженнейской мечети мне думалось о другом — о конечном торжестве мыслителей, пробившихся к свету сквозь самые жестокие препоны, о прекрасной человеческой традиции подхватывать вспыхнувшую мысль, сохранять ее до лучших времен и потом вновь выносить к людям...

Конечно, я не забывал в Дженне и о наших символических мыслителях, о Мыслителе Черном и Мыслителе Белом. В судьбе второго из них не осталось для нас ничего неясного. Что касается Черного Мыслителя, то о его судьбе можно высказать лишь одну более или менее правдоподобную догадку. После ареста Джордано Бруно его имущество было конфисковано. Наверное, не без помощи патриция часть вещей его, однако, попала к венецианскому купцу Паоло Джолитти. Иначе говоря, Черный Мыслитель на долгие годы стал добычей торгашей и исчез в тайниках Хачапуридзе, которому был перепродан.

Помните? — мы все решили, что восьмерки, которые держат в руках Мыслители, символизируют цепи, приковывающие их к земле?..

Мамаду Диоп высказал другое предположение. Он сказал нам, что у многих африканских народов восьмерка — символ вечности и бесконечности, символ постоянного обновления мира... Если так, то истолковывать скульптурную группу следует как символическое выражение вечной устремленности человеческой мысли ввысь.

Вероятно, возможно и то и другое истолкование; по обыкновению, я никому не буду навязывать свою точку зрения.

Что еще можно добавить?.. Мамаду Диоп передал Белого Мыслителя в дар стране, первой пославшей человека в космос, первой предпринявшей практические шаги к осуществлению той мечты, которая владела и Джордано Бруно, и Умаром Тоголо, и ибн Амир Хаджибом, мечты, которая обрела стройность и законченность научной теории в трудах Циолковского.

Значит, наши Мыслители вновь соединились или, если хотите, объединились, чтобы вместе продолжить путь вперед и выше, продолжить путь в будущее.

ПЕРВОЕ *признание*

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой, уже находясь в Средней Азии, мы рассуждаем о предстоящих нам исследованиях в горах Памира.

В Душанбе было так жарко, что розовые скворцы летали с раскрытыми клювами.

Мы с Березкиным сидели на открытой веранде кафе и, разговаривая с новым нашим знакомым — археологом Рубакиным, пили пиво из запотевших бутылок. На археологов нам, как говорится, везло: уж кто-кто, а они нас не забывали.

Мы летели в Ферганскую котловину на базу Среднеазиатской комплексной экспедиции, а Рубакин уговорил нас завернуть в Сучан.

Есть такой город на Дальнем Востоке — Сучан, и он довольно-таки известен. Но мало кто знает, что есть у нас в стране еще один Сучан — в Горно-Бадахшанской автономной области, на реке Гунт. Если ехать в Хорог со стороны Восточного Памира, то Сучан окажется первым кишлаком, в котором мальчишки выходят на тракт с тюбетейками, полными вишен... Это так здорово после сурового высокогорья — и первые сады, и пламенеющие вишни в руках у смуглых мальчишек. Я, во всяком случае, запомнил Сучан на всю жизнь.

В Рушанском хребте, в нескольких километрах от Сучана, Таджикская археологическая экспедиция обнаружила недавно палеолитическую стоянку с двумя мужскими скелетами. Находка произвела сенсацию. Во-первых, в тех районах никогда раньше не находили стоянок палеолитического человека. Во-вторых, на редкость хорошо сохранились скелеты, что уже само по себе имело огромное значение. В-третьих...

Третье обстоятельство и привело к нам Рубакина. Один из людей, останки которого обнаружили в пещере, при жизни был калекой. Специалисты определили, что увечья, которые сделали его инвалидом, он получил в молодости, а умер лет в сорок, то есть по тем временам в возрасте весьма почтенном. Вот тут-то и таилась загадка.

Зимой, занимаясь своей научной работой, я перечиты-

вал «Биогеохимические очерки» В. И. Вернадского и обратил внимание на одну его несколько неожиданную мысль. Рассуждая о человечестве и отмечая, что можно насчитать много более десяти тысяч сменившихся людских поколений, Вернадский вдруг заключает, что все они, по существу, не отличались от нас «ни своим характером, ни своей внешностью, ни полетом мысли, ни силой чувств, ни интенсивностью душевной жизни».

Мне и Березкину, уже искушенным в исследовании далекого прошлого, трудно было согласиться с высказыванием знаменитого ученого. Будь так на самом деле, не возникла бы и сучанская загадка. Но внутренний мир человека постоянно менялся, и эволюция его далеко не закончилась...

Когда я пересказал Рубакину мысль Вернадского, он чуть заметно усмехнулся.

— Да, с наших позиций все легко объяснилось бы. Забота о ближнем или еще что-нибудь. К сожалению, палеолитические люди благотворительностью не занимались. Калек они либо убивали, либо бросали на произвол судьбы, что равносильно смерти.

Рубакин вытер платком взмокший от жары лоб, прихлебнул пива и, не очень заботясь о последовательности, заявил:

— И все-таки мне кажется, что сучанская пещера — это своего рода памятник великой дружбе. Пример...

— Мало вам античных и прочих примеров,— почему-то скептически заметил Березкин.

— Мало,— сказал Рубакин.— Сколько бы их ни набралось — все равно мало. Это ж святое. А в сучанском варианте — еще бог весть какая глубокая древность. Неандертальцы!.. Если мое предположение подтвердится, многое в наших взглядах на отношения людей того времени придется пересмотреть. А пока — вот вам сучанская тайна: какое чудо спасло калеку? Как сумел он, инвалид, просуществовать в тех условиях по меньшей мере еще два десятилетия?

Должен признаться, что версия дружбы, при всей ее привлекательности, не растрогала меня. Я не хочу проводить прямых аналогий, но глубокая привязанность живых существ друг к другу не такое уж редкое явление. И хотя, как я уже говорил, внутренний мир человека резко изменился и усложнился за последние тыся-

челетия, именно дружеские отношения вполне могли возникнуть и среди членов палеолитической орды или племени.

— Собственно, все, что вы говорите, не более чем догадка,— сказал я Рубакину.

— Не совсем так,— живо перебивая меня, возразил он.— Видите ли, оба сучанских человека погибли в схватке. Калека убит одним ударом в область виска, а его товарищу нанесено несколько ударов по черепу. Создается впечатление, что он защищал калеку от нападавших чужеземцев и пал в неравной борьбе.

— Или сам защищался,— сказал Березкин.

— Или сам защищался,— на сей раз покорно согласился Рубакин.— Будь все ясно, мы не стали бы вас беспокоить.

База археологической экспедиции находилась на окраине города на берегу Душанбинки. Мы добирались туда автобусом с полчаса, и я все определеннее думал, что мы не зря согласились побывать в Сучане.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой рассказывается о полете над Пянджем и о первых впечатлениях от сучанской пещеры.

В названии Халаи-Хумб мне всегда чудилось нечто тибетское или гималайское, навеянное книгами о горновосходителях, о снежном человеке,— чудилось нечто загадочное, вневременное...

— Посреди кишлака Халаи-Хумб стоит огромный платан,— прокричал я на ухо Березкину.— Как африканская сейба!

После расследования истории с Черным и Белым Мыслителями Березкин вполне мог сойти за африканиста, и я надеялся, что мое сравнение ему понравится.

— Стоял,— ответил Березкин.— Не стоит, а стоял. Мир неизменен, что ли, по-твоему?

Я, разумеется, ничего подобного никогда не утверждал, а Рубакин, каким-то образом расслышавший наш разговор сквозь грохот вертолетных двигателей, подтвердил:

— Стоит,— и энергично мотнул головой, отбрасывая всякие сомнения.

По-моему, я разглядел крону платана, когда мы подлетали к Халаи-Хумбу, и все-таки спешил на центральную площадь, чтобы проверить и себя и Рубакина. Я нежно думал и о прошлом, и о платане, словно был он для меня символом неизменной преемственности бытия...

Нет, с платаном ничего не случилось. Да и что могло случиться за столь короткий для него срок — за пять лет?... Я отнюдь не считаю платан современником палеолитического человека, но теперь подумал, что его лишь чудом не затоптали конные дружины гуров, боровшиеся в двенадцатом веке с афганской династией газневидов за власть над Бадахшаном. Если бы годнчные кольца деревьев, как монастырские свитки, хранили летопись минувших событий, какую подробную — гордую и безжалостную — историю края рассказал бы платан!

Из окна ошханы, в которую мы зашли пообедать, я смотрел на потемневшую веранду магазина напротив, на затертый до блеска скамеечный многоугольник вокруг дерева, слушал густой шум платана, и, как почти всегда перед началом расследования, было мне и тревожно и грустно.

...У Халаи-Хумба Большой Памирский тракт покидает ущелье Пянджа и поднимается на Дарвазский хребет. Это если ехать от Хорога к Душанбе. Но мы двигались в противоположном направлении, и у Халаи-Хумба Пяндж впервые открылся нам с воздуха. А сейчас, перед взлетом, пока вертолетчики отдыхали в тени фюзеляжа, Пяидж неслышно подползш вплотную к нам и молча, стиснув зубы, покатился мимо... Был он внешне спокоен. Не потому, что медлителен, нет. Он стремителен и там, за горами, где, скрывая какие-то свершения свои, под псевдонимом «Аму-Дарья», пробивается сквозь пустыии, чтобы раствориться, исчезнуть в Аральском море... Ои величаво спокоен потому, что глубок и могуч и может позволить себе недозволенное, а глубина скрадывает, скрывает его бурный и недобрый нрав.

Я ощутил движение Пянджа, темп его жизни и характер его, когда вертолет понесся над ним вверх по теченню.

Одинаковые горы возвышались и справа и слева от нас; одинаковые ущелья рассекали их; одинаковые кишлаки и одинаковые заросли урюка отлетали назад, как в небытие. Справа был Афганистан с рваными лоскутами

полей, с зыбкими оврингами на недоступно крутых склонах, а слева — иной, с иным укладом жизни Бадахшан с пробитой по самому берегу Пянджа широкой дорогой. Пяндж казался мне живым воплощением времени,— все покоряющего и покорного самому себе времени,— его реальным потоком, бессильно бившимся в неодолимо противоречивых, в неодолимо властных берегах-тисках. Нет, время-пяндж здесь не было всемогуще и ничего оно не могло скрыть — ни подводных течений, ни каменистых порогов, ни прошлого и настоящего с их сложными взаимосвязями, с их негромкой, но явной перекличкой. И не время-пяндж направляло свой ход — оно подчинялось неизбежному, оно бежало туда, куда и положено ему,— из прошлого в будущее, и все несло с собой.

А мы, нарушая законы истории, летели из будущего в прошлое, к началу, к истоку времени, почему-то называвшемуся здесь Пянджем, и там, у истока, нас ждала встреча с подвигом: там люди хрупким плечом своим сдвинули в сторону безжалостный поток времени, заставили его посторониться и создали островок вечности с вечными его вневременными тайнами, сквозными проблемами...

Только удастся ли разгадать их?..

Мы не остановились ни в Хороге ни в Сучане. Вертолет точно вышел на лагерь археологов, завис над расчищенной специально для нас площадкой и опустился на нее.

В прошлые годы работа наша обычно складывалась так, что и Березкин и я уже привыкли к неторопливой хроноскопии. Здесь, в Сучане, мы, к сожалению, не имели права долго задерживаться,— я уже говорил, что нас ждут в Ферганской котловине,— и могли позволить себе провести у археологов не более двух-трех дней.

Археологи, гостеприимные и радушные, как почти все экспедиционные работники, предложили нам пообедать и лечь поспать в большой, с подвернутыми краями (чтобы продувало) палатке, но мы предпочли сразу же пойти в пещеру, к раскопу.

— Познакомьтесь с нашим магом,— сказал Рубакин, представляя тощего, с козлиной бородкой человека, неожиданно возникшего перед нами.— Антрополог-чародей. Все знает, все понимает. Специально привезли его сюда из Душанбе. Среди друзей — а мы тут все дру-

зья — чародей для краткости именуется «Три вэ», «Трива». По паспорту он, если не ошибаюсь, Вениамин Вениаминович Вениаминов. Своего сына он тоже назвал Вениамином. Как видите, чувство юмора у них в семье передается по наследству.

«Трива», очевидно, привык к такого рода шуткам и, не обращая внимания на Рубакина, пригласил нас следовать за ним.

— Хорошо, что вы не улеглись отдыхать,— сказал он.— Посмотрите сначала находки, а потом уж никто вас до утра беспокоить не будет. Не знаю, как кому, а мне самые правильные мысли по ночам приходят.

— На полюсе бы вам работать: полгода на Северном, полгода — на Южном,— сказал кто-то сзади, но Трива, не оглянувшись, уже шагал по тропе к пещере.

Вход в пещеру был широк, хорошо заметен, и я даже немножко удивился, что достопримечательности ее не стали известны значительно раньше.

— Обыкновенная история,— сказал Рубакин.— Местные жители — а сучанцы не исключение — относятся к пещерам настороженно, внешне она ничем не привлекала их внимание. А наш брат, ученый, еще бог весть когда осмотрит все интересное, что сохранилось на Земле...

— Лирика — потом,— прервал его Трива.— Прошу сначала выслушать меня, а затем уж высказывать свои суждения.

Последние слова относились к нам, и мы охотно приняли программу Тривы.

— Перед вами — явные неандертальцы,— сказал Трива, наконец-то пропуская нас в пещеру.— Там они, в дальнем углу.

«Явные неандертальцы», достаточно хорошо освещенные, чтобы не подсвечивать фонарями, лежали рядом, очень близко друг к другу. Я почему-то предполагал, что ноги их будут согнуты в коленях и подтянуты к животу, и сначала обратил внимание на эту, несущественную для хроноскопии подробность: ноги неандертальцев, если можно так выразиться, были «разбросаны».

Трива заметил, что именно заинтересовало меня.

— Неандертальцы, судя по всему, еще не знали погребальных обрядов,— сказал он.— Вероятно, они просто зарывали трупы или бросали их и уходили. Вам, наверное, вспомнились какие-нибудь фотографии или же ма-

кеты из исторических музеев. Все они иллюстрируют более поздние события. А теперь, все-таки, слушайте.

— Слушаем,— сказал Березкин, заподозривший, что я могу вновь отвлечь гида.

Но гид отвлекся сам.

— Рубакин, конечно, изложил вам свою альтруистическую версию — дружба, забота о человеке и все такое прочее. Я не философ, я эмпирик, и верю только в эмпирическое знание. Иначе — в точное знание, хотя антропологам далековато до математиков.

— Далековато,— величественно кивнул Березкин, пренебрегший скромностью.

— Итак, факты и только факты. Сейчас вы убедитесь, что я прав, называя этих людей явными неандертальцами,— в руках Тривы появилось что-то вроде указки, больше, впрочем, похожее на длинный ивовый прут.— Обратите внимание на выступающие надглазничные валики, на невысокий свод черепа...

Мы обратили внимание на эти подробности, но ни Березкин, ни я не располагали, как говорится, сравнительным материалом, и потому не могли иметь своего суждения.

— Некоторая, правда, незначительная, искривленность бедренных, лучевых, локтевых костей также свидетельствует, что перед нами неандертальцы...

— Ясно,— сказал Березкин.— Все настолько убедительно, что больше не требуется никаких доказательств. Вы действительно маг и чародей. Но поведайте нам что-нибудь о повреждениях.

— А не запустить ли сразу хроноскоп? Вас же не характер увечий интересует, а происхождение их...

— Все нас интересует,— сказал Березкин.— Не скупитесь на подробности.

— На подробности,— машинально повторил Трива.— Для самого себя — моим коллегам это кажется вульгарным — я называю одного из неандертальцев «Альтруистом», а второго просто «Калекой». Прошу не возражать против моей терминологии — я к ней привык, хотя и не верю, что Альтруист действительно был таковым.

Убедившись, что мы не собираемся возражать, Трива продолжал:

— Альтруист, собственно, мало интересен. Он погиб молодым, и я не обнаружил у него никаких прижизнен-

ных повреждений костей. Ну, а как его убили, вам, конечно, рассказывали. Можете сами осмотреть череп.

Мы опустились на колени у раскопа. Да, на черепе Альтруиста ясно виднелись проломы и разбегающиеся от них трещины.

— Такой же, правда, одиночный, пролом есть и на черепе Калеки,— сказал Трива.— Но пролом — не самое интересное. Обратите внимание на зубы Калеки: они сточены не только сверху, они еще стерты изнутри и как бы вывернуты наружу... Выглядел Калека весьма свирепо.

— Рубакин говорил нам, что Калека потерял руку задолго до смерти...

— Так оно и есть. И кроме того, он сильно хромал: кости правой ноги срослись после перелома очень неровно.

— Веселая картинка,— вздохнул Березкин.— А что вы думаете о его загадочной судьбе?

— Ничего не думаю. Я уже говорил вам, что гадания не по моей части.— Триву, видимо, рассердила наша забывчивость, но Березкин уже размышлял о своем, о хроноскопии, и не обратил внимания на его тон.

— Если вы не возражаете,— сказал Березкин, обращаясь сразу ко всем,— то мы с Вербининым немного побродим по окрестностям. Целый день в вертолете просидели, и сразу — в пещеру...

— Бродите,— согласился Рубакин.— Здесь не заблудитесь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой, после некоторых общих рассуждений, мы проводим стремительную хроноскопию и делаем попытку объяснить загадочную судьбу Калеки.

До прилета к археологам я почему-то полагал, что сучанская пещера расположена в труднодоступном районе Рушанского хребта, вдали от селений. Теперь, убедившись, что это не так, я думал о ее приближенности к сегодняшней жизни, о том, что она принадлежит и современности.

Мы отошли совсем недалеко от пещеры, и с обрыва открылся нам Сучан. Высота скрадывала расстояние, и

казалось, что он совсем рядом, хотя пешком нам пришлось бы добираться до него часа два. Кишлак стоял на конусе выноса какого-то притока Гунта, и все дома его словно наклонились к реке, медленно, но верно сползая в нее... Солнце уже завернуло за противоположную вершину, и резкая синяя тень надвое разделила Сучан. В той его части, что попала в тень, прямоугольные, обмазанные глиной дома горнобадахшанцев сдвинулись, будто надо им было на ночь встать потеснее, а на освещенной половине розовыми бликами играли похожие на перевернутые блюдца окна на плоских крышах, там просторней шумели сады и улицы были шире... На самом берегу Гунта с его подвесным, с провисшими проволочными перилами мостом, одиноко стояло непонятное двухэтажное строение, и было ощущение, что кишлак упирается в него и потому не сползает в Гунт.

— Высокогорный Памир заселялся, конечно, снизу, с равнины,— сказал Березкин, таким образом подытоживая какие-то свои раздумья.

— Несомненно,— ответил я.— Люди поднимались по берегам и заселяли речные долины. И боролись за них с новыми пришельцами. Обособленность горцев привела к тому, что горные таджики по некоторым племенным особенностям подразделяются на язгулемцев, ванчцев, или рушанцев, как здесь, на Гунте, в долинах Рушанского хребта...

— Я не о том,— перебил меня Березкин.— Просто орда неандертальцев пришла сюда тем же путем, каким прилетели мы. Хорошо, конечно, что в Сучане вызревают яблоки и вишни, но выжить тут труднее, чем на равнине. Тем загадочнее судьба Калеки. Понимаешь, шансы его на жизнь уменьшались с каждым шагом вверх по долине Пянджа.

— Понимаю,— ответил я.— Но не замечаешь ли ты, что изменил собственной манере: пустился в рассуждения до того, как привел в действие хроноскоп?

На склоне, ниже нас, зеленело небольшое, прильнувшее к ручью картофельное поле, которое обрабатывал пожилой в темной одежде рушанец. Он ходил за волами, морды которых надежно прикрывали от соблазна полакомиться ботвой надвинутые почти на самые глаза корзины, и, орудуя закругленной доской, окучивал картофель. С гор к старику спустилась женщина с узкой пло-

сходонной сплетенной из лозняка корзиной за спиной. Теперь они сидели на берегу ручья и размачивали в нем, прежде чем откусить, плоские и жесткие, похожие на лаваш, лепешки ноннтаурн,— ужинали.

— Видишь, и сейчас эта лепешка достается здесь труднее, чем на равнинах,— сказал Березкин и тоном приказа добавил: — поднимайся. Я тоже устал, но мне хочется хоть немного поработать сегодня. Ты прав — пора переходить к хроноскопии.

Сотрудники Рубакина оказались людьми сдержанными. Я даже заподозрил, что они не очень-то заинтересованы в хроноскопии останков, и лишь Рубакина по-настоящему волновали предстоящие расследования.

— Я как раз не эмпирик,— чуть виноватым тоном, подразумевая Триву, сказал он нам.— Я больше философ, и так мне хочется во всем разобраться...

Против обыкновения, Березкин остался у экрана хроноскопа, а меня отправил с «электронным глазом» в пещеру...

— Начнешь с челюстей Калеки,— напутствовал он меня.— Точнее — с зубов. Особых открытий тут не предвидится, но будем последовательны.

За долгую нашу практику я привык первым получать информацию от хроноскопа, наблюдая за событиями на экране, и в какой-то степени дирижировать ходом расследования, хотя последнее, пожалуй, сказано слишком сильно. Теперь же я наводил «электронный глаз» на череп неандертальца, вернее, на нижнюю часть лица, и знал, что импульсы идут к хроноскопу, и что они уже переработаны им и спроецированы на экран, но я ничего не видел, ничего не знал, и меня это злило,— было такое ощущение, что за спиной моей кто-то вершит нечто интересное, а я, как во сне, не могу обернуться. Бог весть, испытывал ли раньше нечто подобное Березкин, но, словно угадав мои мучения, он вошел в пещеру и сказал, что я могу просмотреть кадры.

— Пока ничего существенного,— добавил он.— И без хроноскопа можно было догадаться, что однорукому приходилось таскать в зубах тяжести.

Да, неясное расплывчатое изображение на экране свидетельствовало лишь об одном: зубы в какой-то степени заменяли Калеке потерянную руку.

— Вы недооцениваете результаты хроноскопии,—

сказал нам Рубакин.— Ведь хроноскоп подтвердил вывод Тривы, что человек долго жил с одной рукой.

— Подтвердил — это хорошо, но хроноскоп создан для первооткрытий, а не для подтверждений,— возразил ему Березкин и безжалостно отправил меня снова в пещеру.— Попытайся установить, как погибли люди,— сказал он мне.

Я работал добросовестно, старался, как умел, но неуютность или даже злость не гасли во мне, и я твердо решил, что в будущем заставлю Березкина чтить сложившиеся традиции, не заставлять меня делать несвойственную моему характеру работу,— и потому, наверное, что я злился, время тянулось удивительно медленно.

В конце концов я погасил «электронный глаз» и вышел из пещеры.

Березкин уже выключил хроноскоп и сосредоточенно курил перед потухшим экраном, забыв обо мне.

— Ну да, удары тяжелыми предметами по голове,— сказал Березкин.— Одному достался один удар, другому — несколько. Вот и вся разница. Нечего даже смотреть.

Я понял Березкина, извинил его за не слишком вежливое поведение, и поверил, что не стоит смотреть малоинтересные кадры. Читатели могли заметить, что я описываю события без пересчета, так сказать, на конечный результат, и потому стараюсь не забегать вперед. И все-таки мне хочется сейчас отметить, что малоинтересные кадры уже на следующий день очень пригодились нам; но в тот поздний вечер ни мы с Березкиным, ни кто-либо другой все равно не сумели бы их правильно интерпретировать.

...Ночью мне не пришло в голову ни одной «правильной», по выражению Тривы, мысли, да и Березкину, как будто, тоже. Посовещавшись утром, мы решили расспросить археологов о всех находках, сделанных в пещере.

— Иногда для хроноскопии важен общий фон,— сказал Березкин.— Детали... они же не сами по себе существуют.

Рубакин согласился немедленно проконсультировать нас, но я все же предпочел сначала взглянуть на кадры убийства.

— Зачем они тебе вдруг понадобились? — недовольно спросил Березкин.

Кадры действительио мало что объясияли: иа округлые предметы — символические головы — опускались продолговатые предметы — символические камеиные топоры, и все. Я обратил виимаиие только иа одиу ие замечеииую вчера подробиость: хроиоскоп подчеркивал, что удары были иесильиыми.

— Прикоичили же обоих,— мягко возразил мие Рубакии, и Березкии, соглашаясь с иим, кивиул.

Я промолчал, и Рубакии приступил к рассказу.

По его словам, культуриый слой в сучаиской пещере оказался маломощиым — похоже даже, что пещера лишь одии раз за все время служила жилищем первобытиому человеку. Археологи иашли в пещере все, что обычио находят иа палеолитических стояиках: кости убитых животиых, золу и уголь, иесколько иуклеусов и миогочислеииые отщепы — свидетельства изготовлеиия камеииых орудий, скребло.

— Для иас, палеолитчиков, все привычио,— сказал Рубакии.— И в то же время есть в культуриом слое сучаиской пещеры нечто особениое. Я бы определил это особеииое словом «иитеисивиость». Поиимаете, слой рассказывает об удачливости охотииков, о постояиио богатой добыче, о сытиой жизии, иакоиец,— по тем времеиам людям жилось тут совсем иеплохо, и потому таким насыщеииым всякими останками получился культурный слой.

— Ты забыл об останках детей,— сказал Трива.— Точиость — так уж точиость.

— Да, в верхием горизоите культуриого слоя, скорее даже иа его поверхиости, иаш маг обиаружил кости, безусловио прииадлежавшие малолетиим детям. Сохраиились оии плохо — детские кости вообще чрезвычайио редко хорошо сохраияются,— ио маг уверяет, что одиовремеиио погибло четверо ребят, едва вышедших из грудиого возраста.

— Гибель детей, гибель Альтруиста и Калеки, бегство из пещеры — это все сиихроиио? — спросил Березкин.

— Сиихроиио, по всей видимости. Или почти сиихроиио. Иитервалы в иесколько месяцев выделять мы ие умеем.

— Зиаю, что ие умеете,— сказал Березкии.— Тут и хроиоскоп ие поможет. А кроме скребла, вы иашли хоть какие-иибудь готовые камеииые орудия?

— Всего-иавсего одии топор. Люди того времеии, коиечио, ие разбрасывались такого рода предметами — слишком трудио оии доставались.

— Где лежал топор?

— Рядом с Альтруистом...

Березкии тихо застоиал.

— Как же вы ие сообразили все оставить иа месте?!

— Н-да,— смущеиио протяиул Рубакии,— ио сперва мы и ие думали о хроиоскопии. Потом уж вспомиили о вас.

Археологи, видимо, почувствовав свою вииу, иемедлеиио притащили иам топор — продолговатый обрубок кремия,— храиившийся у иих отдельио от прочих иаходок. Но, честио говоря, мы с Березкиным ие зиали, что с иим делать теперь.

— Вы помиите, где ои лежал?

— Прииесите фотографии,— вместо ответа распорядился Рубакии, и одии из коллекторов тотчас скрылся в палатке.

Топор лежал у головы Альтруиста, мертвая кисть иеаидéртальца так и ие выпустила топорища.

— Бился до коица,— сказал кто-то из молодых помощииков Рубакииа, повторяя версию своего иачальиика.

— Это мы уже слышали,— Березкии посмотрел иа топор и иеожидаино подмигиул мие.— Слушай, а почему бы иам ие пошутить? Вот я сейчас возьму и докажу, что Калека убит топором Альтруиста. Пусть-ка хроиоскоп посмеет закапризиичать и ие подчииитьcя моей воле!

— Пошути,— улыбиулся я, ио Рубакии с откровеииым иедоумеиием пожал плечами:

— Вы же так дорожите времеием! — укоризнеиио сказал ои.

Но мы все равио уже зашли в тупик.

Березкии сформулировал задаиие хроиоскопу, и иа этот раз сам отправился в пещеру.

Все вели себя у хроиоскопа ио-разиому. Я пытался шутить. Рубакии терпеливо ждал, пока пройдет иаша блажь, а Трива отиесся к идее Березкииа заиитересоваиио.

Я перестал шутить, когда иа экраие возиикла символическая (Березкии ие стремился к точиости изображеиия) фигура Калеки, и иа голову его опустился топор.

Тот самый топор, который до последнего вздоха сжимал в руке Альтрунст.

Березкин почти тотчас выбрался из пещеры, иасвистывая иезиакомый мие легкомыслеиный мотивчик, и перестал свистеть, лишь заметив неудомеииые выражеиия иаших лиц.

— Этого не может быть,— зло сказал ему Рубакнн.— Этого ие может быть, и все тут. Да, да! Если хроноскоп подчиияется вашей воле, то представляю себе, сколько вы уже привиеслн в науку абракадабры!

Березкин прослушал всю тираду спокойио, хотя ои, как и все мы, впрочем, любнт критику весьма умерениой любовью. Он повторил уже просмотреиные нами кадры и присвистиул.

— Я и сам этого ие ожидал,— прнзнался ои.— Сейчас же повторю все сиачала. Ты понимаешь хоть что-иибудь? — обратился он ко мие.

— Что летит коицепция иашего гостепрнимного хозяииа — поиимаю, ои — тоже. Потому н нервничает. А мы иа сей раз чисты как младенцы — никакого собственного мнения!

Мы тщательио, с учетом всех мыслимых случайиостей, переформулировали задание хроиоскопу, и Березкии убежал в пещеру.

Но как ин нзощрялнсь мы, чтобы опровергиуть первый результат хроиоскопнн, у иас иичего ие получнлось: хроиоскоп вновь и виовь подтверждал, что Калека убнт топором Альтруиста.

Рубакии, коиечно, всерьез не подозревал иас в насилни иад хроиоскопом, что исключалось ие только иашими правилами расследованя, но и объективиымн особеииостями прибора.

— Типичиая картнна,— безжалостио подвел нтоги Трива.— На развалинах фнлософскнх концепцнй торжествует эмпирика!

Ннкто, одиако, не отклнкнулся на эту, справедливую в даииой ситуацин, сентеицию,— всем почему-то стало не по себе от результатов хроиоскопии.

— Какой смысл? — неизвестио кого спросил Рубакни.— Какой смысл?!

— Какой смысл, что лев бросается иа льва, а тигр — на тигра? Стихня!

— Эмпнрнка,— поправнли Трнву помощникн Рубаки-

иа, ио иикому не захотелось продолжать разговор в таком тоие.

От нас не требовалн скоропалнтельных объяснений. В тайие я уже подумывал о работе в Фергаиской котловнне, когда Березкнн сказал, обращаясь ко мне, но так, чтобы слышалн все:

— Я говорнл тебе: «каждый шаг по долнне Пянджа прнблнжал Калеку к смерти». Какая ерунда! Каждый шаг утверждал его право на жнзнь, на уваженне соплемеиинков, ставнл нх — здоровых — в завнснмость от иего, ннвалида!

Никто не перебивал Березкнна, но ои вдруг умолк и довольио долго.сндел, опустнв голову иа рукн.

— Еслн не ошибаюсь, неандертальцы хронологнческн подразделяются аитропологами на группы? — Березкнн вопросительно посмотрел на Трнву.

— Конечно. Более древннх мы называем «классическнми», а более поздинх — «сапиентными» иеандертальцами, то есть разумиыми.

— Нашн...

— Я уже перечислял вам иеандерталондиые прнзиаки, но у иих нмеются н сапнентные черты. Вертнкальиый лоб, иапример, большие глазинцы...

— Переходный тнп? — спроснл Березкни.

— Да, они прямые предшественииикн Человека разумного, нас с вами.

— Вот я и подумал, что лншь превосходство в уме, зианннях и наблюдательностн могло обеспечить Калеке достойиое место в орде. По каким-то прнчннам орда уходила все дальше в горы, в иезиакомые и трудные для жизии места. Не только фнзнческая мощь здоровых, но и разум Калекн потребовался тогда орде. Почтн бесспорно, что еще до схватки, в которой его нскалечили, ои успел выделиться средн соплемеиников, и они сохранили ему жнзнь.

— Логнчио, ио чистая фнлософня,— сказал Трнва.— Да и логнка кончается в самом иачале историн. Потом онн же его и прикоичнли.

— Нет, ие онн,— жестко возразнл Рубакнн.— Я уверен, что Калека н Альтрунст пали под ударамн одного н того же топора. Топор не прииадлежал Альтрунсту, вот в чем дело.

— Сейчас провернм,— сказал Березкин.— Совсем ие

исключено, что вы правы. Альтруиста следовало сразу же вслед за Калекой подвергнуть хроноскопии.

Березкин подошел к хроноскопу, поколдовал возле него, и отправился к пещере.

— Случай простой,— сказал он по пути.— Результат получим тотчас же.

Хроноскопия не подтвердила предположения Рубакина: изображения черепа Альтруиста и каменного топора на экране не совместились.

— Убийца — Альтруист,— лаконично подвел итоги Березкин.

— Но вы противоречите сами себе,— не отступал Рубакин. Вы же сами утверждали, что лишь торжество разума помогло выжить Калеке!

— Я не отказываюсь от своих слов, но вы почему-то начисто исключаете резкое изменение обстановки.

— Сегодня утром никто не захотел прислушаться к моим словам,— вмешался я в разговор.— Но, если верить хроноскопу, удары наносились людьми ослабленными. Именно ослабленными. Не мне вам растолковывать, что неандертальцы обладали огромной физической силой.

— Да, вот эта особенность их рук — короткое предплечье и длинное плечо — свидетельствует о большой силе,— согласился со мной Трива.

— Голод,— сказал я.— Голод после долгого благополучия взорвал уже сложившиеся внутриордовые отношения. Останки грудных детей — лишнее доказательство тому. По-моему, Калека был убит Альтруистом после неудачной (очередной неудачной!) охоты. Вспышка слепой злобы, взмах топором и... точное попадание в висок.

— Но кто убил...— спрашивавший словно споткнулся,— Альтруиста?

— Его же сородичи. Что еще можно предположить? Причем тут же, немедленно. Непосредственная реакция. И бросили их в пещере. Бросили, между прочим, и буквально — вспомните положение ног. И может быть, засыпали землей, а может быть, нет. И ушли из пещеры навсегда...

— А какова мораль сей басни? — спросил загрустивший Рубакин.

— Все мораль бы тебе,— сказал Трива.— Элементарное торжество эмпирики.

Не исключено, что мы еще кое в чем разобрались бы, не прикати за нами два обкомовских «газика».

— У нас лекция в Хороге,— вздохнул Рубакин.

...Ночью Гунт — у Сучана он бурный, грозный — поднялся высоко в горы, почти к самому лагерю,— шум его наполнил палатку, и воздух от этого стал гуще, плотнее и прохладней. Посторонние мысли утонули в Гуите, унеслись вместе с его волнами туда, к Пянджу, над которым нам вновь, уже в обратном направлении, предстояло пролететь завтра. «В обратном направлении» — значит параллельно потоку, значит из прошлого в будущее, в согласии с потоком времени.

«Но какую крупицу знания принесем мы вместе с Пянджем будущему? — думал я.— Неужели только примитивную историю столкновения человека с человеком?»

Я поймал себя на этом словосочетании — «примитивная история», и оно резануло меня. Если здесь, в пещере, пусть много тысячелетий тому назад, вспыхнула и угасла искра сознания, то так ли уж это примитивно? Если разумный человек пал здесь под ударом каменного топора, то можно ли усматривать в подобном факте примитивную историю? И мало ли таких историй унесло и скрыло в Аральском море время-пяндж? И мало ли их запечатлено в незримых свитках платана из Халан-Хумба? Рассуждения мои перенеслись и в более близкое прошлое, в котором всяческие топоры опускались на головы гениальных людей, но я заставил вернуться себя к сучанской пещере.

Отчетливо увидел я в темноте хромого грузного калеку с культей вместо правой руки, с вывернутыми, торчащими из-за толстых губ зубами,— калеку, смотрящего на меня из тьмы ночи, как из тьмы тысячелетий, настороженными мудрыми глазами.

Трагическая судьба гения? И так можно все истолковать, но в течение двух десятилетий судьба гения складывалась счастливо, а не трагично,— его почитали соплеменники, они по-своему заботились о нем, и он получал свою кость с мясом. Не исключено, что Калека был первым из гениев, добившимся прижизненного признания.

«Признание». Слово это повисло передо мной в темноте и чуть засветилось слабым фосфоресцирующим светом. Теперь я видел только его и думал только о нем —

о признании. Не признательность слабого за брошенную плохо обглоданную кость, а признание слабейшего, признание Калеки за знание, за разум... В самом слове «признание» угадывается торжество разума, знания, его оценка, способность и умение дорожить им.

Вот что главное в истории орды: суровые обстоятельства заставили их ценить знания, дорожить ими,— они хранили его, как огонь в лозняковых обмазанных глиной корзинах,— а знание воплощалось в Калеке.

Если так, если я прав, то сучанская история — неосознаваемая, конечно, ее участниками история борьбы за право человека называться Человеком Разумным,— история борьбы за нас, за сегодняшний день. Не просто знание — знают и животные, а сохранение и накопление знания,— вот что отличает Человека Разумного, Хомо Сапиенс, от всех его предшественников. И потом — сознательное использование знания, разумное использование. Здесь, в ущельях Пяиджа и Гуита, сначала завязался, а потом был разрублен едва заметный, но столь важный для истории человечества узелок, здесь человек попытался подняться во весь рост.

И поднялся. И упал, чтобы снова подняться. И снова упасть. И передать все-таки нам, бесконечно далеким потомкам, эстафету разума. И передать нам в наследство столь трудное звание — Человек Разумный.

Тогда, в пещере, соплеменники Калеки инстинктивно отомстили Альтрунсту за утрату знания,— так же, наверное, они отомстили бы за утрату огня. Они лишь учились ценить знание, и потому оставили лежать рядом носителя знания и истребителя его, а сами ушли из пещеры и исчезли без следа.

Ниточка оттуда, из небратской могилы Калеки и Альтруиста, легко протягивалась в иные эпохи, в иные места, но я прервал полет фантазии.

Я стал размышлять о конкретном: я пытался угадать, как отнесутся к моей версии наши товарищи по расследованию...

„*Кара*-
СЕРДАР“

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой я безмятежно провожу время на восточном берегу Каспия, и даже разговоры о каменных скульптурах Горного Мангышлака ничуть не затрагивают моего воображения.

Спалось в палатке великолепно, как в те невозвратимые годы первых экспедиций, когда ничего не требовалось молодости, кроме неба, ветра да радостно встречающего тебя темного от росы коня.

Утром было солнечно, и сквозь голубой парус откинутого полога виделся мне синий Каспий, ослепительно белый пляж, на который вползали буро-зеленые растрепанные плети растений.

Голубой парус на мгновение перечеркнула приземистая фигура.

— Прибившийся к нам искусствовед,— сказал мой сосед по палатке; сосед лежал во вкладыше, выставив наружу коричневые плечи, и смотрел прямо перед собой.

Я промолчал, потому что тоже «прибился» к экспедиции: жену привели на Мангышлак служебные дела, а я приехал вместе с ней, чтобы увидеть Каспий и отдохнуть от города.

— Вы слышали, с какой идеей носится искусствовед? — сосед уже выбрался из вкладыша и натягивал на тугую грудь майку.— Уверяет, что открыл в Горном Мангышлаке, на Каратау, скульптурные произведения эрсари. Впрочем, он весьма щепетилен и говорить об искусстве эрсари не любит. Хочет сначала все досконально изучить, а потом уж поразить мир,— мой сосед улыбнулся.— Одному туда не добраться, вот он и ездит второй год с геологами.

— Вы тоже видели скульптуры? — спросил я равнодушно, никак не выражая своего отношения, да у меня и не было никакого «отношения».

— Формы выветривания там действительно причудливые,— сказал мой сосед.— Но едва ли к скалам прикасалась рука человека. Все можно объяснить гораздо проще. Например, особенностями меловых пород альбского возраста: в них включены очень твердые, разнообразные конкреции, которые теперь вынесены на поверхность.

После завтрака геологи уехали в поселок Ералы отбнрать образцы горных пород в кериохраиилище, н в лагере остались только дежурный и мы с искусствоведом. Искусствовед — невысокий кореиастый человек с ослепнтельио сияющей на солице лысой головой — сам представнлся мне:

— Евгеинй Васильевнч Варламов.— И добавнл: — можио просто Евгеинй.

«Просто Евгеинй» эиергичио тряхиул мою руку и весьма категорнчно предложил мне пройтись вдоль берега.

— Все равно онн раньше трех-четырех не вернутся,— сказал он о геологах.

Я охотио прннял предложеине, н мы вышлн за пределы лагеря.

— Говорят, вы нашлн любопытные скульптуры на Каратау? — спроснл я.

Евгеннй подскочнл н мне даже показалось, что, раздуваясь от негодовання, ои на иекоторое время повнс в воздухе.

— И вам уже проболтались?!

Я смущеино смотрел себе под иоги иа белый скелет рака, запутавшийся в высохшей белесой тиие.

— Надеюсь, вы ие будете распростраияться о скульптурах в свонх сочиеииях? — смягчаясь, спросил он н, уловнв краем глаза мой робкий кивок, зашагал дальше по пружнняшей тние.

Кнлометрах в двух от лагеря розово-голубой уступ — чник — почти вплотиую подступил к морю. Мы шлн вдоль уреза воды, обходя высохшне трупы тюлеией и распугнвая водяиых ужей; над нами кружилнсь стрижи и ласточки, но я больше смотрел иа песок со следамн ночных обитателей н почему-то думал, что восточный орнамент н даже буквы арабского алфавита художиикам подсказали причудливые следы животиых, поутру еще ие тронутые ветром.

Евгеиий, молча шагавший впереди, наконец остаиовился и сел на обломок мергеля, скатившнйся с чннка. Другне, более крупные обломкн лежали в море, н в узкнх пролнвах между ннмн качалнсь рыжне водоросли. Евгеннй сбросил полукеды и опустил иогн в холодную воду. Я последовал его примеру.

— Вообще-то вы слыхали про эрсарн? — спросил

Евгений и, не дожидаясь ответа, сказал: — Это одно из туркменских племен, населявших Мангышлак до семнадцатого века.

— И вы нашли их следы?

— Следы их искать не надо. Это не вашн фантастические антаркты,— саркастнчески заметил Евгений, намекая на мой очерк «Найти и не сдаваться».— Эрсари — историческая реальность, зафикснрованная в документах. Тут все точно. Загадка — скульптуры. Как никак, а вероисповедание эрсарн — ислам суннитского толка. Ни скульптура, нн живопись не поощрялись...

Из глубины моря выплыл коричневато-зеленый водяной уж с таким же коричневато-зеленым бычком в пасти. Уж плыл прямо к нам, н я подумал, что было бы неплохо, еслн бы всякие человеческне тайны вот так же кто-то прнноснл к нашнм ногам. Я пристально следил за ужом, который, нзящно нзвиваясь, стремился к нам, пытаясь преодолеть нешнрокую н несильную полосу прибоя, н желал ему успеха. Вдруг нахлынувшая с моря волна смыла ужа с его бычком-тайной, и тайна исчезла в рыжнх водорослях.

Тогда я откинулся на спину, лег на песок, стнрая с него таннственные ночные иероглифы, н стал следить за ласточками н стрнжамн, выписывающимн на плотном полотне неба еще более замысловатые письмена. Я не мог прочитать их. И может быть, впервые после того как мы с Березкнным занялнсь хроноскопней, я радовался, что письмена недоступны мне, что мне не надо нх расшифровывать, что достаточно просто чувствовать спиной сухое и доброе тепло песка и просто следить за мастерамн, колдующнми в поднебесье.

— Вы обещалн ннгде не упоминать про искусство эрсарн,— напомннл Евгений, когда мы вернулись в лагерь, и я искренне подтвердил свою готовность молчать до гробовой доски.

Вечером геологи решнли «лучнть» кефаль — бить ее острогамн при свете факелов,— н чнсто практические заботы поглотнлн все лагерные, и мон в том числе, интересы. Специалисты доказывали, что для факелов требуется асбест, пропитанный соляркой, а в экспедиции не нашлось ни асбеста, ни солярки. Тогда решили заменить асбест тряпками, а солярку — смесью машнннного масла с бензином, н переругалнсь из-за пропорций. Я в спор

не вмешивался и меланхолично размышлял о вреде излишних знаний и излишней специализации. Когда же спорящие все-таки пришли к соглашению, я передал в распоряжение рыбоколов свои кеды и остался на берегу, устроившись на вьючном ящике рядом с Евгением.

Над черной водой факел пылал оранжево-красным огнем и, пока он был близко, от него бежала к берегу рыжая дорожка; потом факел втянул в себя дорожку, отгородившись от берега черной полосой, и раздвоился: один факел светил теперь сверху, а другой — снизу, из воды, и они смешались и перепутались, и нельзя было понять, какой из них действительно светит.

— Все-таки я покажу вам штуку, которую никому не показывал,— неожиданно сказал мне Евгений.

Он зажег фонарь и осветил свою ладонь.

— Смотрите.

На его ладони лежала небольшая фигурка с собачьей головой.

Я так и сказал:

— Собака.

— Шакал,— поправил Евгений.— Туркмены считали, что к шакалам переходят грехи людей, и потому шакалы плачут по ночам. Я сначала принял этот вариант, и решил, что нашел талисман. Но потом... Знаете вы, что такое «таб»?

Я не знал, что такое таб.

— Это прообраз современных шашек, игра древних египтян. Фигурами служили головы шакалов.

— Ничего не понимаю.

— Я нашел несколько шакальих фигурок на Каратау. И еще я нашел там, на скале, записанное арабской вязью имя — Кара-Сердар. Любопытно, что имя заключено в картуш, в овал. Так писали свои имена фараоны Древнего Египта.

— Но вы говорите, что эрсари жили на Мангышлаке в средние века...

— Вот именно. Кстати, Кара-Сердар в переводе — «Черный Военачальник».

Евгений подкинул голову шакала, ловко поймал ее в темноте, и сказал:

— Пошел спать.

Я остался на берегу, следил за раздвоившимся факелом, и мысли мои крутились вокруг каменных скульптур,

шакалов, картушей, кара-сердаров, но потом сосредоточились на кефалях — очень уж мне хотелось, чтобы они благополучно удрали от наших рыбоколов.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой рассказывается о нашем переезде к подножью Каратау и о моем первом знакомстве с необычными формами рельефа, или загадочными скульптурами.

Всю ночь в сонном моем мозгу, как морская галька, скрипело-перекатывалось слово «кара». Кара-тау, Кара-Сердар... Нетрудио было догадаться, что прозвище военачальиика прямо связано с его владеииями — Чериыми горами, н я почему-то упорио размышлял об этом простейшем обстоятельстве, а ие о гораздо более важиом событни — открытии искусства народа эрсари. Я просиулся и, сиова засыпая, случайиым усилием сдвииул скрипящую гальку в стороиу, она ушла от меия, и тогда я подумал, что среди скульптур есть, навериое, и портрет Кара-Сердара.

Не берусь объяснить, почему мне пришла эта мысль: утром я сообразил, что не знаю даже, имел ли Кара-Сердар отиошение к эрсари.

Евгеиия мой вопрос рассердил.

— Что он вам дался? — спросил Евгеиий.— Не иитересует меня вовсе Кара-Сердар! Скорее всего ои — эрсариец, ио ие ои же создавал скульптуры!

— Вы правы, конечно,— согласился я, ио профессиоиальио все-таки запомнил Кара-Сердара и даже отвел ему в своей памяти особую «полочку»: тут уж я ничего ие мог с собой поделать.

А соразмериость событий постепеиио восстановилась: мысли об нскусстве эрсари вытесиили все прочие. Не рискуя досаждать Евгению, я размышлял о загадочиой камеииой культуре «Мазма», обиаруженной перуаицем Русо в Андах Южиой Америки, об аитарктической культуре, открытой Морисом Вийоиом н Щербатовым,— размышлял обо всем этом и откровенио завидовал Евгению.

Коиечно, Каратау — ие Аитарктида и ие Аиды. Но до последиего времеии, пока не иашли иа Маигышлаке промышленные запасы иефти, виутренние райоиы его посе-

щались экспедициями нечасто, а искусствоведы туда вообще не наведывались.

Но что привело на Каратау Евгения?

Он не сразу ответил на мой вопрос, и мне подумалось, что ему хочется сказать нечто патетическое о предвидении, о предчувствии и т. п., но он молчал.

— Усталость,— Евгений виновато улыбнулся.— Посоветовали мне изменить обстановку, отдохнуть. А вместо отдыха... Второй уж год заведенный хожу.

Вечером я с радостью услышал, что через день экспедиция перебазируется к подножью Каратау. А когда этот день наступил, я почувствовал, что становлюсь таким же «заведенным», как Евгений.

Чудеса начались сразу же, едва мы пересекли Степной Мангышлак и приблизились к чинкам. За Джетыбаем изрезанные временем чинки вдруг показались мне гигантскими цветными кальмарами, возлежащими на беломраморных постаментах, а оплывшие холмы из олигоценовых глин напомнили беломорские луды... Я и потом продолжал путаться в своих ощущениях и впечатлениях, но по равнодушному виду Евгения догадывался, что ни «кальмары», ни «луды» его не интересуют и главное — впереди.

Главного мы в тот день не увидели, и только у поселка Куйбышево Евгений немного оживился.

— Сейчас покажу вам «летающие блюдца»,— загадочно сказал он.

И действительно показал: на невысоком сером холме, окруженном непривычно зеленой для полупустынн могильной травой, лежали причудливые каменные конкреции,— геометрически правильные, похожие на жернова. Круги, увенчанные куполообразными «кабинами», держались на сужающихся книзу «ногах».

— Это и есть...— осторожно начал я.

— В принципе — да,— вмешался в разговор мой сосед по палатке.

— Нет, конечно! — Евгения покоробило наше невежество, и он хлопнул ладонью по шоферской кабинке.— Поехали!

Лагерь мы разбили в урочище Тущебек, на берегу ручья. Палатки поставить не успели, потому что приехали в темноте, и я спал на раскладушке под высокой ивой с печально опущенными ветвями.

Проснулся я с первыми признаками зари и ушел из лагеря, чтобы осмотреться. На вершине невысокого холма мое внимание привлекло неподвижное темное изваяние. Уже вполне подготовленный к встрече с чудесами, я пошел к скульптуре, но «скульптура» поднялась мне навстречу.

— И вам не спится? — спросил Евгений.— Как вы думаете, даст мне начальство сегодня машину?

Евгений не ждал от меня ответа, и снова опустился на землю.

— Давайте посидим и послушаем,— предложил он.

Я воспринял «послушаем» как вежливую форму «помолчим» и, не садясь, стал смотреть на постепенно светлеющие склоны Каратау,— в сумерках он казался неприступным бастионом, и лишь сай, по которому протекал ручей, нарушал его монолитность,— смотрел на кишлак, на разгорающиеся очаги у его серых домов, на кладбище с невысокими мазарами и вертикально поставленными плоскими камнями-надгробьями,— смотрел на все это и вдруг стал слышать тихий шум времени, идущий к нам из бесконечного далека...

Евгений провел ладонями по лицу и резко поднялся.

— Пошли! — сказал он и побежал вниз к уже проснувшемуся лагерю.

В распоряжении нашей экспедиции находились две машины «ГАЗ-63». После завтрака одну из них предоставили в распоряжение Евгения. Поглощенный своими заботами, он все же вспомнил обо мне.

— Вы — со мной?

— Если позволите...

— Полезайте в кузов.

Евгений — с картами, с планшетками — сел в кабину.

Я мог ориентироваться только приблизительно: к северу Каратау, к югу — Актау, а мы — посередине,— и смутно представляю себе, в каких конкретных пунктах побывал во время первой поездки. Евгений действовал по заранее продуманному плану и почти не обращал на меня внимания.

Однажды машина почему-то остановилась, и в окне появилась сияющая лысина Евгения.

— Обратите внимание на эту горку,— Евгений показал на вершину, напоминающую пирамиду с размытой маковкой.— Называется — Отпан. Высшая точка Запад-

ного Каратау. Есть легенда, что в недрах Отпана похоронен Кара-Сердар... Вы взяли бинокль? Тогда посмотрите виимательно на склоиы.

Я навел бинокль на Отпан и легко различил целый лес вертикально поставленных камней.

— Кладбище? — вспомнив свои утренние иаблюдения, спросил я.

— Не совсем. Точнее, символическое кладбище. Видите ли, вообще туркмены изывают вот такие, воткиутые в землю иеотесаиные камии, «меигирами». Но здесь — особые меигиры. Скорее всего это «балбалы», статуи врагов, убитых покойником. Едва ли я ошибаюсь. А по количеству балбалы нетрудно заключить, что был Кара-Сердар на редкость удачливым воином, жестоким и беспощадным к побежденным. Отсюда и прозвище — «Черный»...

Отводя бинокль от склонов Отпана, я мыслеино согласился с версией Евгения и отказался от своей чисто внешней аналогии Каратау — Кара-Сердар. Для себя я отметил, что Евгений все же интересовался Кара-Сердаром, хотя и отрицал это.

В следующий раз машииа остаиовилась у бегемота. У камеииого бегемота, конечно. Зверь, прилагая к тому колоссальные безнадежные усилия, пытался вскарабкаться по крутому склону иа вершину холма.

— Вот вам зоогеографическая загадка,— сказал Евгений.— Откуда взялся гиппопотам?

Я выпрыгнул из машины и подошел к камеиному изваянию.

Когда великого французского скульптора Родэна спросили, как он высекает свои скульптуры, тот ответил, что берет глыбу мрамора и удаляет все лишнее.

Я ие сомневался, что передо мной конкреция, вымытая из альбских меловых пород, о которых говорил мой сосед по палатке; стало быть, природа сама позаботилась о «заготовке» для иеведомого скульптора; тому пришлось убрать совсем немиого «лишнего», чтобы камениая болваика превратилась в могучего бегемота.

— Ну-с, что вы скажете?

Я иичего не сказал, а попросил показать мие еще какие-нибудь фигуры.

— Это иарушает мои сегодияшиие плаиы,— Евгеиий несколько секуид, хмуря густые брови, смотрел куда-то

мимо меня, потом достал карту.— Хотнте взгляиуть на человеческую голову?

«Газ-63» свериул с дорогн и, подскакивая иа альбских коикрециях, медлеиио пополз по холмам; иезагружеииую машииу кндало здорово, меия подбрасывало вместе со скамейкой, н глядеть по сторонам было недосуг.

Накоиец Евгеиий остановил грузовик и подвел меия к скульптуре, ошибиться в смысле которой, пожалуй, иикто бы ие сумел: перед иами иа сером склоие холма, уходя шеей и затылком в землю, торчала голова чииовника — самодовольного толстого чиновника, льстеца и самодура, ии одиому слову, ни одному жесту которого иельзя было верить. Именно эту черту — не верьте, остерегайтесь! — выделял, подчеркивал таииствеиный художинк, предупреждая, иаверное, своих соотечествеиников и нас.

И снова я видел, что рука скульптора — талаитливого скульптора! — лишь изящио уточиила образ, самой природой как бы заложеииый в камениую глыбу.

— Какое чувство матернала! — иевольно вырвалось у меия.— Поразнтельно!

Мой восторг не оставил Евгения равиодушным. Он забросил свои плаиы, и машнна заметалась по пустыие. Жнвотиые, условные человеческне фигуры, «массовые сцеиы» из миогих коикреций забивали — и забили — мие голову, мешая хоть в чем-либо разобраться. Но, поиимая, что рекогносцировка не может преследовать аналитнческие цели, я полностью положился иа Евгения.

Уже за полдень, когда все порядочио устали, машииа, развериувшись в стороиу Каратау, остаиовилась иа вершние холма: перед иами высились стены и бастиоиы крепости.

— Курганчи,— сказал Евгений.— Крепость по-туркменски. А на самом деле — склоиы Каратау. Но кажется, что и иад ними поработали люди, сделалн их более грозиыми и иеприступными. Там и иашел я имя Кара-Сердара в картуше. Сходнм?

Уговаривать меия не пришлось, н мы иеторопливо пошли вверх по саю, стнсиутому бастиоиамн. Да, по такому саю иелегко было подииматься атакующим — он скорее походнл на ловушку. И газнн, воииы-защнтиики крепостн, без нзлншннх потерь, наверное, расправлялнсь с протнвииком.

— Еще в прошлом году я тут облазнл все, что смог,—

сказал Евгеиий.— И зиаете, почти ие иашел следов человека. Вот еще одна из загадок. Безусловио, что где-то здесь, на Каратау, иаходился юрт, престол Кара-Сердара. Поиятио, что ие сохранились следы от кара-ой, времеииых жилищ туркмеиов. Но нет и тамов, а глииобитые тамы могли бы уцелеть, развалиины их хотя бы...

Я слушал Евгеиия, ио приглядывался к окружающему, и меия удивляло большое количество сорияков — коровяка, осота — среди полупустыиной растительности. А сорияки, как говорят агрономы,— спутиики человека. Зиачит, раиьше тут действительио жили люди. Просто сорияки почему-то оказались долговечиее и кара-ой, и тамов.

Со стекляииым звоном осыпался под иашими кедами мелкобитый слаиец, когда мы вышли, наконец, к почти отвесной скале.

— Смотрите,— сказал Евгеиий.

Картуш иаходился на недосягаемой для иас высоте, ио и простым глазом я хорошо различил сложную, как иочиые следы на песке, арабскую вязь.

— Кара-Сердар,— сказал Евгений и подкинул-поймал шакалью голову.

— Египетский картуш, египетская фигурка... Но туркмеиы играли в шахматы и вполне может быть...

— Нет. Шакал — не туркменская работа,— Евгеиий спрятал фигурку в карман.— Я консультировался.

— По-моему, вы хотите убедить меия, что следы Кара-Сердара иужно искать в Египте. Кстати, мы с Березкиным собираемся туда осенью.

— Ни в чем я вас не убеждаю! — резко сказал Евгеиий.— Моя печаль — искусство эрсари. А Кара-Сердар... Скорее всего он тут все прикрыл и разгромил. Ясио же, что скульптуры создаиы за очень короткий срок. Кара-Сердар! Нашли о ком говорить. И вообще мы не делом занимаемся.

Чувствуя себя виноватым, я робко намекнул Евгеиию, что если ему потребуется хроноскоп...

— Обойдемся без электроники,— лакоиичио ответил ои.

Откровеино говоря, психологическая иесовместимость с Евгением иемного раздражала меия. Я поимал, что ои увлечеи и возбужден важиым открытием, что ему хочется как можио скорее прочитать еще иикем не прочитаииую

страницу прошлого, но в тот день я твердо решил устраниться от всяких забот, связанных с искусством эрсари.

«В конце концов, у нас и своих дел достаточно»,— думал я о себе и Березкине, совершенно не подозревая, что случайно сказанная мной фраза о Египте окажется пророческой и что мне еще придется вернуться на Мангышлак во всеоружии хроноскопических методов и знаний.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой коротко рассказывается о первой международной экспедиции с участием хроноскопистов и о некоторых незначительных находках в Долине Царей, определивших направление наших дальнейших поисков.

Нас с Березкиным пригласили в Египет вскоре после того, как организованная ЮНЕСКО международная археологическая экспедиция открыла в Долине Царей и ее окрестностях несколько новых гробниц, одна из которых, судя по местоположению и царственным знакам, принадлежала фараону Нового Царства Сенурсету Первому.

Возможность провести хроноскопию гробниц до того как специалисты все рассортируют и разложат по полочкам, разумеется, прельщала нас, но согласились мы на этот шаг не без нажима со стороны президиума Академии: оба мы очень хорошо понимали меру ответственности, ложащейся на наши плечи.

Раскопки в Долине Царей прервал летний сезон. Отсрочка до осени нас устроила.

— Распределение обязанностей прежнее, Вербинин,— сказал мне тогда Березкин.— Садись за книги. А мне придется подумать о дополнительной термоизоляции хроноскопа. Как-никак — тропическая пустыня.

Я «сел за книги». Память у меня эмоционального склада, сами по себе факты я запоминаю с трудом, и вообще предпочитаю идти от предмета к книге, а не от книги к предмету. Поэтому на Мангышлак я отправился с легким сердцем, зная, что бегство мое вреда принесет немного, а в Египте нам гарантирована помощь специалистов.

Египет властно ворвался в мои раздумья в одну из последних ночей, проведенных в Тущебеке. Все в лагере

спали. Капли звезд лучились в матово-черном небе; звенели лягушки. Я слушал лягушачьи трели, смотрел на качающиеся звезды и пытался представить самого себя рядом с пирамидой или сфинксом, пытался предугадать, какое впечатление произведет на меня искусство древних египтян, увиденное в подлинниках.

...Плавание от Одессы до Александрии я запомнил как непрерывную качку, но не на морских волнах, а на волнах времени с особыми формами «морской болезни».

День отплытия был солнечным, с легким осенним туманом, от которого чуть серебрились дали и влажной казалась оранжевая листва на деревьях. На газонах жгли собранные в кучи листья; волглые, с росинками, они горели плохо, больше дымили, и легкий ветерок разносил запах дыма по всему городу. Пустые пляжи, пустое море. А вечером — отход. Темный пирс. С борта машут ослепительно белые, подсвеченные прожекторами руки. Из Рима передают репортаж о футбольном матче на Кубок Европы. Пенальти в наши ворота... Мяч отбит...

Мяч отбит, а мы по скату волны полетели в древнеримскую эпоху. Констанца. Милый город, как милы, очевидно, почти все города, в которых сохранилось хотя бы несколько античных камней и неизмеримо больше — всяческих воспоминаний и легенд. Очень повезло константичанам, что некогда грустил на их берегах Публий Овидий Назон, грустил и писал свои «Скорбные стихотворения», или «Скорби», как назвали сборник на Руси. Стоит сейчас Овидий на площади перед Ратушей — бритоголовый, еще не старый — стоит лицом к морю, но море загорожено домами. Возле памятника растут желтые «анютины глазки»; на цветах — серые и мелкие, как на Мангышлаке, мотыльки.

И — гребень новой волны: Стамбул, в прошлом Константинополь, в прошлом Царьград. Средние века.

Оттуда, от города, возникшего на месте греческой колонии Византия, мы, как в пропасть, ухнули в Древнюю Грецию, Пирей, Афины. Вот там-то и сказалась качка, там навалилась на меня «морская болезнь». Я растерялся у всемирно известных памятников, растерялся профессионально, как хроноскопист. Все было так грандиозно, величаво и сложно, что я со своим электронным прибором чувствовал себя жалким, потерянным. Я бродил по Акрополю, Парфенону, оскальзывался на отполированных по-

дошвами известняковых плитах, между которыми все-таки умудрились прорасти мелкие одуванчики, следил за бабочками-крапивницами, кружившимися у колонн, и с ужасом думал о Египте... Вечером, в портовой таверне, за бокалом зеленовато-желтой, пахнущей смолой рицины, я поведал о своих переживаниях Березкину.

Значительно менее склонный к рефлексиям, чем я, Березкин тоже выглядел растерянным.

— Ничего не поделаешь,— вздохнул он.— Обратно не повернешь...

Утром мы проходили Крит. Сначала я радовался, что хоть на сей раз миновали меня его лабиринты — достаточно с нас прочих лабиринтов,— а потом увидел неожиданное: восточная оконечность Крита некоторое время выглядела копией мыса Лопатка на Камчатке, и мысль моя уцепилась за эту подробность, связала наши прошлые исследования с предстоящими, и сразу стало как-то спокойнее.

Я остался у борта, смотрел на густо-синюю средиземноморскую воду, на которой вспыхивали чисто-голубые, живущие лишь мгновение, штрихи-полоски, и думал о быстротечном и о вечном, о том, что и в Египте быстротечное — человеческие судьбы — помогут нам приблизиться к вечному...

Волны времени еще несколько раз подбросили меня и Березкина: Александрия напомнила об Александре Македонском, в Каире, у пирамид Гизе, мы опустились на три тысячи лет «ниже» нашей эры, а в Луксоре и в Долине Царей взмыли на полторы тысячи лет вверх от уровня пирамид и там надолго задержались.

Руководитель экспедиции ЮНЕСКО мистер Роллс и его коллеги встретили нас в Луксоре на вокзале. Нам любезно предложили сразу же отправиться в отель отдохнуть, но Березкин категорически отказался и пошел сам наблюдать за выгрузкой машины с хроноскопом. Мистер Роллс последовал за ним, а я вышел на привокзальную площадь.

К моим услугам тотчас оказалось несколько маленьких такси, несколько открытых пролеток, масса продавцов скарабеев, нефертити, тутанхамонов и прочих «антиков», но я вежливо отклонил все предложения. Мне хотелось повнимательнее присмотреться к городу, в котором предстояло некоторое время жить, и я даже сделал

попытку пройтись по площади. Безуспешную, впрочем, попытку: торговцы ничуть не сомневались, что я не устою и куплю у них древности вчерашнего производства. Если бы они знали, что есть у нас такая странная штука — хроноскоп!

Экспедиция, в распоряжение которой мы прибыли, расположилась не в фешенебельных отелях, что выстроились шеренгой вдоль набережной Нила, а в сравнительно дешевой и старой гостинице «Луксор», заняв первый этаж со всеми его коридорами, комнатами и подсобными помещениями.

Нам с Березкиным предоставили двухместный номер с широким окном в сад, и мы, наконец, смогли умыться и переодеться после дороги.

Вечером новые знакомые пригласили нас в ресторан при гостинице. В дальнем углу официанты сдвинули несколько столиков, на столиках появились виски, содовая вода, местные сухие вина «Омар Хаям» и «Клеопатра», и мы отлично провели вечер, слушая рассказы археологов.

Здесь я должен сделать одну оговорку. В мои планы не входит подробное изложение результатов, полученных экспедицией, и даже рассказ о собственных впечатлениях. Видимо, я еще не раз вернусь к нашей работе в Египте, но в этом очерке я буду писать только о том, что имеет непосредственное отношение к теме, о которой читатель, должно быть, уже догадывается.

Во время небольшой паузы, неизбежной при всяком долгом разговоре, я сказал мистеру Роллсу, что совсем недавно приобщился к египетской истории в Азии, имея в виду арабскую надпись, заключенную в картуш, и фигурки для игры в таб.

Мистер Роллс, пожилой мужчина с узким сухим лицом, с некоторым удивлением посмотрел на меня и пожевал тонкими губами.

— Странно, что в Азии,— сказал он.— Здесь, в Египте, нам известны такие фокусы с картушем. Судя по всему, их проделывали самые дерзкие из грабителей, проникавших в гробницы фараонов и номархов. А может быть, всего-навсего один из них, самый нахальный. Мы обнаружили две такие росписи, и еще две нашли египтологи до нас. И все в горах Деир-эль-Бахри, вокруг Долины Царей.

— Вы прочитали нмя? — не без волнения спросил я.

— Разумеется. Во всех четырех случаях оно одно и то же — Ибрагим.

— Ибрагим,— повторил я, думая о Кара-Сердаре.— Нет, на Мангышлаке — совсем другое.

— Оно и понятно,— кивнул мистер Роллс.— Что же тут общего, кроме нахального стремления выдать себя за царственную особу?

Я согласился с ним и перевел разговор на другую тему.

Ночью я почти не спал. Наверное, потому, что громко и настойчиво кричал в саду козодой.

Утром мы переправились на левый берег Нила, в «страну мертвых», по верованиям древних египтян. Не без труда и не без опасений за исход предприятия мы поднялн машину с хроноскопом на крутой берег реки.

Дальше все пошло как по маслу: к Долине Царей ведет ныне отличная асфальтированная дорога, и мы лихо прокатились по ней, минуя деревни и плантации сахарного тростника, обгоняя ишаков и верблюдов.

Но когда сине-фиолетовое шоссе врезалось в матово-желтый массив Деир-эль-Бахрн, я перестал обращать внимание на дорожную суету. Я смотрел на холмы Деир-эль-Бахри и видел «заготовки» для сфинксов, «заготовкн» для бегемотов,— казалось, чуть тронь их человеческая рука... и вспомнил, конечно, Каратау...

Березкин с любопытством оглядывался по сторонам, не подозревая о моем состоянии — он же не был на Мангышлаке! А я, внутренне подобравшись, стал подобен пружине, готовой мгновенно развернуться и вонзиться в склоны Деир-эль-Бахри, чтобы вырвать у них тайны.

В ранние и поздние часы вход в Долину Царей запрещен — сокровища ее тщательно охраняются,— но сотрудники нашей экспедиции имели специальные пропуска, и темные железные ворота распахнулись перед нами.

Первые несколько часов мы посвятили осмотру всемирно известных гробниц-сиринг Рамзеса Шестого и Рамзеса Девятого, Сети Первого и Тутанхамона, а потом начались рабочие буднн.

Впрочем, еще несколько предварительных слов. «Сиринга» — слово греческое. В буквальном переводе оно означает «пастушеская свирель»: пастухи в Древней

Грецнн нграли иа длинных свирелях,— и длннные узкне тоииели египетскнх фараонов показались соотечествеиникам пастухов похожнмн на их музыкальиые инструменты. Внешие мелкая эта подробиость означает, одиако, что древиие грекн отлично ознакомились с устройством царскнх захоронений н позаботились, чтобы драгоцениости, хранившиеся в иих, не лежали втуие. Об этом же, еще до древиих греков, заботилнсь древиие египтяие, и что, кому и когда досталось, теперь уже едва ли устаиовишь. Не случайио, ученый мир как сеисацню воспринял открытне Картером и лордом Кариарвоном почти иетронутой гробннцы Тутанхамона.

Гробинцу фараона Сенурсета Первого, открытую мистером Роллсом и его коллегамн, тоже иеодиократио посещали цеинтели нскусств, не спрашивая иа то разрешения властей, н сохраинлся там только пустой саркофаг (если ие счнтать велнколепиых настеиных фресок: в прошлые времена онн ценнлнсь иевысоко, да н унести нх было непросто).

В тонкости дела иас заранее посвятнл мистер Роллс, и мы с Березкииым ие ожндали иичего необычного, когда подошли к сирииге Сеиурсета Первого, у входа в которую дежурили два высокнх почти черных иубийца с ритуальными иасечками на скулах.

Гробиицы Долиины Царей, открытые для туристов, хоть н прнмитивно, но все-таки оборудованы: кое-где вырублеиы ступенн, местамн уложеиы доски с поперечиыми перекладииами, иастлаиы мостнкн иад колодцами-ловушками, накоиец, с интервалом метров в пятьдесят повешеиы светящиеся в полнакала лампочкн.

Сирннга Сеиурсета Первого была еще первозданна, если иметь в виду иитересы туристов, а для нас первое посещение ее как раз н было турнстскнм — обзорным.

Мы с Березкиным переступили черный, на глаз прохладиый овал входа и, повииуясь желтым лучам фонарей, ощупывая кедами скалистый пол, медленно двинулись вниз по снрннге.

— Осторожией,— предупреждали гиды.— Колодец.— И фонари направляли нас к хрупким досточкам, перекииутым через иего.

— Держитесь левее,— потом говорнлн гиды.— Направо — ложиый ход...

Мы спустились в погребальиый зал благополучно,

ничего не повредив себе. Но как избегали гибели или увечий визитеры в древности?! Избегали, однако.

На обратном пути фонарь мистера Роллса метнулся от пола к стене и вырвал из мрака картуш с арабской вязью.

— Ибрагим? — спросил я.

— Ибрагим,— кивнул мистер Роллс.— Но рядом еще одна надпись — иероглифами. Временна́я дистанция между ними — примерно три тысячи лет. А надпись — богохульная, вот что удивительно, мистер Вербинин.

Весть о богохульстве древнего египтянина не произвела на меня никакого впечатления,— я с волнением смотрел на картуш с именем «Ибрагим» и думал, что мы обязательно подвергнем его хроноскопии. К чему это приведет и даже для чего это нужно, я бы не смог объяснить. Ведь картуш Каратау я рассматривал лишь своими несовершенными глазами, и не сделал — да и не мог сделать — никаких выводов. Но я уже много раз писал, что значит для меня интуиция.

Вот почему, не отвлекаясь от основной работы, ради которой мы с Березкиным приехали в Египет, я тщательно исследовал с помощью «электронного глаза» все четыре картуша — и в Долине Царей, и за ее пределами, на кладбище древнеегипетских вельмож.

В двух словах, мы установили следующее.

Прежде чем расписа́ть стены гробниц, египетские мастера покрывали их орнаментальной штукатуркой и уже по ней рисовали и вырезали ритуальные сцены. Но случалось им работать и по камню, а иногда стены сиринг просто оставлялись в первозданном виде с неприкрытыми следами стамесок и долотьев.

В трех гробницах таинственный Ибрагим врезал свое имя в штукатурку, а в одном случае — начертил красным грифелем на скале.

Что один и тот же «Ибрагим» резал по штукатурке, хроноскоп установил сразу же. С грифельным вариантом нам пришлось повозиться, и ясного ответа мы не получили. Но едва ли есть основания сомневаться, что грифель держала рука того же Ибрагима — уверенная рука сильного молодого человека.

— Уж не собираешься ли ты махнуть на Ма́нгышлак? — не без иронии спросил меня Березкин, когда я закончил хроноскопию.

Нет, конечно, я ие собирался иа Мангышлак до завершения работ в Египте, да и нечего там делать зимой, но я знал теперь, что иаверняка вернусь иа Каратау.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой я занимаюсь литературными изысканиями и выясняю некоторые подробности истории Хивииского ханства в семиадцатом веке, а на сцеие вновь появляется Евгеиий Варламов.

Мы вериулись в Москву только в марте следующего года,— вернулись прокаленные тропическим солицем, коричневые, уставшие, ио чрезвычайио довольные проделаиной работой. Март, к сожалению, выдался сырым, промозглым, и иекоторое время мы с Березкиным провели в горизонтальиом положении — свалили грипп и усталость. Я почти круглосуточно спал, а в редкие часы бодрствования просматривал старые газеты.

Но постепеиио втянулся в работу. Не очень, правда, утруждая себя, я листал разные киижки, имеющие отношеиие к средневековой истории Средней Азии. Не скрою, что мие хотелось обиаружить в литературе имя Кара-Сердара, ио я лишь приблизительио мог представить себе время его жизии. Арабы вторглись в Среднюю Азию в середине седьмого века. Эрсари покинули Мангышлак в семнадцатом. Тысяча лет!

Мие повезло. В числе первых книг я просмотрел «Родословное древо тюрков», иаписаиное хивинским хаиом Абульгази-Бохадуром, и в довольно близком соседстве встретил заинтриговавшие меня имена: Ибрагим и Кара-Сердар! Разумеется, совпадение взволиовало меия, но я не спешил делать заключеиия. Во-первых, Ибрагим слишком распространеииое иа мусульманском востоке имя, чтобы ухватиться за него как за нить Ариадиы. Во-вторых, я обиаружил такую подробиость. Имя Ибрагим встречалось иа страиицах, иаписаииых самим Абульгази-Бохадур-хаиом. Имя же или прозвище «Кара-Сердар» — в заключительиых главах, прииадлежащих перу Аиуша-хаиа, сыиа Абульгази, который и довел «родословное древо» до 1665 года.

В тексте вполне отчетливо проявлялось отношение обоих сочинителей к Ибрагиму и Кара-Сердару.

Абульгази писал (это всего несколько строк) о Ибрагиме злобно-пренебрежительно, называя его по-туркменски «кул», то есть раб, и даже сообщал своим будущим читателям, что продал Ибрагима туркменам за два харвара зерна (буквально — «ослиная ноша»,— вес, который мог поднять один осел). После рассказа об этой сделке Абульгази еще трижды упоминает Ибрагима, извергая в его адрес всяческие угрозы.

Ануша-хан писал о Кара-Сердаре как о самом опасном враге Хивы, писал без симпатии, но с невольным уважением. Он свидетельствовал, что Кара-Сердару покорны и эрсари, и солоры, и чоудоры, и икдыры, и соинаджи,— короче говоря, все туркменские племена, населявшие в то время Мангышлак; что каждый год Кара-Сердар собирает в своей юрте Большой Маслахат, совет, на который от всех племен съезжаются «лучшие люди», якшилар, и принятые на маслахате решения считаются обязательными для всех. С раздражением сообщал Ануша-хан о двух массовых уходах райят — подвластных Хиве туркменов — к Кара-Сердару; о том, что отовсюду стекаются к Кара-Сердару самые опытные уммали, специалисты-гидротехники, как сказали бы мы теперь; что сам персидский шах направлял к нему посольства; что целые караваны верблюдов, груженых тулаками, мешками с нефтью, несколько раз в году уходят в Персию и возвращаются оттуда с оружием и тканями... Абульгази сначала удавалось договариваться с колтоманами, разбойниками, и они грабили караваны Кара-Сердара, но потом и колтоманы присмирели...

На страницах Ануша-хана, посвященных Кара-Сердару, всплыло еще одно имя — Казан-бек. Ануша-хан писал о нем как о приближенном Кара-Сердара, но не скрывал, что Абульгази поддерживал с ним некие таинственные взаимоотношения.

Можно предположить, что и сам Ануша-хан, заняв престол отца, продолжал интересоваться не только Кара-Сердаром, но и Казан-беком,— особенно последним, наверное.

Кстати, об авторах «Родословного древа тюрок». И отец, и сын — отнюдь не мелкие князьки, время от времени пописывающие исторические сочинения для собст-

венного развлечения. И отец, и сын известны в истории Средней Азии как видные государственные деятели и выдающиеся писатели-историки.

Про Абульгази-Бохадур-хана известно, что родился он в 1603 году и в отрочестве был соправителем своего брата в Ургенче. Времена тогда были смутные — то какой-нибудь Али-Кули-хан шел на Кули-Али-хана, то наоборот,— и однажды Абульгази пришлось бежать из Ургенча: хивинским ханством вместо него стал править Исфендияр-хан, посаженный на престол туркменскими нукерами. Абульгази долгие годы провел в скитаниях и в плену у персов. На родину он вернулся умудренным опытом сорокалетним мужем и сумел овладеть престолом. А ровно через двадцать лет он возвел на престол собственного сына, о котором известно, пожалуй, меньше, чем об отце. Не сохранились ни дата его рождения, ни дата смерти. Достоверно лишь, что он много строил — восстанавливал города, прокладывал каналы,— а кончил трагически: в 1685 году его свергли с престола и ослепили.

Итак, общий исторический фон я представлял себе достаточно отчетливо.

Но ни скульптура эрсари, ни картуш египетских фараонов в него не вписывались. Нетрудно догадаться, что мысль моя металась между Египтом и Мангышлаком, что возводил я весьма эффективные, но совершенно ненадежные воздушные мосты между ними. Решить что-либо без дополнительного материала было практически невозможно.

Мой мангышлакский друг Евгений Варламов к весне перестал быть монопольным владельцем эрсарийской тайны,— он сделал несколько докладов, каменной скульптурой заинтересовались и другие специалисты. Совместными усилиями им удалось организовать небольшую историко-искусствоведческую экспедицию. Ее возглавил Евгений Васильевич Варламов, который теперь уже не просил называть его «просто Евгений» и держался весьма солидно.

Свои летние работы мы с Березкиным собирались проводить в Средней Азии и поэтому предложили искусствоведам свои услуги. Варламов, к моему удивлению, охотно согласился. Очевидно, его отношение к «электронике» несколько изменилось. Он даже любезно разре-

шил нам подвергнуть хроноскопии фигурки для игры в таб, но результат получился мало о чем говорящий: хроноскоп установил лишь, что шакальи головы вырезались двумя резчиками, причем одна фигурка вырезана значительно раньше остальных.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

в которой мы, приступив к хроноскопическим исследованиям на Мангышлаке, довольно быстро приходим к неожиданным выводам, опровергающим точку зрения Евгения Варламова.

Сотрудники экспедиции улетели к месту работ обычными рейсовыми самолетами, а для нашего вертолета аэрофлотовские диспетчеры составили особый график, и только на второй день мы добрались до Красноводска. Прежде чем нам разрешили посадку, вертолет сделал круг над Красноводской бухтой, и я не без удивления обнаружил, что врезающийся в море мыс Уфра напоминает очертаниями тувинский Ханрхан; дело тут не в приметах, но я уже писал, что такая «перекличка» пространств и эпох всегда отлично действует на мое настроение и почему-то усиливает веру в успех.

Ночь — нехолодная, малозвездная — прошла в самолетном гуле, а совсем рядом, под окнами гостиницы, подражая реактивным лайнерам, гудели и свистели автобусы-экспрессы.

Вылет нам разрешили в семь утра. Пустыня сверху казалась похожей то на гигантский панцирь черепахи, то на расстеленную шкуру змеи, а иногда оборачивалась темным собольим мехом с просвечивающей теплой желтизной.

В Тущебеке уже шла своя, по-экспедиционному налаженная жизнь, и в лагере мы не застали никого, кроме дежурного, колдовавшего у примусов.

Готовясь к вылету на Мангышлак, я запасся комплектами аэрофотоснимков Каратау, крупномасштабными картами, и еще в Москве пришел к выводу, что некоторые детали рельефа вполне могут быть следами человеческой деятельности.

С визуального — с помощью вертолета — обзора Западного Каратау мы с Березкиным решили начать свою

работу, и уже на следующее утро отправились, как говорят геологи, на «визуалку».

С высоты несколько большей, чем высота птичьего полета, Западный Қаратау представился нам.., как бы поточнее выразиться?.. Представился компактным, монолитным, единым. Я бы даже сказал «внутренне собранным». Вид Қаратау сверху опять натолкнул нас на аналогию с ярко выраженной индивидуальностью. И тогда, во время полета мне пришла в голову несуразная мысль — мысль о... портретном сходстве Қаратау и Қара-Сердара!

Я сказал об этом Березкину, и он, к величайшему моему удивлению, совершенно серьезно ответил:

— И правда, есть что-то похожее,— сказал так, словно действительно может быть портретное сходство между горным хребтом и человеком!

Березкин протиснулся в кабину пилотов, основательно потеснив при этом штурмана вместе с его подвесным сиденьем, а когда вернулся на исходные позиции, то любезно сообщил мне, что мы летим к картушу.

— Знаешь, хочется мне им заняться, а пилоты не устали,— Березкин запоздало сообразил, что не посоветовался со мной, и теперь оправдывался.

С картушем мы провозились долго. Понимая, как важно заинтересовать вертолетчиков нашим расследованием, мы показали им почти все относящиеся к делу египетские кадры, поделились кое-какими соображениями и, как обычно, обрели себе преданных друзей и помощников.

Мы не скрыли и своей тайной надежды связать дела египетские с делами мангышлакскими, и впятером напряженно следили за экраном (Березкин его тоже видел, хотя и работал с «электронным глазом»). А экран — точнее, хроноскоп — «бузил»; увы, не подберу более точного слова.

(Я ничего не сказал о задании, но, по-моему, читателю ясно: мы пытались установить тождество — или наоборот — личности, вписавшей свое имя в картуш фараона в Египте, с личностью, то же самое проделавшей на Мангышлаке).

Хроноскоп не капризный прибор, но всякий аппарат, типологически сходный с хроноскопом, дает ответы категорические — «да» или «нет». А различные «вероятно»,

«не исключено», «можно предположнть», «как будто бы, но...»,— такие варнанты, по сути дела, исключаются, и теперь свое «отношение» к заданию хроноскоп выражал отказом интерпретировать матернал.

Внешне все выглядело следующнм образом. Мы сначала воспроизвели на экране молодого сильного египтянина, уверенно вычерчивающего по штукатурке свое имя — «Ибрагим». Понятно, что хроноскоп не мог определить ни национальность «егнптяннна», ни цвет его кожи. Он определнл лишь одно: арабскую вязь в гробницах Деир-эль-Бахри выводнла не рука писца-профессионала, а рука, хотя решительная и твердая, но неумелая в письме.

Здесь же, на Каратау, хроноскоп выдал нам изображение немолодого и несильного человека, но при характеристике имени-надписи «Кара-Сердар» подчеркнул профессионализм писавшей руки.

«Буза» началась, когда мы попытались совместить образы. Как ни переиначивал заданя Березкнн, как не пытался он навести хроноскоп на определенное решение, аппарат с удивительной принципиальностью отказывался дать четкий ответ,— ни «да», нн «нет»!

Вспыхнвали на экране сцены, которые, по прежнему опыту, воспринимались нами как сцены совмещения образов; но потом следовали сцены разлада, переходящие в непрерывный поток мелкодрожащих зеленоватых линий, и надежды наши рушились.

Хроноскоп оставил вопрос открытым, оставив его открытым н для нас.

Искусствоведам мы лншь в самых общих чертах поведали о нашей рекогносцнровке, сведя разговор к следам человеческой деятельностн на Каратау: мы показалн нм редкие и плохо сохранившиеся остатки селенний, тропинки, упирающиеся в скалы или странно повнсающие над обрывамн, контуры водохранилищ и маленьких водоемов-хаузов, которые обычно выкапывались возле жилнщ. Горы и саи Каратау, безусловно, таили немало загадочного, но нас ннтересовала одна загадка — скульптура эрсари.

Свою раскладушку я вновь поставил под той печальной ивой, под которой спал в прошлом году перед путешествием в Египет; лучистые капли звезд по-прежнему раскачнвалнсь в матово-черном небе, н по-прежнему

упрямо, на одной ноте, звенели мангышлакские лягушкн. Несколько прохладных вечерних часов сняли дневную усталость, и спать мне не хотелось.

В кратком описанни своего путешествия в Египет я постарался обратнть внимание читателей на скалы, похожие на «заготовки» для сфинксов, бегемотов. Но однажды, поднявшись на вершину у въезда в Долнну Царей, я с удивлением обнаружил, что, подобно Гулливеру в царстве лилипутов, шествую по фантастическому природному музею: на крутых склонах лежали вынесенные из почвы на поверхность сливные кремнистые конкреции. Выгоревшне до рыжего цвета, они на изломах были матово-коричневыми, а следы выпавшнх, ранее случайно вмонтированных в ннх деталей, придавали конкрециям вид необычный. Я обнаружил в «музее» миниатюрного — в мужскую ладонь,— но могучего, по замыслу художника, быка с низко опущенной головой и мощной холкой; я нашел там скупо вылепленного человека — овал с лицом, вырезанным с искуснейшей небрежностью; нашел символы египетских богов...

Я стремительио скатился в Долнну Царей и заставил Березкина,— мысль о неожиданном открытии казалась мне вполне реальной!

Меня ждало жестокое разочарование: нет, в данном случае рука человека не помогала природе, природа созидала сама, н не исключено, что именно такими своими произведениямн она навела однажды первого художника на мысль, что и он способен творить!

Я боялся за наш завтрашний день,— вы поннмаете, почему я боялся н почему завндовал Березкнну, заснувшему в тот же момент, как его голова коснулась подушки.

Утром мне не хотелось вставать. Шумел ручей, шумели деревья над головой, гуделн примусы. Было в их нестройном шуме что-то такое, что поглощало все радиоволны, нсходнвшне из моего мозга и входнвшие в него,— шум выключил меня нз внешнего мира, увел за его пределы, но ннчего не скрыл от моего потустороннего взгляда. Ни ветра, ни птиц, нн предстоящих сегодня дел, которыми мне совершенно не хотелось заниматься. А потом из шума выплыла прнтча, н я увидел ее всю дословно: «Пришел Заяц к реке. Река широкая, бурная. Течет прямо в море. Стал Заяц думать: плыть в море или

не плыть?.. Долго думал, к самой воде подошел. «Плыть или не плыть?» Столкнул Заяц в воду бревно, сел на него и опять думает: «Плыть или не плыть?» Волны подхватили бревно вместе с Зайцем, вынесли на середину, и вот уже видно море. Плывет Заяц и все думает: «Может, не плыть?»

Бог весть, где и когда прочитал я притчу, но теперь она возвратила меня к действительности. Проделав в спальном мешке несколько лишенных всякой элегантности движений, я выбрался из него в приличном по экспедиционным понятиям виде.

— Буддизм это великолепно,— сказал мне Березкин, проявивший трогательную догадливость.— Нирвана и прочее... А заработок вертолетчиков, между прочим, зависит от количества часов, проведенных в воздухе.

— Через десять минут буду готов,— сказал я.

Тот день запомнился мне как успешный и полный неожиданностей.

Разумеется, лишь условно можно назвать неожиданностью то обстоятельство, что хроноскопия первой же фигуры,— я говорю о бегемоте,— подтвердила обработку альбских конкреций рукою человека; прямой аналогии с хроноскопией египетских конкреций можно было опасаться лишь в нервно-возбужденном состоянии.

Евгений Васильевич Варламов поверил нашему анализу с легкостью, на которую способен только человек, заранее убежденный, что так и должно случиться.

Мы проработали без отдыха до позднего вечера, хроноскопируя самые различные конкреции, и устали так, что подчас мне думалось, что мы, люди, выдержим, но хроноскоп откажется работать.

Хроноскоп тоже выдержал. И он подтвердил, что многие альбские конкреции обработаны рукой человека или, говоря точнее, доработаны человеком.

Поздно ночью, когда после обильного ужина весь лагерь спал, я растолкал Березкина и шепотом попросил его пойти за мной. Я заранее подготовился к отпору сонного человека, но сонный человек лишь спросил:

— Неужели я заснул?

Мне пришлось подтвердить, что с ним это случилось. Соблюдая тишину, мы поднялись по склону Тущебека к хроноскопу.

Березкин открыл своим ключом дверцу вертолета и,

ни о чем не спрашивая меня, принялся колдовать у хроноскопа.

— Совмещаю Кара-Сердара со скульптором,— сказал он.— Смотри!

Я не сразу понял, какую именно фигуру выбрал для совмещения Березкин, но мгновенно убедился, что к картушу и альбской конкреции прикасалась одна н та же рука. (По какому-то почтн снмволнческому совпадению Березкин начал с бегемота).

Вот тут и произошло действительно неожиданное: хроноскоп утверждал, что обследованные нами фигуры обрабатывала та же рука, которая вывела картуш и арабскую вязь на почтн неприступной скале Каратау,— все фигуры, подчеркиваю!

— Представляю, как обрадуется Варламов,— только н сумел сказать я.

Березкин смотрел на меня растерянно.

— Не повторить ли все сначала? — спроснл он.

— Разумнее завтра продолжить хроноскопию еще не исследованных фигур, и затем снова все проанализировать. А пока — молчок!

Да, молчок!.. Снмпатичная гипотеза Варламова о каменной скульптуре эрсари трещала по всем швам. Но оповещать его об этом было еще рано.

Дальнейшую хроноскопию мы с Березкиным вели как бы в двух планах: один план для всех, другой — для себя. Расслоения этого ннкто не замечал, и тут нам своеобразную помощь оказывал Варламов. Хроноскопическое подтверждение реальности скульпторов-художников, творившнх на Каратау, окончательно утвердило Варламова в бесспорностн его открытня, а «утверждение» сработало трнвиально,— бывшнй «просто Евгений» стал еще более категорнчен в сужденнях, он не размышлял, он изрекал, невольно подавляя своих коллег. Парадоксально, но на этом безаппеляцнонно-скучном фоне нам работалось легче н проще, н мы по-особому оценили «помощь» Варламова, когда прнметнлн насторожившие нас подробности.

Хроноскоп все определеннее подчеркивал, что альбские конкреции в нх настоящем внде — творение и природы, и человека, что созданы онн в своеобразном соавторстве. Но ориентируя хроноскоп на выявленную ночью генеральную линию расследования,— ее экрани-

зация воспринималась зрителями как досадные помехи,— мы обнаружили, что хроноскоп не во всех случаях безусловно подтверждает авторство одного и того же человека. Но и не отрицает полностью. Получалась чуть ли не такая же мешанина, как при совмещении Кара-Сердара с таинственным египтянином из Долины Царей: что-то сходится, что-то не сходится.

Чтобы завершить расследование, нам требовалось уединиться, и мы нашли предлог. Я сказал Варламову и его коллегам, что нам необходимо еще раз визуально осмотреть весь Западный Каратау. Варламов тоже захотел осмотреть Каратау с воздуха, но я весьма энергично заявил, что интересы хроноскопии требуют нашего индивидуального вылета.

— Возьмем его,— Березкин положил мне руку на плечо.— Знаешь, как антипод он может нам пригодиться.

— Антипод? В каком смысле — антипод? — Варламов нас, разумеется, не понял, но, на всякий случай, сказал: — Прошу выбирать выражения!

— Выбирать нам сегодня предстоит нечто более сложное,— сказал Березкин.— Полезайте в вертолет.

Мы перелетели через ближайшую скалистую гряду, и пилот, повинуясь указанию Березкина, посадил вертолет на относительно ровную площадку.

— Надолго мы здесь? — спросил командир вертолета.

— На весь день,— ответил Березкин.— Полетов сегодня больше не предвидится. Знаю, что вам надо налетать семьдесят часов в месяц, норму вы выполните. А сейчас продолжим расследование. То самое, что начали у картуша...

— У какого картуша? — вскинулся Варламов.— У моего?

— У картуша Кара-Сердара,— спокойно ответил Березкин.— Мы летали туда.— И, обращаясь снова к вертолетчикам, продолжил свою мысль: — Нам предстоит разобраться в наблюдениях весьма сложных. Но мы с Вербининым настроились на один определенный лад, а Евгений Васильевич — совсем на другой. Будем считать, что вы — младенцы, устами которых заглаголет истина. Согласны?

Вертолетчики заулыбались, мысленно представив себя младенцами-оракулами, и сказали, что согласны.

Более не вдаваясь ни в какие подробности, Березкин

сформулировал хроноскопу задание и, поскольку все кадры были запечатлены в его «памяти», мы удобно устроились перед экраном и приготовились наблюдать.

Итак, мы снова увидели разные фигуры — обработанные рукой человека альбские конкреции,— и снова хроноскоп без особых усилий совмещал руку Кара-Сердара с рукой скульптора. Березкин разъяснил характер хроноскопического анализа Варламову, и тот мгновенно насторожился.

— Уж не хотите ли вы сказать, что все скульптуры созданы одним человеком, и притом — Кара-Сердаром?!

— Вы почти угадали.— Березкин не отрывался от экрана и даже не взглянул в сторону Варламова.

— Но это же невероятно! Одному человеку...

— Непосильно? — перебил Березкин.— Нелегко, не спорю. Но мало ли титанов прошагало по земле. И потом... У нас есть подозрение, что к скульптурам прикасались и другие руки.

Варламов облегченно вздохнул.

— Не сомневаюсь, что десятки эрсаринцев потрудились здесь.

Я промолчал. Березкин — тоже. Он уточнил задание, совмещая неизвестных со скульптором, и хроноскоп вновь «забузил». Мне даже казалось, что хроноскоп испытывал чисто человеческие муки от бессилия прямо и точно сообщить нам свое заключение. Ни да, ни нет... По одним признакам — рука Кара-Сердара. По другим — неизвестного нам, но чем-то похожего на Кара-Сердара человека.

— Нет же, нет! — с мученическим видом сказал Варламов.— Не человека, а человеков! Много их было.

Сам того не подозревая, Варламов подсказал нам новый ход расследования: Березкин не ошибся, пригласив его в качестве «антипода».

Мы специально отделили кадры, в которых Кара-Сердар не совмещался безусловно с рукой скульптора, и наложили эти кадры один на другой. Иначе говоря, мы попытались совместить вероятных, но еще не доказанных хроноскопом скульпторов друг с другом, как бы минуя Кара-Сердара.

Результат получился непредвиденный: предполагаемые скульпторы вообще не совместились; или, точнее, их творческая совместимость между собой была в несколько

раз ниже, чем каждого из них — предполагаемых — с Кара-Сердаром.

— Первое слово — пилотам! — безапелляционно заявил Березкин.

— Не сказал бы, что это наше дело,— командир вертолета выглядел растерянным.— Штурман у нас главный грамотей...

Главный грамотей смотрел на экран необычайно серьезно и чуть грустно.

— Копировальщики,— заключил он.— Разные, но пытались подражать одному и тому же скульптору. Кара-Сердару, скорее всего.

— Не верю! — жестко оборвал его Варламов.— Конечно, всегда были законодатели мод, всегда были мастера, которым подражали, но свести все творчество эрсари... Кощунство!

Я искренне сочувствовал сейчас Варламову. Пусть мы антиподы по характеру, по манере вести себя, по подходу к каратаушской загадке, но по-человечески я понимал, что значит для него крушение концепции — благородной концепции, крушение мечты вернуть человечеству скульптуру эрсари.

— Мы тоже предпочли бы ваш вариант — сказал я,— хотя религиозные обстоятельства поставили его под сомнение еще в прошлом году. Но почему вы не хотите признать, что и наш вариант интересен, что сулит он неожиданное?

— Сравнили,— горько сказал Варламов.— Сравнили! Да и ваш вариант... Не посмеете же вы его за истину выдать?!

— Вы правы,— сказал Березкин.— Не посмеем.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой мы занимаемся выявлением «организующей мысли», а также поисками портретных скульптур и составлением картосхемы своих находок.

Совершив еще несколько облетов Каратау, мы пришли, наконец, к выводу, что нами учтены все или почти все скульптуры. Варламов, несмотря на описанные выше события продолжавший методично работать, тщательно

нанес скульптуры на карту и любезно разрешил нам с Березкиным ее скопировать. Мы не только скопировали карту, но и несколько усовершенствовали копию для себя: я точно сориентировал каждую фигуру, и мне показалось, что есть определенная закономерность в их расположении — фигуры как бы стремились к одному конкретному месту, но как раз там, куда они «стремились», ничего не было.

— А должно быть,— сказал Березкин.— Очень уж чувствуется одна, все организующая мысль. Почти уверен, что найдем там портрет Кара-Сердара.

Варламов только поморщился в ответ на слова Березкина,— у него теперь и на Кара-Сердара сложилась своя точка зрения, не совпадающая с нашей,— но в хроноскопию он не вмешивался.

— Слетаем? — спросил командир вертолета.

Березкин молча кивнул, а я еще раз склонился над картосхемой.

Среди обнаруженных нами портретных скульптур выделялись две — выделялись и размером, и характером исполнения. Об одной из них — угодливом, способном на любую подлость «чиновнике», я уже писал в начале своего очерка. Второй скульптурный портрет внешне был прямой противоположностью первому: рука Кара-Сердара вырезала в скале крепкое лицо воина — жесткое волевое лицо, чуть тронутое улыбкой; не той улыбкой, которая смягчает или озаряет грубые черты лица; наоборот, улыбка делала лицо тоньше, злее, беспощадней.

— Кара-Сердар,— сразу сказал тогда Варламов.— Вот уж действительно, точнее не передашь характер! Помните Отпан с бесчисленными балбалы?

А мы с Березкиным одновременно подумали, что это не Кара-Сердар. Хроноскоп нам ничем не помог. Он лишь показал, что портрет «чиновника» и портрет «воина» созданы Кара-Сердаром, и никакие подмастерья или копировальщики к ним не прикасались. И все-таки... Невероятно трудно объяснить, на чем основывалась наша уверенность, но что перед нами не Кара-Сердар, мы почти знали.

Насколько я себе представляю, мы интуитивно угадывали принципиальную несовместимость художественной натуры с профессией, обязывающей или дающей возможность убивать,— так я сейчас думаю, во всяком случае.

Прозвище «Кара-Сердар» указывало на боевое прошлое. Но оставался ли он в душе воином в то время,— очевидно, на старости лет,— когда создавал свои загадочные скульптуры?

А картосхема обнаружила такую подробность: все скульптуры были ориентированы в сторону Каратау, к странному центру композиции, и только портреты чиновника и воина смотрели в сторону пустыни. Линии, мысленно проведенные от скульптуры к скульптуре, как я уже говорил, стремились к центру; а портретные линии врезались в них противоположно направленным клином.

Мои чертежные упражнения Варламова не заинтересовали.

— Не понимаю, зачем вы теряете время,— сказал он.— Лучше уж действительно слетать в ваш пресловутый «центр».

На сей раз мы послушались мудрого совета,— и вертолет поднялся над Каратау.

Через несколько минут мы уже зависли над тем местом, где на картосхеме сходились все линии.

Там лежал «кальмар». «Кальмар», очень похожий на тех, что видели мы в прошлом году, подъезжая к Каратау; обычная для этих мест форма рельефа, но именно на нее почему-то указывали два сложенных вместе каменных пальца.

Березкину пришла в голову сумасбродная идея.

— Поколдуем,— сказал он.— А вдруг?..

Никто не пришел в восторг от его предложения. Я тоже. Но правила, которых мы с Березкиным придерживаемся, исключают какие бы то ни было протесты. Я нехотя остался у экрана, вертолетчики и Варламов отправились бродить по окрестностям, а Березкин с «электронным глазом» в руках полез по щупальце «кальмара».

Березкин трудился с завидным упорством. Я бы на его месте уже давно сложил оружие, когда на экране хроноскопа появился грубый резец весьма внушительных размеров.

— Стоп! — крикнул я.

Березкин стоял у хорошо обнаженного уступа и удивленно смотрел на меня.

— Человек,— сказал я.— Вернее, орудие человека.

Березкин не побежал к хроноскопу. Он мысленно проследил свой путь по «кальмарьей» щупальце.

— Здесь первозданная порода,— сказал Березкин, показывая на уступ.

Несколько неточно, но Березкин выразил верную мысль: ниже по его маршруту следы человеческой деятельности были стерты ливнями и ветрами.

Теперь мы действовали целеустремленнее — мы шли от обнажения к обнажению, кое-где подчищая их, и ряд анализов подтвердил, что «кальмар» создан не только природой.

Березкин попросил вертолетчиков медленно поднять нас над «кальмаром».

Они выполняли нашу просьбу добросовестно — вертолет еле-еле набирал высоту, пришлось подняться довольно высоко, прежде чем я понял, что под нами не «кальмар», а пятипалая человеческая рука, вонзившая пальцы в скалы Каратау. Это заметил и Березкин, и даже Варламов, и, наверное, вертолетчики; а подъем продолжался, и наступил момент, когда мы вновь увидели единый монолитный Западный Каратау и руку, объединяющую, удерживающую его вершины и склоны; руку, к которой тянулись все созданные Кара-Сердаром фигуры.

Кроме двух, портретных, как вы помните.

В Тущебеке мы вновь встретились с геологами. Они уходили дальше, на Устюрт, и лишь на сутки разбили свой лагерь рядом с нашим.

Выслушав рассказ о проделанной работе, некогда начатой вместе, мой бывший сосед по палатке сказал:

— Еще есть надежда найти Кара-Сердара. Вдруг его прозвище — от цвета кожи, а вовсе не от злодейства? Вам надо полазать по пермо-карбону, он здесь темноцветный.

Как благодарны были мы потом за этот внешне незамысловатый совет!

Да, мы нашли Кара-Сердара! На поиски ушло несколько дней, но все-таки мы нашли его портрет. Вернее, скульптурную группу, ибо Кара-Сердар был не один.

Он изобразил себя так, словно лежал на спине, но тело его не интересовало, все свое художническое внимание он сосредоточил на голове, вернее — на лице.

Немного сужающаяся кверху голова Кара-Сердара неплотно прилегала к скале — она уже откололась от монолита, хотя еще не совсем рассталась с ним. Глаза, в чем Кара-Сердар не проявил оригинальности, смотрели

вдаль мимо всего, что находнлось вокруг; чуть презрнтельно выпяченные губы были плотно сжаты — даже слишком плотно, словно уснлнем воли. Он, Кара-Сердар, уже не был вонном, н я не уверен, что оставался художннком; он был выше н того, и другого, если только можно быть выше художннка; он уже ушел в свой особый мнр, и уже знал, что не вернется из него.

А рядом с Кара-Сердаром, прямо напротнв него, возлежала не очень правнльной формы большущая голова — гораздо больше головы Кара-Сердара,— с одним только ртом: с огромным, ухмыляющимся, готовым квакнуть ртом.

Хроноскопия подтверднла, что скульптура создана Кара-Сердаром.

А на скулах Кара-Сердара мы обнаружили резко обозначенные полосы-насечки.

— Помнишь сторожей-нубнйцев у входа в гробницу Сенурсета? — спросил я у Березкина.

Березкин кнвнул, подтверждая, что помннт рнтуальные насечки на нх лнцах.

Цепь замкнулась, но сразу повернть в это было непросто, и я даже не рискнул произнести окончательный вывод вслух. Березкин — тоже.

Вокруг портрета Кара-Сердара буйно разрослась могильная трава с зеленовато-белыми, без запаха, цветами. Я сорвал несколько веток и положнл возле Кара-Сердара.

Мы тронулнсь в обратный путь уже под вечер; в косых лучах солнца окрестные скалы приобрелн оттенок сухого марганца, а лицо Кара-Сердара, видимо, с поправками на афрнканские ассоциацин, показалось мне черным.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой мы довольио иесложным путем выясияем иекоторые биографические подробиости о Кара-Сердаре и, сопоставив известные нам факты, выясняем причииу художнических «страииостей» последиих лет его жизии.

Итак, совершенно неожнданно правнльно угадал пронсхожденне прозвища мой давний сосед по палатке. Никаких сомнений в африканском прошлом Кара-Сердара

у меня не оставалось, и не оставалось сомнений, что Ибрагим из Долины Царей и Кара-Сердар с Каратау — одно и то же историческое лицо.

Сущий пустяк требовался теперь для завершения исследований: предстояло узнать, каким чудом «осквернитель» гробниц фараонов закончил свою жизнь признанным вождем нескольких туркменских племен.

Помочь отныне могли только книги и архивные материалы, и вскоре мы с Березкиным расстались с Мангышлаком.

Великая вещь — ясная постановка вопроса! После того как отпало предположение об искусстве эрсари и на первый план определенно выдвинулась личность Кара-Сердара, я мог действовать спокойно и целеустремленно.

Березкин, по обыкновению, уклонился от литературных изысканий, а я еще раз просмотрел сочинения Абульгази и Ануша-хана и увлекся интереснейшей книгой под названием «Очерки истории туркменского народа», изданной в Ашхабаде в начале нашего века.

В ней нашел я имя Кара-Сердара и некоторые новые сведения о нем в изложении русского купца Ивана Старовойта.

В самом этом факте нет ничего необычного: русские к тому времени уже более столетия торговали с Хивой, торговые пути шли через Мангышлак, а начинались они на Волге. Туркмены тоже имели свой морской флот — под войлочными парусами плавали по Каспию киржимы, нау, кулазы, но торговые операции осуществлялись все-таки на русских судах, которые назывались «бус». Бусы сплывали в Каспий сразу после волжского ледохода, приходили в гавани Мангышлака к «трухменцам», как говорили тогда, и оттуда купцы отправляли в Хиву так называемых «хабарщиков», торговых вестников. За проход через туркменские владения взималась пошлина, а хабарщиками обычно служили сами туркмены, значительно лучше русских чувствовавшие себя в пустыне.

Бус Старовойта проследовал путем всех прежних бусов, но в дальнейшем судьба купеческой экспедиции сложилась отнюдь не традиционно.

В средние века на Каспии (как и в Западной Европе) действовал феодальный закон «берегового права», согласно которому всякое судно, выброшенное на берег или

погибшее у берегов, переходило в собствеиность приморских жителей вместе со всеми товарами и экипажем.

Бус Старовойта благополучио прибыл иа Маигышлак в порт Қабаклы, ио там неожидаиио был захвачеи местиым князьком, который объявил бус и все товары, что были иа ием, своей собствеииостью. Ничего подобного раньше ие случалось.

Старовойт не первый раз приходил с торговыми целями иа Мангышлак, и знакомые хабарщики рассказали ему, что в страие зреет смута, что хивиицы все время грозят туркменам и теперь караваиы не ходят в Хиву через Маигышлак. Но хабарщики обещали сообщить Қара-Сердару — в таком контексте появляется его имя — о беде Старовойта, и выполиили обещаиие. Прискакавшие с Қаратау иукеры освободили товары Старовойта, наказали самоуправщика, а Старовойта увезли в юрт Қара-Сердара,— купец даже заподозрил, что променял кукушку на ястреба.

В Қаратау Старовойт прибыл в иесчастливый час: у Қара-Сердара издох любимый коиь. Старовойт видел, как обмыли коию голову и копыта, завериули труп в белую ткань и опустили в могилу головой на север. Бахши, поэты-музыкаиты, пели по традиции славу боевому коию, вспомииали его заслуги, а все собравшиеся с тревогой посматривали иа Қара-Сердара и стоявшего рядом с иим невысокого рябого туркмеиа средних лет. Старовойту показалось, что Қара-Сердар хочет что-то сказать иа прощаиье своему коню,— хочет, ио не может и мучается, и шея и щеки его иабухают от огромного, ио бесполезиого усилия. У могилы коия царила иапряжеииая тишина и иикто ие посмел даже вздохиуть, пока Қара-Сердар боролся со страииым приступом немоты.

Миого дней прошло, прежде чем Қара-Сердар позвал Старовойта. Все это время Старовойт добивался аудиенции, ио чиновиики лишь прищелкивали языками и поднимали глаза к иебу. Правда, Старовойта прииял рябой туркмеи — Қазан-бек, ио ои лишь молча выслушал купца и иичего ие сказал ему в ответ.

Қара-Сердар прииял Старовойта в пещере, освещеиной факелами; ои сидел иа ковре, традиционио скрестив ноги. Под распахнутым иа груди дорогим халатом Старовойт заприметил догу — птичий коготь, оправлеиный серебром, который избавляет от болезней, и подумал, что

Кара-Сердару дога не помогает. «Зело черен он от той хворости»,— написал позднее Старовойт.

Кара-Сердар внимательно выслушал купца и вдруг странно улыбнулся одной стороной лица.

— Добрый друг Абульгази,— странно улыбаясь, он смотрел на Казан-бека.— Вместе от персидского шаха убегали. Добрый друг.

Кара-Сердар надолго умолк, а потом поднял на Старовойта ясные умные глаза.

— Пошлем хабарщиков в Хиву,— сказал он к великой радости купца.

И хабарщики действительно ушли в Хиву. Но не старые знакомые Старовойта, а новые, ему неизвестные.

За время долгого сидения на Каратау Старовойт обзавелся многими знакомыми. Он отметил потом, что жили «трухменцы» в кара-ой и в потайных пещерах, а глинобитных тамов у них почему-то мало. Ни о положении в государстве Кара-Сердара, ни о настроении, как сказали бы мы теперь, его подданных, Старовойт ничего не сообщал; может быть, его это не интересовало, но вполне возможно, что с ним и не откровенничали.

Вторично Кара-Сердар позвал к себе купца лишь после разговора с вернувшимися из Хивы хабарщиками.

Старовойт застал повелителя Каратау за странным занятием: Кара-Сердар переставлял по шахматице — клетчатой доске — «поганые песьи головы», как написал позднее купец.

— В Хиву не пойдешь,— лаконично сказал Кара-Сердар Старовойту.— Здесь торгуй.

И властным жестом отпустил купца.

Отъезд Старовойта в Кабаклы совпал с облавной охотой солоров — племени, во главе которого стоял Казанбек. Сначала молодые воины на горячих конях несколько раз пронеслись перед зрителями, демонстрируя свое умение на бешеном скаку виртуозно владеть стрелами и дротиками, а затем их скрыло облако пыли.— Казан-бек увел солоров в пустыню.

Вот, собственно, и все, что почерпнул я из книжки полувековой давности. Немного, но и немало.

Разумеется, прежде всего я обратил внимание на фразу Кара-Сердара, относящуюся к Абульгази: вместе бежали из Персии!

Как очутился в Персии Абульгази, мы знаем.

А Ибрагим? Но тут, строго говоря, не может быть двух мнений: дерзкий расхититель ценностей фараонов однажды все-таки попался и был продан в рабство — не на должность же визиря его пригласили в Исфахан, тогдашнюю персидскую столицу! В Исфахане, в крепости Табарек, и находился в то время Абульгази, будучи почетным пленником шаха. И в этой ситуации все ясно: Ибрагим мог быть приставлен к Абульгази либо как слуга, либо как тайный стражник.

Какие взаимоотношения могли возникнуть у Абульгази и Кара-Сердара?

Социальный барьер, их разделявший, был, конечно, очень высок — пленник царского происхождения и обращенный в рабство нубиец,— куда уж, как говорится, дальше! Но я склонен все-таки допустить некоторые отклонения от общепринятых норм. Впрочем, судите сами.

Они единоверцы — мусульмане, но мусульмане из разных стран. Один из них — именитый — в будущем станет историком. По-человечески вполне правомерно допустить, что он заинтересовался Египтом, а второй — неименитый — знал Египет хорошо. Кроме того, второй — натура, как мы знаем, художественная,— наверняка обладал пылким воображением и, очевидно, умел рассказывать увлекательно.

Я не настолько наивен, чтобы хоть в какой-то мере сравнивать Ибрагима с современными египтологами,— он не знал и не мог знать историю Древнего Египта. Но он знал, что гробницы Долины Царей великолепны, и он знал, что только могущественных владык хоронят в таких гробницах.

Абульгази в «Родословном древе тюрок» скромно признается, что сам он — прямой потомок Чингисхана. Конечно, это признание не для ушей кула, раба. Но если кул рассказывает о великих царях прошлого, то как не осадить его, как не поведать ему о несравненном, о величайшем из величайших, чья кровь течет в твоих жилах?

Если вы помните, при анализе египетских и мангышлакских надписей хроноскоп подчеркивал различие в профессиональной умелости создававшей их руки. Совсем не исключено, что Абульгази использовал Ибрагима как писца, а может быть, и повелел ему записать рассказы о Египте, заставив его, таким образом, натренировать руку.

До сих пор я говорил (не забывайте о социальном

барьере!) об определенной взаимозаинтересованности Абульгази и Ибрагима, о их вероятных контактах.

Но я убежден, что была у них и линия духовной несовместимости,— я подразумеваю искусство. Абульгази, наверняка, был ценителем и знатоком архитектуры, декоративного орнамента, ценителем и знатоком изящных лирических газелей с их узаконенными бейтами-двустишиями, рифмами и редифами. Но Ибрагим рассказывал ему о скульптурах, о стенах гробниц, расписанных загадочными сценами, о выступающих из-под песка колоннах с вырезанными на них обнаженными людьми. Ибрагим рассказывал о соперниках Аллаха,— ему, творцу-муссавиру, одному дозволено творить людей и животных — и рассказами своими вольнодумец-Ибрагим был страшен или неприятен правоверному Абульгази.

Едва ли Абульгази откровенно выражал свою неприязнь — они оба мечтали о свободе, и там, в Персии, Абульгази нуждался в Ибрагиме.

Они вместе бежали из крепости Табарек, благополучно добрались до знакомых Абульгази мест и нашли гостеприимство у туркмен из племени эрсари.

Им-то и продал Абульгази-Бохадур-хан вольнодумца Ибрагима за два харвара зерна.

...До сих пор у нас с Березкиным все сходилось как нельзя лучше.

Но какие обстоятельства возвели вторично обращенного в рабство Ибрагима в грозного для Абульгази и Ануша-хана Черного Военачальника?

Мне пришлось снова засесть за книгу, написанную в соавторстве отцом и сыном. Помните? — у первого «Ибрагим», у второго — «Кара-Сердар».

Я нахожу этому только одно объяснение, но, по обыкновению, оставляю за читателями право на свое суждение.

Вот какие события (они описаны Ануша-ханом) произошли вскоре после воцарения Абульгази в Хиве.

Заняв в Хиве место туркменского Исфандияр-хана (тот умер, как будто бы, своей смертью), Абульгази основательно ущемил интересы туркменских нукеров и роздал самые доходные должности новым царедворцам. Кроме того, он оказал, говоря современным языком, экономическое давление на туркменские племена, перераспределив

земли между узбеками и туркменами так, что последним достались земли в верховьях каналов, то есть плохо орошаемые участки. Вполне понятно, что туркмены взбунтовались.

И тогда Абульгази пригласил аксакалов от разных туркменских племен (в том числе и от эрсари) для урегулирования разногласий, обещая справедливый суд.

Предложение Абульгази было принято, и обе заинтересованные стороны договорились встретиться в пустыне под Хазараспом.

И встретились. И поговорили. Абульгази-Бохадур-хан пригласил всех приехавших туркменов на пир, и они не отказались от приглашения.

Но еще раньше, заблаговременно, к Хазараспу были стянуты отборные головорезы Абульгази, получившие приказ уничтожить пирующих.

По свидетельству Ануша-хана, при резне погибло около двух тысяч приглашенных туркменов.

Но полностью своей цели Абульгази не достиг.

Туркмены, оставляя на разграбление свои аулы, сумели организованно отступить и ушли на Мангышлак.

Логический анализ не оставляет почти никаких сомнений, что от полного разгрома туркменские племена спас Ибрагим. Превосходно зная Абульгази-Бохадур-хана, этот кул, наверняка, отговаривал туркменов от опрометчивого согласия принять участие в переговорах и пире. Его не послушали,— да и кто станет слушать кула?! — но часть воинов уклонилась от пиршества.

В тот день, когда Абульгази-Бохадур-хан устроил резню туркменов, окончилась жизнь Ибрагима и началась жизнь Кара-Сердара,— предугаданные им события вознесли его из положения кула в ранг провидца. Возглавив растерявшихся воинов, Ибрагим — теперь уже Кара-Сердар — помог уцелевшим туркменам уйти из хивинских владений.

Сомкнулись звенья?

По-моему, сомкнулись. Но смычка не прояснила жизненного финала Кара-Сердара.

Я приблизился к его пониманию сложным путем, и своеобразно помогли мне египетские ассоциации.

За долгие месяцы, проведенные в Луксоре, у меня появились там любимые места, и одно из таких мест находится в северо-западном углу Карнакского храма, у не-

большого святилища богнии Сохмет, женщнны с головой львицы. Оттуда, от святилища, развалины Кариакского храма видятся сквозь заросли сухой травы, за грудамн камия н щебия, н первобытиый переднні план прндает нздалн развалниам храмов особую прелесть.

Но любопытиа и сама Сохмет, женщнна-львнца. Высечена Сохмет нз темиого граннта, в руках у нее посох-лотос н ключ от Нила. Стоит Сохмет у задией стенкн полутемиой камеры, которая освещается через иебольшое отверстие в потолке. Статуя иесколько сдвииута по отношеиню к отверстню (оиа упала н теперь ее иадежно укрепнлн), н это немаловажиая подробиость, нбо нарушнлся замысел древинх жрецов н художннков.

Раньше, где-то в каиуи первого сеитября нлн сразу после иего, в потолочное отверстне святнлища проннкал солнечный луч н — однажды в году! — касался головы Сохмет. Событне это совпадало с Новым годом по одному нз древнеегнпетскнх калеидарей н,.что самое важное, совпадало с иачалом ннльского разлива: Сохмет открывала свонм ключом дорогу красной воде нз тропиков, н тогда все населеиие выходило к Ннлу, и там, иа берегу, люди елн мясо н пнли миого вниа и брагн.

С богнией Сохмет связаио еще одио древнее предаиие, отражающее, по миеиию специалистов, аитифараоиовские волиеиия средн египтяи в годы трудно вообразимой старнны.

По той легенде Сохмет — «солнечное око» — дочь бога солнца Ра, к которой стареющні отец обратнлся с просьбой покарать переставших подчнняться ему «замыслнвшнх злые дела» людей. Сохмет энергичио взялась за дело н вскоре так преуспела в убнйствах, что перед Ра возннкла реальиая перспектнва остаться генералнссимусом без войска. Он попытался урезоннть и успоконть дочь, ио не тут-то было: Сохмет вошла во вкус, н кровь лнлась по всей егнпетской земле.

Но мудрый бог Ра решнл все-таки избиеиия прекратить. Ои придумал простой н достаточио безобидиый способ угомоннть Сохмет. Послаиные им иарочиые отправнлнсь в Эфнопню, набралн там тропического красиозема, а вернувшнсь, смешалн землю с ячмеииым пивом н залнли подкрашеиной смесью поля. Сохмет, решнв, что поля залнты людской кровью, поглотила столько этого, в буквальиом смысле слова, божественного иапнтка, что опья-

нела, потеряла память и навсегда забыла о давнем отцовском наказе уничтожать людей.

Так благополучно и мудро решил бог Ра сложную проблему.

Но осеннее появление красной нильской волны еще долго связывалось с именем Сохмет, женщины-львицы, убившей несчетное количество ни в чем не повинных людей.

Мы с Березкиным еще застали красную воду. Когда мы переправлялись из Луксора на противоположный берег, в лучах утреннего солнца мягкие нильские воды, поднимаясь, чуть заметно наливались неяркой приглушенной краснотою, которая исчезла тотчас, как только волна опускалась, и поэтому казалось, что зеленовато-бежевый Нил покрыт красноватой рябью.

Наверное, то была последняя или предпоследняя красная вода: частицы краснозема оседают теперь в водохранилище у Асуанской плотины, и власть над Нилом Сохмет, богини — истребительницы людей, прекратилась навсегда.

Для того чтобы освободиться от Сохмет, потребовались усилия людей разных национальностей, потребовалось, чтобы они работали плечом к плечу, вместе, «сава-сава», как говорят египтяне, соединяя указательные пальцы.

Написав последнюю фразу в статье для молодежного журнала, я внутренне вздрогнул: как же мы на Каратау не обратили внимания на соединенные указательные пальцы, направленные в сторону руки — «кальмара»?! Ведь это же скульптурное выражение египетского «сава-сава» — вместе!

Я немедленно заново перелистал страницы, написанные Ануша-ханом, и нашел перечисление племен,— выше я написал «покорных», нет, объединенных! — Кара-Сердаром: эрсари, солоры, чоудоры, икдыры, соинаджи. Пять племен! Вот конкретный смысл пятипалой руки, организующей жизнь Каратау!

Теперь я должен признаться, что долго не мог решить, помещать или не помещать в своем очерке о Кара-Сердаре описание нашего путешествия — по волнам времени — от Одессы до Луксора. Поскольку вы уже прочитали его, то ясен вам и мой окончательный вывод. А определили его раздумья о жизненном пути Кара-Сер-

дара. Может быть, он и не страдал «морской болезнью», но швыряли его те же волны времени и выкидывали на одни и те же утесы — утесы жестокости, предательства, вражды, сохранившиеся с незапамятных времен.

Я сознательно умолчал при кратком описании гробницы Сенурсета Первого, что колодец, который мы перешли по шатким досточкам, наполовину был заполнен высохшими трупами убитых строителей гробницы — таким способом фараон надеялся сохранить в тайне место своего захоронения.

Кара-Сердар видел трупы.

Некоторые сиринги Долины Царей расписаны сценами казни повстанцев — наряженные в рогатые шлемы палачи отрубали им головы короткими мечами.

Кара-Сердар мог видеть эти фрески.

Если его увозили в рабство морем, он побывал в Аль-Искандарии, Александрии, основанной Александром Македонским и названной в его честь. И наверняка он слышал или читал широко распространенные на востоке легенды об Александре-Искандере, самом бездарном ученике величайшего мыслителя древности Аристотеля, тоже высоко почитаемого арабами.

Аристотель, специально приглашенный ко двору македонского царя, учил Александра этике, эстетике, естественным наукам, философии, а ученик взялся за меч и пошел убивать и грабить. Этим он занимался всю свою жизнь, к счастью, короткую, хотя и за короткий срок успел перебить множество народу и разрушить городов гораздо больше, чем основал. При жизни он объявил себя богом и нашел правильные формы взаимоотношения с сомневающимися. Одного из них, своего ближайшего друга Клита, Александр прикончил собственноручно. Историка Каллисфена, который что-то не так отобразил, уморил голодом в тюрьме. А прочих лишил возможности сомневаться, приказав отрубить им головы...

Предопределенный судьбой маршрут привел Кара-Сердара сначала на землю древней Ассиро-Вавилонии — землю жестоких беспощадных завоевателей, а потом — в Персию. Некогда разгромленные Александром Македонским персидские цари тоже не отличались благочестием и милосердием.

Не знаю, сколько крупиц этого бесценного исторического опыта запало в душу Кара-Сердара, но сколько-то

запало, а личный опыт лишь обострил их и без того не притупляющиеся грани.

Да, к тому времени, когда кулу Ибрагиму приспело стать могущественным Кара-Сердаром, он многое узнал, многое понял,— волны времени сделали его мудрым.

Духовно он пережил несколько тысячелетий. Он прошел через несколько стран.

Опыт подсказывал: жизнь человеческая не стоит ни гроша. Опыт подсказывал: будь хитер, коварен, жесток — иначе погибнешь сам. Опыт подсказывал: никому не верь. И еще опыт подсказывал: разделяй, чтобы властвовать.

А Кара-Сердар? Боюсь девальвации этого слова, но не был ли он гением?

Он объединяет ранее враждовавшие племена. Он ограничивает свою власть маслахатом. Он превращает Западный Каратау в бастион, где люди могут жить ради жизни — строить, выращивать хлеб, пасти скот, растить детей. Он верит... По-моему, он верил даже Казан-беку, надеясь, что тот поймет и воспримет его, кара-сердаровские, благородные побуждения.

Последнюю фразу я написал не случайно. Еще раз сверившись с историческими источниками, я убедился, что эрсари покинули Мангышлак во второй половине семнадцатого века после... стычек с солорами.

Солорами правил Казан-бек, и вы помните, что о нем по-особому писали хивинские ханы.

Когда же произошел раскол?

Вероятнее всего, после смерти Кара-Сердара. А смерти этой терпеливо дожидался Казан-бек, ставленник хивинских ханов, ловкий наездник и отважный воин. Думаю, что Казан-бек не смел действовать активно — слишком велик был авторитет Кара-Сердара. Но совсем не исключено, что он раньше других заметил приближение недуга, скосившего Кара-Сердара: вспомните его внезапную немоту при похоронах коня и странную полуулыбку почти парализованного лица, описанную купцом Старовойтом.

Немота?.. Назревающая немота, вызванная какой-то болезнью? Страх перед ней?

А что, если каменные скульптуры Мангышлака — последний беззвучный крик немого титана?

Немого мудреца, наконец, ибо Старовойт запомнил

его ясные умные глаза. И этот мудрец знал, что пороки человеческие действительно подобны утесам: время расшибается о них... А добрые дела и добрые замыслы — они, как ночные следы на песке, они до первого утреннего ветра...

Я думаю, что Кара-Сердар правильно оценивал обстановку, в которой находилась любимая страна, ставшая его второй родиной. И он боялся. Он боялся за судьбу племен, вступивших в тесный союз. Он боялся Абульгази-Бохадур-хана, своего «доброго друга», понимая, что только объединенные туркменские племена могут противостоять его натиску. И он, в последние годы своей жизни, боялся Казан-бека, готового и способного взорвать союз туркменов изнутри, способного и готового пожертвовать любыми идеалами ради собственной выгоды.

Кара-Сердара окружали неграмотные люди, слепо и безумно следующие мусульманским заветам.

Они внимали его словам, но он утратил дар слова...

Вот тогда, по-моему, и решил Кара-Сердар воплотить свое слово, свой предсмертный крик в камне.

Тоже мусульманин, он внутренне был свободнее всех своих единоверцев, ибо знал искусство древних египтян.

Он взялся за резец скульптора. Это было кощунством, и он знал, что за ним неприязненно следят ранее близкие ему люди.

И тогда Кара-Сердар убедил некоторых из них тоже взять в руки резец. Он понимал, что мало сохранить мысль в камне. Нужно еще создать и сохранить мыслящих людей, которые продолжат его дело, нужно воспитать и оставить после себя свободномыслящих...

Фигуры, созданные Кара-Сердаром, вероятно, поддаются разному истолкованию. Там — и большая мысль, и сугубо личные воспоминания о Египте, даже о зверях египетских. Например, бегемот. Впрочем, у суданских народов, живущих по соседству с Египтом, бегемот — символ государственной власти. У Кара-Сердара он безуспешно пытается достичь вершины холма, где, быть может, сумел бы обрести прочность и уверенность в будущем. Беспринципный воин с рябым лицом и угодливый чиновник? Подобное сочетание страшно само по себе...

Но будет примеров, будет частных истолкований.

Я прочитал скульптуры Кара-Сердара и его безы-

мянных, еще несовершенных в мастерстве, но храбрых духом друзей, прочитал как единственную в мире каменную книгу социальной утопии, датированную семнадцатым столетием. Уже это само по себе фантастично.

— Единство! — вот о чем кричал немой Кара-Сердар, внутренне слившийся с монолитным Каратау и мыслью своей направлявший мысль других к пятипалой руке, символизировавшей союз пяти племен... Свобода духа! — вот что оценил он выше всего, уходя из жизни.

Но тем самым он обрек на гибель тех, кто прозрел.

Да, социальная утопия в камне.

А дальнейшие события развивались так: Казан-бек захватил власть и прежде всего расправился с вольнодумцами, с теми, кто попытался пойти против Аллаха. Потом — отнюдь не без участия Казан-бека — солоры перессорились с эрсари, и последние ушли с Мангышлака. Потом солоры перессорились с прочими туркменами, и Мангышлак опустел. Когда солоры остались одни, хивинские ханы напали на них, и солорам пришлось расстаться с землей, ставшей родной.

События эти, напоминаю, происходили три столетия тому назад.

Вероятно, по этой причине — а я старался — мне не удалось выяснить дальнейшую судьбу Казан-бека.

Но я убежден, что на Мангышлаке до сих пор существуют два памятника:

социально-утопический — запечатленные в камне произведения Кара-Сердара, и

гора Отпан с многосотенными балбалы, которые напоминают о том времени, когда Казан-бек поднял солоров против эрсари.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ ЗАБЕЛИН

ЗАПИСКИ ХРОНОСКОПИСТА

Редактор *Н. Н. Огородникова*

Художественный редактор *Т. И. Добровольнова*

Тех. редактор *Г. И. Качалова*

Корректор *Н. Д. Мелешкина*

Художник *А. С. Шумилин*

А03227. Сдано в набор 5 II 1969 г. Подписано к печати 16 VII 1969 г. Формат бумаги $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 2. Бум. л. 6,0. Печ. л. 12. Условн. печ. л. 20,16. Уч.-изд.л. 19,85. Тираж 200 000 экз. Издательство «Знание». Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4. Заказ № 2129. Цена 58 коп.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.

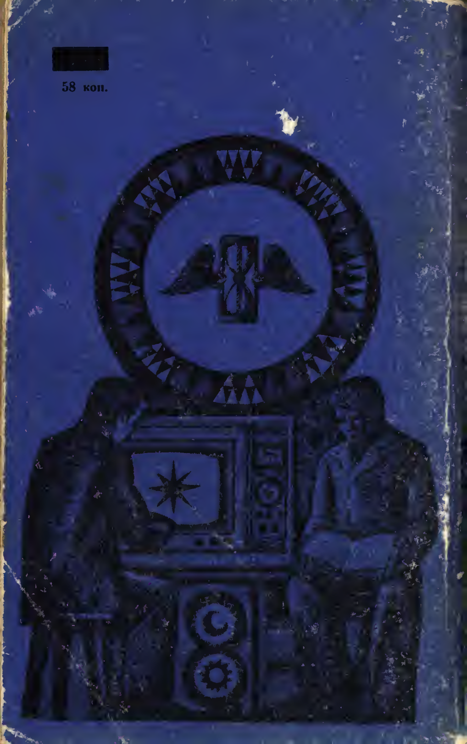
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Может быть, вас заинтересует, как живет Земля, что скрывается в ее недрах, в глубине океана и под зеленым пологом леса?

Хотите узнать о дальних странах и о том, что окружает вас с детства, но до сих пор вам незнакомо?

Хотите пройти тропами первооткрывателей новых земель, побывать в оазисах Антарктиды и в песках Туркмении?

Хотите преодолеть время, оказаться на поверхности древнего ледника, в глубинах силурийского моря, под многометровой толщей горных пород — там, где рождается нефть?



[redacted]

58 коп.